

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
И Н С Т И Т У Т Я З Ы К О З Н А Н И Я

В О П Р О С Ы
Я З Ы К О З Н А Н И Я

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1979

“ ” “

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Ф и л и н Ф. П. (Москва). Что такое литературный язык	3
---	---

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

М и р о н о в С. А. (Москва), Б е р к о в В. П. (Ленинград). Вариативность литературных норм современного нидерландского языка в Нидерландах и Бельгии	20
Б е л ы й В. В. (Винница). Становление общеметодологических основ американской дескриптивной лингвистики	34
Б у р ы к о в М. А. (Москва). К вопросу об эмоциях и средствах их языкового выражения	47
М у р ы с о в Р. З. (Уфа). Словопроизводство и грамматические категории	60
Б р ы к о в с к и й К. С. (Москва). О системно-парадигматическом анализе сложноподчиненных и осложненных предложений в современном немецком языке	70

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В е й л е р т А. А. (Владимир). Русское слово в немецкой диалектной речи	82
М а р к о в В. М. (Ижевск). Об отражении диссимилятивных тенденций в развитии флективных образований	95
Г р и н б а у м Н. С. (Ленинград). Древнегреческий литературный язык. Ионийский период (VIII — VI вв. до н. э.)	100
Х о д о р к о в с к а я Б. Б. (Москва). Итальянский дентальный претерит и проблема латинского имперфекта	106
С х о г т Х. Г. (Торонто). К вопросу о включении аналитических конструкций в глагольную систему современного французского языка	119
Я к у б а й т и с Т. А. (Рига). Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях	127
Ф е д о р о в а М. В. (Гомель). О типах номинации в русском языке	132

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

П р о т ч е н к о И. Ф. (Москва). <i>К. С. Горбачевич</i> . Вариантность слова и языковая норма	138
М е л ь н и ч у к А. С. (Киев). <i>Л. С. Паламарчук</i> . Українська радянська лексикографія	141
Р о з е н ф е л ь д А. З. (Ленинград). <i>Ю. Н. Марр</i> . Материалы для персидско-русского словаря	144
К у з н е ц о в П. И. (Москва). «Турецко-русский словарь»	146
Б а у д е р А. Я. (Мичуринск). «Die russische Sprache der Gegenwart»	151
О т к у п щ и к о в Ю. В. (Ленинград). <i>Н. В. Подольская</i> . Словарь русской ономастической терминологии	155

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	158
--------------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции),
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), *В. М. Солнцева* (зам. главного редактора),
О. Н. Трубочев, Ф. П. Филин (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волховка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

Филли Ф. П.

ЧТО ТАКОЕ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

Литературный язык — это реальность, не подлежащая никакому сомнению, что выражается «в непосредственной очевидности этого факта»¹. Это такая же реальность, как слово, предложение, сам язык. Однако, когда дело доходит до определения его особенностей и самой сущности, среди лингвистов начинается большой разнобой в мнениях. Этот разнобой обусловлен как различными подходами к предмету (фактор субъективный), так и чрезвычайной сложностью самого предмета (фактор объективный). Субъективные точки зрения вызваны теоретическими концепциями ученых или разного рода избирательностью при определении признаков литературного языка. Например, А. Доза вообще сомневался в существовании общенародного и литературного языков, считая их фикциями. Для него реальностью были «специальные языки», которые можно наблюдать непосредственно — «жаргоны» литературные, крестьянские, профессиональные, воровские и т. п., а в конечном счете языки индивидуумов, все же общее в языке — продукт отвлечения, на самом деле не существующий². Совершенно очевидно, что здесь язык смешивается с речью, всегда воспроизводимой индивидуально. Но это то же самое, что за деревьями не видеть леса. Сам Доза писал на общеупотребительном французском литературном языке. Нередко высказывалось мнение (особенно в прошлом), что естественным состоянием языка, языковой деятельности является устно-разговорная стихия, в которой и происходят все изменения, а письменно обработанный литературный язык представляет собой искусственное образование, не очень интересное для языковедов. Если согласиться с этим мнением, то и все достижения цивилизации нужно считать искусственными. Между тем совершенно очевидно, что главные культурные ценности создаются, по крайней мере в национальную эпоху, посредством литературных языков, без которых не могло бы существовать современное общество.

Примером избирательного подхода к признакам литературного языка являются некоторые высказывания Л. В. Щербы. По его мнению, главным признаком литературного языка нужно считать монолог. Диалог — это разговорная речь, цепь реплик, нередко неорганизованных, следовательно, внелитературных. «Монолог — это уже организованная система облеченных в словесную форму мыслей, отнюдь не являющаяся репликой, а преднамеренным воздействием на окружающих. Всякий монолог есть литературное произведение в зачатке»³. Монологи присущи и разным фольклорным произведениям и любым целенаправленным сообщениям, в том числе и носителям диалектной речи. Но это только в принципе, так как

¹ В. В. Виноградов, Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития, М., 1967, стр. 100.

² А. Доза, *Les argots*, Paris, 1929.

³ Л. В. Щерба, Современный русский литературный язык, «Избр. работы по русскому языку», М., 1957, стр. 115 (статья впервые напечатана в журнале «Русский язык в школе», 1939, 4).

литературный язык «чаще всего бывает все же письменным»⁴ и монологу нужно учиться. По этому поводу Р. Р. Гельгардт замечает: «...структурный признак зависит не только от формы речевой деятельности, но и от характера языковой системы, которой пользуется говорящий»⁵. Литературная языковая система не сводится к монологу, в ней достаточно широко представлен и диалог («цепь» прямой речи), и косвенно-прямая речь и иные разновидности речевого общения. «Литературное произведение в зачатке» — но ведь известно, что язык литературных произведений и литературный язык (тем более включая его разговорную разновидность) не одно и то же. Когда Л. В. Щерба пишет, что «литературный язык — один для всех, своих и чужих, тогда как диалект обслуживает только определенную группу людей»⁶, он выдвигает совершенно иной признак литературного языка, явно противоречащий «монологическому» признаку. Мы могли бы привести здесь и много других субъективистских определений литературного языка, но и сказанного, на наш взгляд, достаточно.

При ответе на вопрос, что такое литературный язык, мы сталкиваемся и с большими объективными трудностями, что также порождает различия в мнениях. Каждый язык неповторим в своем современном состоянии и в истории. Это относится не только к неродственным языкам, но и к родственным, в том числе и к близкородственным. Своеобразия содержатся в структуре каждого литературного языка, его функциях и происхождении. Современный русский литературный язык представляет собой органический сплав из русской народной основы (прежде всего московского койне), церковнославянских элементов и заимствований (прежде всего греко-латинских и западноевропейских). Письменные традиции Киевской и Московской Руси хотя и были потрясены в XVIII в., но в трансформированном виде все же сохранились, не оказались прерванными. Как известно, русский литературный язык обслуживает не только русскую нацию, но является в нашей стране средством межнационального общения, а также одним из международных языков. Близкородственные литературные украинский и белорусский языки отличаются от русского (и друг от друга) не только своими структурными особенностями, но и возникновением и функциями. На Украине и в Белоруссии в XIV—XVII вв. функционировал «западнорусский» письменный деловой язык, имевший региональные отличия. Однако этот язык не может быть отождествлен с украинским и белорусским литературными языками того времени, поскольку на них существовала и иная (церковная и светская) литература. «Под воздействием живого разговорного украинского языка к концу XVI и началу XVII вв. на Украине сложились два основных типа (разновидности) литературного (письменного) языка: 1) язык славянорусский (= церковнославянский киевской редакции или киевского извода, бытовавший главным образом в богослужебной литературе) и 2) книжный украинский язык, выступавший под названием „проста мова“, „руска мова“, „диалект русский“»⁷. Сходная ситуация была в Белоруссии. Современный украинский литературный язык складывался в основном на базе народной речи, книжные традиции в нем были резко ослаблены, а в белорусском литературном языке прерваны или почти прерваны (поскольку старобелорусский письменный

⁴ Там же, стр. 118.

⁵ Р. Р. Гельгардт, О языковой норме, «Вопросы культуры речи», III, М., 1961, стр. 22.

⁶ Л. В. Щерба, указ. соч., стр. 117.

⁷ И. К. Белодед, «Славянская грамматика» Ивана Ужевича 1643 г., ИАН ОЛЯ, 1972, 1, стр. 32—33; см.: его же, Киево-Могилянская академия в языковой ситуации на Украине, сб. «Проблемы истории и диалектологии славянских языков», М., 1971.

язык был вытеснен польским языком). В результате церковнославянские элементы в украинском и белорусском литературных языках представлены в заметно меньшем объеме, чем в русском. Зато в них в значительно большей мере проникли полонизмы. В эпоху польского владычества украинцам и белорусам в нелегкой борьбе приходилось отстаивать свою культурно-языковую и вообще этническую независимость. Польские пань наступали. Польский иезуит Петр Скарга, например, утверждал, что на «славянском языке» не может быть ни академии, ни коллегии, ни какого-либо образования вообще. Ему решительно возражали Иоанн Вишенский и другие восточнославянские просветители того времени. При становлении украинского и белорусского литературных языков была значительно заметнее роль локализмов, чем в русском литературном языке. В разных формах проявлялось взаимовлияние этих близкородственных языков. В XVI—XVII вв. явно преобладало украинско-белорусское воздействие на русский литературный язык, что дало повод некоторым славистам говорить о «третьем церковнославянском влиянии» на Руси. В XIX—XX вв. становится заметным русское воздействие на украинский и белорусский литературные языки. В советское время начался мощный расцвет украинского и белорусского литературных языков, расширение их функций, ставших универсальными. Вместе с тем на Украине и в Белоруссии получает все большее распространение русский язык как средство межнационального общения. Создается гармоническое двуязычие.

Современный болгарский литературный язык складывался на народной основе в XVIII—XIX вв. в эпоху болгарского Возрождения. Начало его лингвисты приурочивают к разным периодам новой истории⁸. В последние два десятилетия XIX в. известная пестрота и колебания изживаются, устанавливаются единые нормы и болгарский литературный язык приобретает современный свой облик. Связь с древнеболгарским (старославянским) литературным языком оказывается не прямой, а опосредованной, главным образом, через русскую редакцию церковнославянского языка, которая стала распространяться среди южных славян, когда в России стало развиваться книгопечатание⁹. Между прочим, надписи в болгарских церквях на церковнославянском языке русским более понятны, чем болгарам, в чем я лично убедился во время своих поездок по Болгарии.

Своеобразную типологию имеет современный чешский литературный язык. После поражения чехов на Белой Горе в 1620 г. чешская литература беспощадно уничтожалась, чешский литературный язык вытеснялся немецким. Немецкие захватчики стремились онемечить чешское население, стереть с лица земли его богатую этнокультурную самобытность. Перемены начались с конца XVIII—начала XIX вв., в эпоху чешского национального возрождения. Чешский литературный язык оживает, однако, не на основе разрозненных тогда городских устно-разговорных койне, а на базе Кралицкой библии и других письменных памятников XVI в. Знаменитый деятель чешского возрождения, патриарх славянской филологии И. Добровский и его сподвижники возрождают старочешский литературный язык, пытаются сохранить и обогатить его каноны. В XIX—XX вв. создается чешская литература, старочешский язык под воздействием народной речи претерпевает серьезные изменения (по-старочешски население не говорило), однако исходный разрыв между письменным языком и разговорной речью и до сих пор остается непреодоленным. Складывается сложная языковая ситуация, вызывающая дискуссии о статусе двух заметно

⁸ Обзор мнений см. в кн.: Л. Андрейчин, В. Попова, Хр. Първев, Христоматия по история на новобългарския книжовен език, София, 1973, стр. 8 и сл.

⁹ Л. Андрейчин, Из историята на нашего езиково строителство, София, 1977.

отличающихся друг от друга образовавшихся форм устной речи: разговорной литературной («hovorová čeština») и так называемой обиходно-разговорной («obecná čeština»). Обе разновидности устной речи имеют существенные отличия от традиционного письменного литературного языка («sprisovná čeština»). Все же с уверенностью можно полагать, что происходит и будет происходить сближение письменного литературного языка с обеими разновидностями устной речи, и в конечном результате должен произойти синтез всех этих разновидностей, слияние их в единую нормированную систему с ее взаимосвязанными разнообразными стилями и с сохранением, конечно, естественных различий между письменной и устной разновидностями. В функциональном отношении следует отметить распространение чешского литературного языка и в близкородственной словацкой языковой области.

Сложно обстоит дело с сербохорватским литературным языком. Высказываются мнения, что существует два литературных языка — сербский и хорватский, причем последний в письменности имеет латинскую графику, а первый использует кириллицу, но не избегает и латиницы. Один и тот же язык в одно и то же время имеет два разных алфавита.

Особое положение существует в Норвегии, где конкурируют между собой два официально признанных литературных языка; риксмол (или букмол), продолжающий традиции употреблявшегося ранее норвежцами датского языка, и новонорвежский (лансмол), созданный на базе норвежских сельских говоров и насаждаемый в школе. Наличие двух литературных близкородственных языков у одной и той же нации вызывает большие затруднения в выработке единых и общих норм. Возникают различные варианты в букмоле, нормы колеблются. Искусственное внедрение лансмолла, регламентация литературного языка вопреки сложившимся традициям, по мнению некоторых специалистов по норвежскому языку, дала отрицательные результаты. Впрочем решение языковых проблем в Норвегии — это дело, разумеется, только самих норвежцев.

Очень своеобразны структура и пути развития армянского литературного языка. В первой половине XIX в. у армян существовало литературное двуязычие¹⁰. Образованные слои населения употребляли строго нормализованный древнеармянский письменный язык (грабар), возникший еще в V в. В то же время функционировал новоармянский литературный язык в двух своих локальных разновидностях — восточной и западной. Новоармянский литературный язык, в отличие от грабара, был понятен широким слоям населения. Нормы его сильно колебались, возникли различные его вариативные типы. В дальнейшем грабар наложил глубокий отпечаток на развитие современного армянского литературного языка.

Испанский язык оформился в своей письменной и устной форме на базе кастильского диалекта в конце XV — начале XVI вв. В Америку он был перенесен преимущественно в устной форме, в связи с чем на территории Нового Света произошел перерыв письменно-литературных традиций. В начале XIX в. на американском континенте возникают новые испаноязычные нации, а вместе с ними и локальные варианты единого испанского литературного языка. Во Франции в X—XII вв. возникла письменность на нормандском, пикардийском, валлонском, лотарингском, бургундском, пуатвинском и центральнофранцузском диалектах. Между этими локальными литературными языками происходит борьба. В XV в. победил центральнофранцузский литературный язык, ставший всеобщим,

¹⁰ Э. Г. Т у м а н я н, Литературное двуязычие и его социально-функциональная характеристика в донациональном периоде развития армянского языка, сб. «Социальная и функциональная дифференциация литературных языков», М., 1977, стр. 152—176.

а остальные диалекты теряют свою письменность и вытесняются в устную сферу общения. Очень сложная ситуация создалась в Италии, где не оказалось ведущего диалекта, поэтому итальянский литературный язык складывался на основе взаимодействия разных диалектов¹¹. Г. А. Зограф, описывая многоязычие (использование одним лицом нескольких языков) в Индии, предлагает пятиступенчатую иерархию максимального многоязычия: 1) домашнее неофициальное языковое общение, которое выражается через локальные и кастовые говоры, преимущественно бесписьменные, но также и диалектные разновидности письменных языков, 2) локальное неофициальное общение, также по преимуществу устное, в виде использования крупных диалектов, языков, включающих в себя диалекты языков (диалектов) ближайших соседей, 3) областное официальное общение в сфере деловых и административных отношений, образования, науки, культуры, которое ведется (в устной и письменной форме) на языках штатов (по преимуществу), 4) общегосударственное (устное и письменное) общение на литературном языке хинди и 5) общегосударственное и международное общение на английском языке. Могут быть и смешанные типы¹². В такой ситуации функционирование литературных языков заметно осложняется.

Примеров на разнообразие типов литературных языков можно было бы привести столько, сколько существует самих языков. Чтобы выявить особенности каждого литературного языка, нужно провести огромную сравнительно-типологическую работу, которая практически почти вся впереди, так как обстоятельных исследований в этой области еще немного (в отличие от структурно-типологических и особенно сравнительно-исторических штудий). Правда, начало положено. За последние годы интерес к сравнительно-типологическому изучению литературных языков в нашей стране и в некоторых других странах заметно возрос¹³, особенно в славистике, германистике (работы М. М. Гухман, А. И. Домашнева, С. А. Миронова, Н. Н. Семенюк, В. Н. Ярцевой и др.) и романистике (исследования Р. А. Будагова, Н. Г. Корляту, Г. В. Степанова, В. Ф. Шишмарева и др.). В славистике одну из первых попыток дать типологическую классификацию всех современных славянских литературных языков по определенным параметрам предпринял югославский лингвист Д. Брозович¹⁴. В настоящее время работает международная комиссия по славянским литературным языкам, перед которой стоит прежде всего решение сравнительно-типологических задач¹⁵. Выше речь шла о современных литературных языках, их великом своеобразии и разнообразии, но, кроме современных языков, сохранилось много мертвых литературных языков, не менее оригинальных и неповторимых, которые непременно надо учитывать при построении общей теории литературного языка. Завершение построения этой теории — дело не близкого будущего, но с чего-то надо начинать.

Выявление своеобразия каждого литературного языка на общем фоне других языков (родственных и неродственных) — очень важная, но не един-

¹¹ Г. В. Степанов, Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи, М., 1976.

¹² Г. А. Зограф, Многоязычие в Индии, сб. «Индия — страна и народ», 4, М., 1977, стр. 191—205.

¹³ Обзор советской литературы по этому вопросу см. в статье: М. М. Гухман, Н. Н. Семенюк, О некоторых принципах изучения литературных языков и их истории, ИАН ОЛЯ, 1977, 5.

¹⁴ Д. Брозович, Славянские стандартные языки и сравнительный метод, ВЯ, 1967, 1; его же, Standardni jezik, Zagreb, 1970.

¹⁵ См. публикации этой комиссии: «Говорните форми и словенските литературни јазици», Скопје, 1973; «Slovanské spisovné jazyky v dobé obrození». Praha, 1974; «Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах», М., 1976, и др.; см. также: сб. «Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков», М., 1978.

ственная сторона дела. Как бы ни были своеобразны литературные языки настоящего и прошлого, должно быть что-то общее, что позволяет называть тот или иной язык литературным. А это предполагает ответ на вопрос, что же такое литературный язык. И тут-то встают объективные трудности, обусловленные недостаточностью наших знаний. Я. Горецкий не без основания пишет: «При рассмотрении различных теорий дифференциации литературного языка легко заметить, что их авторы основываются на свойствах своего родного литературного языка»¹⁶, точнее, на знаниях в этой области, которыми они обладают. Все же, когда речь идет о литературных языках эпохи нации, чаще всего (по крайней мере советские лингвисты) называют следующие их общие особенности: 1) обработанность, упорядоченность литературного языка по сравнению с другими разновидностями национального языка. «Л и т е р а т у р н ы й я з ы к — это обработанная форма общенародного языка, обладающая в большей или меньшей степени письменно закрепленными нормами»¹⁷ (сходную мысль высказывал М. Горький: он подчеркивал, что литературный язык — это «язык, обработанный мастерами»); 2) нормативность, узаконенная обществом (обычно кодифицированная), которая охватывает и все богатство вариантов (многообразные средства выражения «одного и того же» соотнесены друг с другом, зависят друг от друга, будь они нейтральными или стилистически окрашенными); 3) стабильность, непрерывность традиций, благодаря чему постоянно происходящие изменения не подрывают основ литературного языка в течение достаточно длительного времени (для каждого промежутка его существования имеются идеальные нормы, на которые ориентируются все грамотные люди); 4) обязательность для всех членов коллектива, владеющего литературным языком, его наддиалектность, ведущая роль в системе разновидностей национального языка; 5) развитая стилистическая дифференциация, при которой одни стили дополняют друг друга, допускают взаимопроникновение (умелое перенесение средств одного стиля в другой создает богатые возможности изобразительной речи); 6) универсальность, т. е. обогащение всех сфер общения и выражения (производства, общественно-политической и культурной жизни, науки, быта, субъективных переживаний и т. п.); 7) наличие устной и письменной разновидностей, взаимосвязанных и дополняющих друг друга. Все эти признаки составляют единый комплекс, без одного из звеньев которого определение литературного языка будет неполным, односторонним. В всяком случае, как нам представляется, такое определение вполне подходит к современному русскому литературному языку и многим другим национальным литературным языкам (польскому, украинскому, английскому, немецкому, французскому, испанскому и т. п.). Поскольку каждый язык своеобразен и неповторим, несомненно, могут выявляться и другие признаки, которые можно назвать переменными, если за точку отсчета брать русский литературный язык. Например, к ним можно отнести наличие локальных разновидностей английского, немецкого, испанского, арабского и других литературных языков, которые в пределах каждой нации или страны (вне метрополии) обнаруживают тенденцию к отделению, самостоятельности. Особенно значительны различия в функционировании литературных языков, зависящем от конкретно-исторической ситуации в той или иной стране. Однако так или иначе современные литературные языки существуют, что представляется для подавляющего большинства лингвистов и самого населения, владеющего этими языками, несомненным фактом.

¹⁶ Я. Гор е ц к и й, Исходные принципы теории литературного языка, ВЯ, 1977, 2, стр. 58.

¹⁷ Р. А. Б у д а г о в, Литературные языки и языковые стили, М., 1967, стр. 5.

А существовали ли литературные языки в донациональную эпоху? На это счет высказываются разные мнения. Еще в XIX в. некоторые русские филологи, явно смешивая литературный язык и язык художественной литературы, были склонны считать, что русский литературный язык — явление новое, что в древней и Московской Руси существовал только письменный язык, а литературного языка не было. Продолжая эти неверные традиции, Е. Ф. Будде в 1913 г. писал: «Русский язык древней нашей письменности (*не литературы*, которую я начинаю с Петра Великого, с XVIII века, когда уже возможно исследовать *личность* писателя и его значение, как определялось то и другое в зависимости от общих условий и под влиянием окружавшей писателя среды и его индивидуальности) представлен нам... не только в *книгах*..., но и в грамотах»¹⁸. То же мнение высказывал Й. Йордан¹⁹ и многие другие.

Принципиально разграничивают письменный и литературный языки Б. В. Томашевский²⁰ и А. В. Исаченко. Последний вначале делал это, исходя из научных соображений, а впоследствии стал вкладывать в свои рассуждения далекий от науки антирусский смысл. В 1963 г. А. В. Исаченко писал: «Раз мы лишены возможности выделить из общей массы письменных памятников нашей древней „словесности“ произведения, бесспорно являющиеся „литературными“, то мы должны отказаться от термина „литературный язык“ применительно к любому „типу“ письменного языка вплоть до XVIII в. Можно, конечно, и даже необходимо всесторонне изучать язык письменных памятников, возникших на территории восточных славян. Мы вовсе не отрицаем, что изучение русского литературного языка представляет значительный интерес. Но так как русский литературный язык в современном понимании этого (не очень удачного) термина возникает лишь в течение XVIII в., то и отрезок времени, на протяжении которого можно наблюдать процессы развития русского литературного языка, определяется периодом с начала XVIII в. и до наших дней. Термин „древнерусский литературный язык“ является, на наш взгляд, *contradictio in adjecto*»²¹. Это высказывание в той или иной форме повторяется некоторыми западными русистами. Г. Хютль-Ворт находит, что «само постулирование существования „литературного языка“ — в терминологическом смысле этого слова — в 30-е годы XVIII в. идет вразрез с исторической действительностью»²². Выходит, что применительно к русской действительности о литературном языке еще рано говорить даже в 30-е годы XVIII в. Д. С. Ворт считает, что применять термин «литературный язык» по отношению к таким древнерусским произведениям, как «Моление» Даниила Заточника и «Русская Правда», означает стоять на грани комического (*ludicrous*)²³. Мы могли бы привести здесь много других близких к таким утверждениям высказываний и не только по отношению к русскому литературному языку. Сторонники принципиального разграничения письменных языков донациональной эпохи и литературных языков нового времени приводят разные доводы в пользу своей точки зрения: отсутствие в донациональную

¹⁸ Е. Ф. Будде, Лекции по истории русского языка, 2-е изд., Казань, 1913, стр. 27.

¹⁹ J. Jordan, *Limba literară — Privire generală*, «Limba română», 1954, 6.

²⁰ Б. В. Томашевский, Язык и литература, сб. «Вопросы литературоведения в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1951, стр. 177—179.

²¹ А. В. Исаченко, К вопросу о периодизации истории русского языка, сб. «Вопросы теории и истории языка», [Л.], 1963, стр. 152—153.

²² Г. Хютль-Ворт, [рец. на кн.:] Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина, Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования, Л., 1972, «Russian Linguistics», Dordrecht — Boston, 1, 1974, 1, стр. 72.

²³ D. S. Worth, Was there a «Literary Language» in Kievan Rus'?, «The Russian Review», Los Angeles, 34, 1975, 1, стр. 3.

эпоху кодификации, а следовательно, самих узаконенных норм, наличие пестроты средств языкового выражения (на русской почве смешение восточнославянизмов с церковнославянизмами), невысокая роль писателей и других деятелей культуры как ярко выраженных личностей и т. п.

Во всех этих рассуждениях есть зерно истины. Действительно, между литературными языками времени нации и литературными языками донациональной эпохи имеются качественные отличия как в их структурах, так и общественных функциях. Признаки литературного языка, выдвинутые нами выше, во всей своей совокупности не подойдут к древнерусскому литературному языку и другим ранним языкам. Но означает ли это, что между «письменным» и «литературным» языками лежит непроходимая пропасть, которая не позволяет их объединить в одну более широкую историческую категорию с одним общим наименованием, предполагающим и различие между донациональной эпохой и временем существования нации? Нет, не означает. И дело тут не в терминологическом споре, а в понимании самой сущности явления. Национальный язык и литературный язык — категории не тождественные. Литература в широком смысле этого слова (не только художественная) существовала задолго до возникновения нации, но она не могла существовать без своего особого языкового выражения. Мы согласны с В. В. Виноградовым, который писал: «Отрицать наличие литературного языка в древней Руси и подменять его языком письменным — нецелесообразно и неисторично. Между тем, этого мнения придерживаются многие лингвисты, к которым, например, относятся Б. В. Томашевский, С. Б. Бернштейн, А. В. Исаченко и др. Они считают, что понятие литературного языка складывается лишь в национальную эпоху (применительно к русскому языку — только в начале XIX в.) и т. п. Но что же делать с историей древнерусской литературы и с языком древнерусских летописей, повестей о Куликовской битве и т. п., а позднее с языком Жития протопопа Аввакума и проч.? Не лучше ли исторически разъяснить структурные, функциональные и стилистические различия между древнерусским литературным языком донационального периода (примерно до середины XVII в.) и национальным русским литературным языком (примерно с XVII—XVIII вв.)?»²⁴ Имя автора «Слова о полку Игореве» нам неизвестно, но личность, творческая индивидуальность создателя этого великого художественного произведения конца XII в. не менее ярка, чем имена известных писателей XIX—XX вв. В эпоху «Энеиды» И. Котляревского украинский литературный язык был представлен только одним стилем²⁵, т. е. еще не был универсальным средством выражения мыслей, но следует ли из этого, что «Энеида» была лишь памятником письменности, а не произведением литературного языка? А как быть со знаменитым «Витязем в барсовой шкуре» Шота Руставели, с многочисленнейшими большими и малыми литературами древнего мира и эпохи средневековья? Как быть также с литературными языками многочисленных современных народностей, не превратившихся в нации? Например, все лужицкие славяне пользуются немецким литературным языком. Но у лужичан еще в XVI в. возникла письменность на собственном языке. Впоследствии складываются верхне- и нижнелужицкие литературные языки, которые в XIX в. делают заметные успехи, особенно верхнелужицкий язык, выполняющий в ГДР важные общественные

²⁴ В. В. Виноградов, Основные проблемы и задачи изучения русского литературного языка донациональной эпохи, «Славянские литературные языки в донациональный период (Тезисы докладов)», М., 1969, стр. 3.

²⁵ В. М. Русановский, Постоянные и переменные признаки функциональных стилей, «Československá rusistika», 1978, 4, стр. 151.

функции²⁶. Лужичане не переросли и не перерастут в нацию, оставаясь на уровне народности. Что же, на этом основании их многофункциональный письменный язык нельзя признавать литературным? Это было бы явной нелепостью.

Хорошо известно, что древнегреческий и латинский языки эпохи своего расцвета были нормированными, не совпадали с диалектной речью греческих и римских плебеев, имели устойчивые традиции, продолжали и продолжают оставаться важнейшим источником научного и технического терминов творчества в европейских и многих других языках нашего времени. Что касается языковой кодификации, то и она возникла задолго до эпохи нации. Языкознание древнего мира возникло из жизненных потребностей общества. Александрийские грамматика и грамматика Панини были не только попытками теоретически осмыслить строй языка, но и рекомендациями практического назначения. В древней Греции сложилась теория трех стилей, сыгравшая благодаря Ломоносову заметную роль в становлении русского литературного национального языка. А М. Грек, Л. Зизаний, П. Берында, М. Смотрицкий, деятели Киево-Могилянской академии у восточных славян, проводившие свою языковую политику? Да и древнерусские книжники не писали «без всякого устройства», а руководствовались своими правилами. Несомненно существовала своя особая «скрытая» кодификация. Кодификация кодификации рознь. Чем больше развивается наука о языке, тем больше совершенствуются методы кодификации. Вероятнее всего, что лингвисты будущих столетий, когда нации и национальные языки еще не отомрут, будут оценивать наши труды в области кодификации как несовершенные, примитивные. Кодификация не может считаться признаком, который позволял бы нам решительно отделять «литературные» языки от «письменных». Этот признак переменный, а не постоянный, когда речь идет об определении литературного языка как исторической категории. Между литературными языками донационального времени и литературными языками эпохи нации, кроме существенных различий, имеется и существенное сходство, что и позволяет вести начала литературного языка с более раннего времени, в частности, включать в историю русского литературного языка древнерусский период и эпоху Московской Руси, что практически и делается языковедами-русистами.

Что это за сходство? Прежде всего, сами названия литературных языков говорят о многом: русск. «литературный язык», укр. «літературна мова», белорусск. «літаратурна мова», франц. «langue litteraire», англ. «literary language», рум. «limba literară», польск. «język literacki», нем. «Schriftsprache», «Literatursprache», чеш. «spisovný jazyk», болг. «книжовен език», сербо-хорв. «књижевни език» («književni jezik»), итал. «lingua letteraria» и т. п. Все эти термины, традиционно применяемые к литературным языкам вообще (национальным и донациональным), указывают на одну их характерную черту — письменность, книжность. Лат. *litera (littera)* «буква», во мн. ч. «все, что написано; письмо». В русский язык исходное *литера*, по данным ССРЛЯ, попадает в начале XVIII в. (отмечена в Вейсманновом Лексиконе 1731 г.). Лат. *littērātūra* означает «написанное», «изображенное литерами». Названия эти не случайны, хотя и неточны. Неточны потому, что посредством письменных знаков можно обозначать разные языковые состояния. Современные письма малограмотных людей (как и малограмотные объявления, вывески, рекламы и прочее, что, к сожалению, еще не изжито в нашем быту), нарушающие нормы литературного языка, конечно, нельзя отнести к категории литературных. Малогра-

²⁶ О литературном языке лужичан см.: К. К. Т р о ф и м о в и ч, Формування літературної мови серболужицької народности, «Мовознавство», 1978, 5.

мότητα существовала во все времена и у всех народов с тех пор, как возникло упорядоченное письмо. В длительной истории письменности малограмотность была неизбежна, поскольку полная грамотность в связи с социальным расслоением общества (а также особенностями каждой личности) никогда не была всеобщей. Письменными знаками можно изображать диалектную речь (фонетическая транскрипция, точная или упрощенная) или речь носителей бесписьменных языков. Нельзя относить к памятникам литературного языка ограниченную информацию, которая заключалась в примитивных способах изображения — пиктографии, бирках, зарубках, вавпумах, кипу и т. п., посредством которых не передавался связный речевой текст как таковой. Вряд ли к категории письма в нашем понимании можно причислять идеографические изображения, поскольку возможности передачи информации посредством чистой идеографии (такого рода записи были, например, в раннем Шумере начала III тысячелетия до н. э.) тоже были очень ограничены. Наконец, в наше время наряду с письменной разновидностью имеется и устная разновидность литературного языка. Из сказанного следует, что категории литературный язык и письменный язык не совпадают (вопреки вышеприведенным названиям). Однако означает ли это, что письменность не должна рассматриваться как один из обязательных признаков литературного языка? Нет, не означает.

Письмо — не просто фиксация посредством условных знаков на каком-либо материале речевых текстов, не только «внешняя одежда» языка. Оно играло и играет активную роль в организации речи, делая речь преднамеренной, продуманной, чего нельзя сказать о «непроизвольной» устной бытовой речи. Письмо как способ передачи речевых текстов возникло в раннеклассовом обществе на рубеже IV—III тысячелетий до н. э. и всегда было важным составным элементом древних и поздних цивилизаций²⁷. Оно обладает удивительными свойствами: передачи языка на расстоянии и во времени и как всеобъемлющее средство накопления информации. До открытия радио, телевидения, магнитофона и иных технических достижений нашего времени (когда уже существовали высокоразвитые литературные языки, без которых эти достижения были бы невозможны) голосом что-либо можно было передать, находясь в непосредственной близости от адресата. Конечно, в нужных случаях посылались гонцы, но гонцы могли что-нибудь забыть и исказить текст, тогда как письменное сообщение оставалось точным (самим собой) и могло проходить из рук в руки через любые расстояния. Сказанное слово могло только запоминаться, а память (народная и тем более индивидуальная) ограничена, тогда как письменные документы доходят до нас через столетия и тысячелетия, сохраняя языковой текст в неизменности. Наличие письменности означает сохранность культурного наследия, которое в устной традиции трансформируется или вовсе исчезает. Каждое открытие древних письменных документов (и общественно значимых поздних) по справедливости расценивается как научное и культурное событие. Древнейшая в мире клинопись Урука, шумерские документы Телло и Нишпура, угаритские письма в Сирии, «библиотека Ашшурбанапала» из Ниневии, пилосский архив в Греции, знаменитые кумранские тексты Палестины, открытые в 1973—1975 гг., таблицы XXV—XXII вв. до н. э. в Эбле на территории Сирии, написанные на языке эблаите (близком к финикийскому, но старше его на тысячу лет)²⁸, новгородские берестяные грамоты и т. д., и т. п., —

²⁷ О типах письма см.: И. М. Дьяконов, Письмо, БСЭ, 3-е изд., 19, М., 1975, стр. 1699—1716 (там же библиография).

²⁸ Н. М е р п е р т, Эбла — еще одна цивилизация древности, «Наука и жизнь», 1978, № 4.

что знали бы мы о заключенной в них информации и о языках этих информаций, если бы не было этих открытий?

Информационная емкость и сохранность информации языка в письменности в принципе не ограничена, тогда как в устной речи дело обстоит иначе. «Некоторая совокупность знаний объемлема индивидуальным сознанием в той мере, в какой индивид способен сохранить в своей памяти словесные произведения, воплощающие эти знания. Естественно, что число таких устных произведений не может быть велико. Поэтому и в той общности людей, для которой имеет значение данная совокупность знаний, может одновременно функционировать только небольшое число существенно различных по содержанию и форме произведений»²⁹. Отличия между индивидуальной и групповой (племенной, народной) памятью приводят к тому, что «эти немногие произведения функционируют в многочисленных вариантах»³⁰. Новые поколения видоизменяют и дополняют устные произведения, которые иногда разрастаются в эпопеи. Для усиления устной памяти применяются «микромнематические» средства (ритм, рифма, определенная тональность, размерность текста, формулы, штампы и пр.)³¹, но они не идут ни в какое сравнение с письмом.

Язык, закрепленный письменными знаками, приобретает особый авторитет в глазах общества. Ср., например, панегирик книгам в «Повести временных лет» в статье под 1037 г.: «Велика бо бывает полза отъ ученья книжного, книгами бо кажеми и учими есмы пути покаяню, мудрость бо обрѣтаемъ и въздержанье отъ словесъ книжныхъ; се бо суть рѣкы, напаяющи вселеную, се суть исходяща мудрости, книгамъ бо суть неищетная глубина, сими бов печали утѣшаеми есмы, си суть узда въздержанью. Мудрость бо велика есть». Гимнов книжному языку в истории культуры имеется великое множество. Власть имущие во все времена при подходящих условиях отлично понимали цену письменности. Князь славянского государства Великая Моравия Ростислав обратился к византийскому царю Михаилу с просьбой прислать в Моравию образованных людей, которые могли бы перевести с греческого языка на славянский церковные книги, которые были бы понятны местному населению. Это нужно было сделать, для того, чтобы противостоять немецкому засилью. Как известно, такие люди нашлись: ими были Константин (Кирилл) и Мефодий, великие славянские просветители, положившие начало славянской письменности. Память о них всегда будет храниться, как хранится память о создателе армянской письменности Месропе Маштоце и других изобретателях письма. Письмо — великое достижение цивилизации. Не случайно все народности и нации, пробуждающиеся к самостоятельной жизни, стремятся к созданию своих письменных языков. После Великого Октября в нашей стране появилось около пятидесяти младописьменных языков, что является большим достижением ленинской национальной политики. Процесс созидания новых письменностей развернулся во многих странах, освободившихся от колониальной зависимости. Коммуникативные возможности письменности резко возросли после изобретения книгопечатания и неизмеримо усилились с распространением всеобщей грамотности. А главное в письменности, с лингвистической точки зрения, заключается в том, что язык благодаря письму подвергается существенному преобразованию. Как известно, письменная разновидность языка никогда не совпадает с обиходной устной, являясь по сравнению с ней более организованной, обработанной. Таково свойство письменных знаков, через которые язык вос-

²⁹ Н. Н. С л о н о в, Об особой линии развития языка в дописьменную эпоху, «Язык и общество», 3, Саратов, 1974, стр. 63.

³⁰ Там же, стр. 63.

³¹ Там же, стр. 65 и сл.

принимается зрительно и не зависит от индивидуальной памяти. Благодаря письменности язык так или иначе закрепляется в своих нормах, письменность уменьшает возможности диалектного дробления, является сдерживающим средством стихийного развития языка. Прежде всего через письменность в язык проникают всякого рода культурные влияния извне, обогащающие его. В пределах письменной разновидности возникают многие инновации. Письменная речь воздействует на устную и обратно. Обе разновидности одного и того же языка как в национальную, так и в донациональную эпоху неразрывно связаны между собой, хотя связи между ними в разные времена неодинаковы. Из всего этого следует, что письменность является хотя и не единственным, но обязательным и важнейшим признаком литературного языка. Литературный язык — достояние цивилизованного общества. Не случайно некоторые лингвисты называют литературный язык «культурным диалектом»³². Конечно, нельзя ставить в один ряд литературный язык с диалектами, но что он является важнейшей составной частью культуры, это верно, начиная со времени возникновения первых мировых цивилизаций.

Однако многие языковеды считают, что письменность вовсе не обязательный признак литературного языка, что литературные языки существовали и до письменности как языки народной поэзии и обычного права³³. Среди советских языковедов на такой позиции особенно твердо стоит М. М. Гухман и ее единомышленники, много сделавшие для разработки теории литературного языка. «Наличие письменной фиксации не включается авторами в систему обязательных дифференциальных признаков литературного языка, хотя, бесспорно, создание письменности в значительной степени меняет его характер, обогащая потенции и сферу применения литературного языка. Но вместе с тем мы полагаем, что язык устной поэзии, формульные элементы в языке права и обряда в своей совокупности представляют ту степень обработанности, избирательности, наддиалектности, которая позволяет отнести их к ранним периодам истории литературных языков, к истокам их истории»³⁴.

Конечно, письменное оформление разных видов речи вовсе не обязательно должно быть литературным. Так, например, первые подстрочные переводы христианской литературы с латинского языка на немецкий (XIII—XIV вв.), частные правовые документы канцелярий небольших немецких городов, судебные протоколы с пересказом речей обвиняемых и т. п. не относятся к памятникам литературного языка. Дискуссионным вообще является вопрос о литературности языка немецкой деловой письменности с явными следами диалектной раздробленности.

Выше мы писали, что действительно не всякая письменная фиксация может быть отнесена к литературному языку. Что касается определенных письменных фиксаций в конкретном языке определенного времени, то это дело частных исследований. Спорные случаи есть и будут. Русисты, например, спорят о языке новгородских берестяных грамот, является он литературным или нет. Впрочем тут же следует задать вопрос, почему мы должны относить формульные элементы дописьменного германского обычного права к ранней истории литературного языка и отказывать в литературности письменной немецкой деловой литературе? О языке дописьменного германского обычного права мы ничего не знаем, так как он до нас не дошел (такова природа любой письменности не зафиксированной уст-

³² Ср., например: А. Теодоров-Балан, Нова българска граматика за всякого, св. I, София, 1954, стр. 17.

³³ A. I. Grah, Einige Fragen der Literatursprache, «Revue de linguistique», II, Kocuresti, 1957.

³⁴ М. М. Гухман, Н. А. Семенову, указ. соч., стр. 441.

ной речи!), и совсем не можем быть уверены в том, что он не имел диалектных вариаций, даже в своей формульной части. Скорее мы должны быть уверены в обратном.

Теперь об устной поэзии германцев в дописьменную эпоху. У готов должен был быть эпос, «если предположение о существовании у готов эпической песни справедливо»³⁵. Принимаем это предположение. До нас дошли немецкая песня о Гильдебрандте, английский Беовульф, исландская Эдда, саксонский Хелианд, правда, все в относительно поздней письменной фиксации. Если бы не письменность, то мы мало что или вовсе ничего не знали бы об этих произведениях. Все западногерманские эпические произведения разнодиалектны, «гетерогенны», поэтому их наддиалектность относительна. А вообще о языке дописьменного периода германцев мы не имеем непосредственных данных, поэтому «все соображения по этому поводу имеют, естественно, лишь вероятностный характер»³⁶. Если не имеется фактов, споры о предмете получают абстрактный характер и могут продолжаться до бесконечности, но вхолостую, схоластически. Между тем, имеется немало народов, сохранивших от дописьменного времени устные поэтические произведения. Фольклор известен и у всех письменных народов.

Вне всякого сомнения, устный эпос, как и другие фольклорные произведения, играли большую роль в творческой жизни народов. В эпосе сохранялись и «преданья старины глубокой», и текущие события. Благодаря Ленроту мир узнал о великом художественном произведении «Калевала», руны которого сохранились у бесписьменного карельского населения. «Калевала» оказала мощное воздействие на творчество финских писателей. «Песнь о Гайавате» Лонгфелло создана также не без влияния великого эпоса карелов. Истоки «Калевалы», по-видимому, восходят к первым векам нашей эры. Однако можно ли утверждать, что древние карелы владели литературным языком и затем его утеряли? Были в предвоенные годы попытки создать карельский литературный язык, но они не увенчались успехом (этот язык заменили русский и финский литературные языки). «Казахские эпические сказания „Кабланды-батыр“, „Ер-Таргын“, „Камбар“, „Утеген“, „Козы-Корпеш“, „Кыз-Жибек“, „Айман-Шолпан“ еще были на устах народа, когда появился роман Мухтара Ауэзова „Путь Абая“. Это обстоятельство имеет огромное значение для понимания истоков национальной самобытности лучших произведений повествовательного жанра молодых советских национальных литератур. Ауэзов неоднократно говорил, что писать в жанре романа он учился у русской и французской литературы. Одновременно писатель глубоко изучал устные повествования своего народа и был автором ряда значительных исследований поэтики казахского эпоса... Тем же путем шли основоположники жанра романа в литературах других бесписьменных в прошлом народов — Т. Сыдыкбеков (Киргизия), А. Кешоков (Кабардино-Балкария), Н. Мординов (Якутия), Х. Намсараев (Бурятия) и т. д.»³⁷.

Эпические произведения складывались и после возникновения письменности. Армянский народный эпос «Давид Сасунский» был сложен в VIII—IX вв., несколько сот лет спустя после подвига Месропа Маштоца. И все же историю армянского литературного языка начинают с V, а не с VIII—IX вв. Известно широкое использование замечательных русских фольклорных произведений А. С. Пушкиным и другими писателями, ук-

³⁵ М. М. Г у х м а н, К типологии германских литературных языков донационального периода, сб. «Типология германских литературных языков», М., 1976, стр. 17.

³⁶ Там же, стр. 9!

³⁷ А. А. П е т р о с я н, Эпические памятники устной поэзии народов СССР, «Вестник АН СССР», 1974, 11, стр. 61.

раинского фольклора Т. Г. Шевченко, И. Франко и т. д., и т. п. Фольклор, являясь сам художественным изображением жизни, — один из важнейших источников письменной художественной литературы, ее предшественник. Однако никто не ставит знаки равенства между художественной литературой и фольклором, каким бы богатым и значимым последний ни был. Существуют две близкие, но самостоятельные научные дисциплины: литературоведение и фольклористика. «Как бы ни были тесны генетические связи между фольклором и литературой, между обеими формами творчества имеются существенные структуральные различия», — писали Р. Якобсон и П. Богатырев³⁸. Это с точки зрения литературоведческой. А с лингвистической точки зрения встают по крайней мере три вопроса.

Во-первых, язык художественного произведения и литературный язык — категории не тождественные. Это признает и М. М. Гухман, которая включает в литературный язык, кроме предполагаемой дописьменной германской поэзии, также и дописьменное обычное право и иные «обработанные» виды устной речи. Во-вторых, и это очень важно, соотношение языка фольклора и других видов устной речи и соотношение всех разновидностей устной речи, включая и фольклор, с письменным языком различны. Фольклор и художественную литературу объединяет образность изображения, а разъединяют особенности языка. Как показала в своих исследованиях А. П. Евгеньева, в языке русского фольклора имеются традиционные, наддиалектные элементы (например, общерусские «жили-были», «в некоем царстве, в некотором государстве» и т. п.), восходящие к разным историческим эпохам, но основа его тесно связана с диалектной речью, имеет ярко выраженный диалектный характер, что противопоставлено литературному языку. Вся лексика фольклора (не говоря уже о фонетике и морфологии) густо уснащена диалектизмами, в связи с чем в русских диалектных словарях, в том числе и в сводном «Словаре русских народных говоров», широко используются фольклорные источники, в том числе и былины. Та же картина обнаруживается и в других языках. Правда, диалектизмы «прорываются» и в письменные языки донационального периода, а известная наддиалектность свойственна устной народной поэзии. Это так. Однако диалектизмы в письменном языке фрагментарны, на их основе невозможно восстановление подлинных текстов устной народной речи, тогда как по фольклорным произведениям (конечно, дошедшим до нас в устном виде) такая возможность осуществима. Здесь различна степень наддиалектности. Как замечает О. А. Лаптева, «приходится отрицательно оценивать возможность существования каких-то положительных показателей устно-речевой нормы на ранних этапах складывания национального литературного языка, когда устная речь его носителей обнаруживала отчетливые признаки близости к диалектной среде различной территориальной отнесенности»³⁹. Тем более это относится к донациональному периоду. С этой точкой зрения солидаризируются З. Ю. Кумахова и М. А. Кумахов⁴⁰. Рассуждения некоторых лингвистов об устойчивых наддиалектных койне, якобы существовавших в дописьменную эпоху, по крайней мере умозрительны, так как не могут быть подкреплены фактами. Между прочим, не надо смешивать наддиалектные койне в пределах одного языка с языковыми союзами.

В-третьих, с какого времени нужно начинать историю литературных языков, если не считать письменность признаком литературного языка?

³⁸ Статья «К проблеме размежевания фольклористики и литературоведения» написана Р. Якобсоном совместно с П. Г. Богатыревым. См. в кн.: R. Jakobson, Selected Writings, IV, The Hague — Paris, 1966, стр. 17.

³⁹ О. А. Лаптева, Русский разговорный синтаксис, М., 1976, стр. 22.

⁴⁰ З. Ю. Кумахова, М. А. Кумахов, К проблеме классификации функциональных стилей в языках различных типов, ВЯ, 1978, 1, стр. 16.

М. М. Гухман и Н. Н. Семенюк пишут: «Литературный язык рассматривается как одна из форм существования языка, как определенное языковое состояние — компонент языковой ситуации. К его дифференциальным признакам относится определенная — большая или меньшая — степень обработанности, отсутствие спонтанности речевого произведения и поэтому избирательность и наддиалектность, а также известный уровень поливалентности и связанной с этим функционально-стилистической вариативности. Данные признаки не вполне равноценны, ведущими являются, с нашей точки зрения, обработанность и поливалентность»⁴¹. Как авторы могут приложить эти признаки к германским языкам дописьменной эпохи, когда реконструкция устных речевых текстов остается вне пределов научной досягаемости, на такой вопрос ответа они, конечно, дать не могут. Когда песня о Гильдебрандте, Беовульф, Эдда, Хелианд существовали только в устной форме, можно полагать, что язык их был более или менее обработан (спонтанность была относительна, так как древнегерманские споры всегда вносили в них что-то свое, соответствующее обстановке и их умонастроению), но отнюдь не поливалентен. Фольклор выполняет эстетически-познавательную функцию, а «поливалентным» в дописьменные времена был только обиходный язык, отвечающий практическим потребностям общества. Сначала «проза жизни» и потом уже художественный (и иной любой) вымысел. Невозможно также представить себе, что язык фольклора и язык обычного права составляли «функционально-стилистическую вариативность», противопоставленную обыденной речи. Языки фольклора и обычного права имели разные целевые установки и не могли принадлежать к какой-то особой единой системе. Они были разбединенными, объединял их только устный общенародный (с диалектной окраской) язык, разновидностями которого они являлись. Если дописьменные германские эпические произведения в диалектном отношении были различными, то рунические надписи II—IV вв., которые найдены на огромной территории — от Норвегии до Румынии — в языковом отношении поразительно единообразны, что явно говорит об их наддиалектном характере⁴². Письменный германский язык рун II—IV вв. является литературным или нет?

Точка зрения лингвистов, отрицающих письменность как обязательный признак литературного языка, в генетическом плане стирает всякие грани между литературным языком и языком вообще. Ведь известная обработанность, устойчивость (наличие повторяющихся штампов, клише и пр.), избирательность свойственны языку устной поэзии, художественной прозы, выступлениям перед родом или племенем, обычному праву, формулам заклинания, мольбам охотников и разным другим видам традиционнокультурной речи. А многие из таких форм речи своими корнями уходят в глубочайшую древность. С какого же времени нужно начинать историю литературного языка, может быть, с палеолита? Не случайно некоторые компаративисты выдвинули гипотезу, будто бы индоевропейский праязык первоначально был культурно-литературным языком, распространившимся среди многих разноязычных племен древности и в конце концов вытеснившим коренные языки. Э. А. Макаев справедливо полагает, что индоевропейская диалектология продолжает оставаться одним из наименее разработанных разделов индоевропеистики. В то же время он считает, что сравнительная или внутренняя реконструкция может допустить восстановление лишь одной разновидности праиндоевропейского — его наддиалектной нормы или литературного языка, свободного от диа-

⁴¹ М. М. Гухман, Н. Н. Семенюк, указ. соч., стр. 441.

⁴² Э. А. Макаев, Рунический и готский, сб. «Типология германских литературных языков», стр. 30.

лектных признаков⁴³. Э. М. Ахунзянов возводит начала литературного языка ко времени возникновения разделения труда на физический и умственный, которое произошло еще задолго до происхождения классов. Еще в родовом обществе появляются старейшины рода, жрецы, шаманы и т. п., в речевой практике которых возникает особый монологический язык, противопоставленный обычному диалогическому языку населения, занятому физическим трудом. С этого времени начинается литературный язык⁴⁴. Мы могли бы привести здесь немало других высказываний отечественных и зарубежных языковедов, считающих, что литературный язык существовал задолго до возникновения письменности. Однако объединять в одну категорию «литературный язык» заклинаний первобытных шаманов или выступления старейшин рода и современную высокообразованную литературу значит терять чувство меры и не отдавать себе представления о литературном языке. Все такого рода суждения схоластичны и антиисторичны, они ни в какой степени не могут помочь исследованиям конкретных литературных языков и разработке общей теории литературного языка. Дописьменный народный эпос, достигавший больших художественных высот и высоко ценимый всем культурным человечеством, был одним из важных источников письменной словесной культуры, но не обязательно приводил к созданию литературных языков. Как отмечалось выше, карельская «Калевала» не завершилась образованием карельского литературного языка. А сколько замечательных произведений эпоса древних дописьменных племен и народов, не зафиксированных письменно, не дошло до нас, и мы о них никогда ничего не узнаем? Арабский путешественник Ибн-Фадланд, присутствовавший на похоронах знатного руса, в нескольких словах передает предсмертную песнь девушки, которая должна была последовать в могилу за своим повелителем. Какова на самом деле была песнь юной славянки, каков был язык ее песни? Будем называть вещи своими именами: имелся и есть язык устной поэзии, одна из разновидностей языка фольклора. Попадая через письменность в литературный язык, язык фольклора перерабатывается в нем, в трансформированном виде (с удалением ярких диалектных особенностей) становится одним из его составных элементов. А вообще, как уже говорилось выше, литературный язык (любой) и язык художественной (любой) литературы не одно и то же. Более того, далеко не всегда язык художественной литературы является главной разновидностью литературного языка. В определенных условиях определяющими в литературном языке бывают не художественные, а иные произведения. «Например, в чешском литературном языке в XVI в. кодифицирующим образцом была Кралицкая библия, нормы которой в эпоху чешского возрождения положил в основу нового чешского литературного языка И. Добровский»⁴⁵. И таких примеров можно было бы привести много.

Итак, что общего имеется между литературными языками национальной и донациональной эпох, иными словами, что такое литературный язык как историческая категория, каковы его наиболее общие признаки? Литературный язык — такая разновидность языка, возникшая вместе с появлением классового общества, для которой характерны: 1) обязательное наличие развитой письменности, поднимающей речевой текст на более высокую ступень организованности, придающей языку свойства средства общения, не ограниченного рамками пространства и времени; 2) известная

⁴³ Э. А. Макаев, *Общая теория сравнительного языкознания*, М., 1977.

⁴⁴ Э. М. Ахунзянов, *О генезисе литературного языка*, сб. «Восточнославянское и общее языкознание», М., 1978, стр. 205—206.

⁴⁵ А. Едличка, *Проблематика нормы и кодификации литературного языка в отношении к типу литературного языка*, сб. «Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах», М., 1976, стр. 19.

обработанность, относительная наддиалектность, стремление к устойчивости, поддержанию традиций (что неизбежно приводило и приводит к известному обособлению от разговорной речи, в которой процессы диалектного дробления и всякого рода стихийные изменения проходят более интенсивно), скрытая кодификация, т. е. ориентация на нормы, представленные в тех или иных литературных документах; 3) функционирование в качестве средства цивилизации, обслуживание государственных и иных нужд общества и его отдельных членов, групп, сословий и т. п.

К наиболее важным отличиям литературных языков донациональной эпохи от национальных литературных языков следует отнести: 1) донациональные литературные языки не составляли (в пределах общей основы языка) единой системы с обыденной разговорной (или фольклорной) речью; 2) они не обладали всеобъемлющей поливалентностью, т. е. не обслуживали всех нужд общества; 3) эти языки более свободно допускали сосуществование на равных правах разного рода регионализмов (но в меньшей степени, чем язык фольклора). Разумеется, как общие, так и различительные признаки варьируются от языка к языку, поскольку каждый язык индивидуален и неповторим.

Наконец, об условности термина «литературный язык» и его близких эквивалентов, о чем писали и пишут все лингвисты. Каким бы условным он ни был, он общепринят и его нечем заменить. Среди славистов югославский языковед Д. Брозович пропагандирует термин «стандартный язык»⁴⁶, о неудобствах которого мне уже не раз приходилось писать. Однако и Д. Брозович признает, что рекомендуемый им (и не только им) термин может быть пригоден только в узкой сфере лингвистики и никогда не заменит обычное наименование, принятое в обществе.

Пригодность наших теоретических построений проверяется практикой. В наше время существует огромное количество исследований, учебников и учебных пособий, посвященных истории литературных языков. Среди них нет ни одного, в котором история литературного языка начиналась бы со времени разделения физического и умственного труда, с праиндоевропейского, пратюркского, прагерманского, праславянского и т. п. периодов, вообще с дописьменных эпох. Все авторы начинают свое изложение со времени появления письменности на том или ином языке. И это решает дело.

⁴⁶ D. Brozović, Standardni jezik.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

МИРОНОВ С. А., БЕРКОВ В. П.

ВАРИАТИВНОСТЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ НОРМ СОВРЕМЕННОГО НИДЕРЛАНДСКОГО ЯЗЫКА В НИДЕРЛАНДАХ И БЕЛЬГИИ

Современный нидерландский литературный язык, являющийся, с одной стороны, официальным государственным и национальным языком Нидерландов, выступает, с другой стороны, в качестве одного из двух (наряду с французским) государственных языков Бельгии (распространяющегося на пять северных ее провинций: Зап. Фландрию, Вост. Фландрию, Антверпен, Брабант и Лимбург). На современном этапе своего развития он по своему статусу может рассматриваться либо как общий для обеих стран единый нидерландский стандарт, либо как литературный язык, функционирующий в двух территориальных вариантах — северонидерландском (основном, более стандартизованном) и южнонидерландском (менее стандартизованном и сосуществующим в условиях бельгийского двуязычия с французским языком). Допускалась и третья возможность: рассматривать их как два самостоятельных национальных литературных языка — голландский, или нидерландский (на территории Нидерландов), и фламандский (в Бельгии). Последняя традиция сложилась в ряде европейских стран (в том числе и у нас), а также среди некомпетентных в научном отношении представителей населения самих Нидерландов и Бельгии в результате неправомерного переноса географических и ареальных терминов «голландский» и «фламандский» на обозначения соответствующих вариантов языка. Дело в том, что в правильном научном использовании термины «голландский» (Hollands) и «фламандский» (Vlaams) употребляются в нидерландской лингвистической традиции обычно в узком значении, преимущественно применительно к диалекту (или соответствующему разговорному койне) данных провинций (Голландии — в Нидерландах, Зап. и Вост. Фландрии — в Бельгии). Значительно реже и лишь в обиходно-разговорном узусе, а не в терминологическом значении, обозначения эти использовались применительно к языку Нидерландов и Бельгии вообще. В значении же общего наддиалектного языка обеих стран широко употребляется только один обобщающий термин «нидерландский язык» (Nederlands) с его уточняющими ареальными характеристиками «северонидерландский» (Noordnederlands) и «южнонидерландский» (Zuidnederlands).

Недопустимое с научной точки зрения употребление этих терминов за рубежом вызвало, наконец, в 1966 г. решительную реакцию со стороны нидерландских и бельгийских ученых — лингвистов и литературоведов, — выступивших в печати с «Разъяснением» по этому вопросу. Они отмечают научную несостоятельность и ошибочность утверждения, что во Фландрии новорят на языке, отличном от языка, применяемого в Голландии. «Нет

ни фламандского, ни голландского языка, — заявляют они, — есть только один нидерландский язык, который выступает в роли объединяющего Фландрию и Нидерланды литературного языка, обнаруживающего, само собой разумеется, как все языки, в частности немецкий, местные отклонения»¹. Различия эти относятся не только к сфере произношения, но выявляются также на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. Однако они далеко не носят столь значительного характера, чтобы быть признаками, свойственными разным литературным языкам².

Следовательно, упомянутая выше предполагаемая возможность рассматривать «голландский» («нидерландский») и «фламандский» как два отдельных самостоятельных литературных языка заранее должна быть отвергнута, так как всеми исследователями отмечается значительная общность их основного структурного ядра, близость их литературных норм, тогда как различия между ними не столь глубоки и существенны, чтобы на этом основании говорить о двух языках. Правильнее будет рассматривать нидерландский язык (учитывая конкретно-историческую специфику его развития и своеобразии путей его нормализации в обеих странах) как общий литературный язык, функционирующий в двух территориальных вариантах: более стандартизованном северном (севернонидерландском) и менее стандартизованном южном (южнонидерландском), находящемся в процессе оформления и сближения с ведущим северным вариантом, который является для него образцовой моделью или, говоря условно, языковым стандартом.

Видный нидерландский историк языка Ван Харинген даже ввел в употребление для обозначения складывающегося южнонидерландского варианта особый термин «бельгийский нидерландский язык образованных» («Belgisch beschaafd Nederlands»), который, однако, не должен пониматься как стандартизованный наддиалектный язык юга (как эквивалент севернонидерландского «стандарта»)³.

Недвусмысленно указывает на далеко не завершенный процесс стандартизации южнонидерландского варианта и зыбкость его границ бельгийский диалектолог Госсенс, когда он утверждает, что этот вариант является «конгломератом» идиолектов, в котором можно констатировать медленные, но явные сдвиги в направлении нидерландского «стандарта»⁴. В определении статуса южного варианта он примыкает в основном к Ван Кутсему, который считает, что образование общего языка на юге находится в процессе становления.

Как известно, формирование литературной нормы нидерландского языка характеризуется значительной сложностью и противоречивостью

¹ «Niederländisch. Eine Klarstellung» (отд. отт. из «Leuvense Bijdragen», Bijblad, LV, 2, 1966), стр. 2. Непосредственным поводом для выступления нидерландистов послужила статья Г. Германовского «Sprachverwirrung», появившаяся в печати 29 марта 1966 г. в «Börsenblatt für den deutschen Buchhandel» (стр. 696—697). В этой статье автор, в частности, пишет: «Фламандцы говорят на фламандско-нидерландском языке, а он отличается от общего нидерландского языка образованных точно так же, как язык африкаанс, являющийся тоже языковой формой нидерландского». «Разъяснение» подписали 25 известных нидерландских и бельгийских ученых (в том числе проф. Карон, Хеерома, Ван Луй, Ван Эс, Хеллинг, Пауэлс, Пее, Вейнен, Лиссенс, Смит и др.).

² В «Разъяснении» допускается лишь использование терминов «голландский» и «фламандский» применительно к литературе Голландии и Фландрии в сочетании с обобщающим термином «нидерландская литература».

³ C. V. van Haeringen, Herverfransing, «Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen», Afdeling letterkunde, N. R., XX, 5, Amsterdam, 1957, стр. 27—30; J. G. O. s. s. e. n. s., Belgisch beschaafd Nederlands en Brabantse expansie, «De Nieuwe Taalgids», Van Haeringen-nummer, Groningen, 1970, стр. 54—55.

⁴ J. G. O. s. s. e. n. s., указ. соч., стр. 55.

определяющих его процессов⁵. Уже в средненидерландский период зарождается и складывается южнонидерландская (фламандско-брабантская) письменно-литературная традиция, которая во многом определяет основную специфику и направление процесса выработки наддиалектной литературной нормы в последующий период. Исторические судьбы Южных Нидерландов сложились так, что они стали колыбелью нидерландской культуры, письменности и литературы, о чем свидетельствует бурный расцвет сначала Фландрии, а затем Брабанта в средние века. Перенос центров языкового развития на север, в Голландию, и упадок южных провинций в XVI—XVII вв. вызвали к жизни постоянное, но все более нарастающее внедрение в формирующуюся литературную норму местных голландских особенностей и обусловили возникновение на севере голландского городского разговорного койне, легшего в основу обиходно-разговорного нидерландского языка «образованных» («Algemeen beschaafde omgangstaal»).

Однако, несмотря на смену диалектной базы, южнонидерландская письменно-литературная традиция не изживает себя, а продолжает сохраняться в севернонидерландском варианте литературного языка, в наддиалектной его норме и в обиходно-разговорном языке (во многих случаях даже в «снятом виде»). Этим определяется, с одной стороны, сложный и гетерогенный характер структуры литературной нормы современного нидерландского языка, а с другой — относительная близость и не столь существенные расхождения между севернонидерландским и южнонидерландским его вариантами. Различия между этими вариантами проявлялись бы гораздо глубже и значительнее, если бы литературный язык Северных Нидерландов складывался на чисто голландской диалектной основе, а не вобрал бы в себя ряд существенных южнонидерландских элементов, и если бы литературный язык Южных Нидерландов (Бельгии) образовался на базе того или иного южного (фламандского, брабантского или лимбургского) диалекта, а не формировался бы путем внедрения и распространения на юге того же севернонидерландского варианта, насыщенного, как отмечалось, южнонидерландскими элементами. Последние обнаруживаются и проявляют себя в той или иной степени на всех этапах формирования литературного языка Нидерландов и Бельгии. Наблюдается, таким образом, своеобразный круговой (циклический) процесс. Возникнув в средний период на южнонидерландской основе, литературный язык распространяется на север, интенсивно вбирая в себя севернонидерландскую (голландскую) специфику (особенно в устной своей форме). Он сохраняет, однако, в складывающейся здесь литературной норме южнонидерландские элементы, которые как бы вновь возвращаются в Бельгию уже на новом этапе в составе распространяющегося в этом ареале севернонидерландского варианта.

После отделения северных провинций Нидерландов от южных в XVI в. создались предпосылки к полному отрыву и разобщению северного варианта нидерландского языка от южного в своем развитии. Если на севере в XVII в. в связи с объединением страны возникли все условия для образования наддиалектного литературного языка и для формирования разговорного городского койне, то на юге, ввиду изоляции и упадка южных провинций в период испанского владычества и католической реакции, нидерландский язык подвергался гонению и вытеснению из письменного употребления: сфера его применения ограничивалась домашним бытом, т. е. он оставался на положении «Umgangssprache». Ареальная дробность поддерживалась сепаратистскими тенденциями. Подлинных условий для

⁵ См.: С. А. М и р о н о в, Становление литературной нормы современного нидерландского языка, М., 1973.

возвышения того или иного диалекта и создания на его основе наддиалектного южнонидерландского литературного языка здесь не было (ср. неудачную попытку сформировать его на базе антверпенского диалекта в XVII в.)⁶. В качестве языка науки здесь надолго закрепился латинский язык, а языком общения привилегированных классов общества и интеллигенции — прослойки так называемых «образованных» — стал французский язык, поскольку родной язык расценивался ими как язык «низкий» и «некультурный». Оскудению духовной жизни и упадку национальной культуры юга в известной мере способствовала также волна иммиграции фламандской и брабантской интеллигенции в Нидерланды в XVII в. Складывающееся там в этот период разговорное городское койне — как основа будущей устно-разговорной нормы нидерландского языка — по политическим и религиозным мотивам, а также по своему языковому престижу (который был еще невелик), никак не могло тогда рассчитывать на признание и быть достойным подражания на юге. Лишь в своей письменной форме севернонидерландский вариант пользовался известным авторитетом у немногочисленных в то время южнонидерландских писателей, писавших на родном языке⁷.

В XVIII в. в Южных Нидерландах в связи с ростом национального самосознания в борьбе против официальной гегемонии французского языка и влияния французской культуры возникает, с одной стороны, определенная тенденция к сближению с Северными Нидерландами, к некоторому росту престижа нидерландской литературной нормы на юге, а с другой стороны, появляются сепаратистские устремления, направленные на создание национальной литературы на базе «очищенного», «нивелированного» западнофламандского диалекта. Временное воссоединение с Нидерландами (1814—1830) в единое Нидерландское королевство привело к формальному признанию нидерландского языка в качестве официального наряду с французским (преподавание его было введено в высших учебных заведениях Гента, Лёвена и Льежа), что вызвало, однако, волну протестов со стороны офранцузившихся слоев населения и фламандских националистов-сепаратистов⁸.

Бельгийская революция 1830 г. провозгласила независимость Бельгии, и упомянутое признание нидерландского языка официальным языком страны наряду с французским было отменено правительственным указом 1830 г., что в конечном итоге привело к признанию господствующей роли французского языка. Это вызвало к жизни так называемое «фламандское движение», направленное на возрождение национальной культуры. Характерно, однако, что известный поэт и филолог Я. Ф. Виллемс (1793—1846), признанный идеолог и вождь «фламандского движения», выступал за языковое объединение не под лозунгом выдвижения какого-нибудь южнонидерландского диалекта в качестве основы общего бельгийского «стандарта». Он был за признание таковым севернонидерландского варианта, хотя и подчеркивал совершенно справедливо историческую роль южных провинций в прошлом — в процессе формирования литературного языка и в становлении нидерландской литературы.

⁶ C. P. F. Lescoutere, *Inleiding tot de taalkunde en tot de geschiedenis van het Nederlands*, 6-e druk, bewerkt door L. Grootaers, Leuven — Groningen, 1948, стр. 325.

⁷ C. G. N. de Voors, *Geschiedenis van de Nederlandse taal*, 5-e uitg., Antwerpen — Groningen, 1952, стр. 116—119.

⁸ Характерно, что в XVIII в. и в начале XIX в. бельгийские сторонники сближения южнонидерландского варианта с севернонидерландским называют как тот, так и другой вариант (в соответствии со старой северной традицией) «Nederduytsche tael (tale)», значительно реже «Nederlandsche tael», тогда как фламандские сепаратисты вводят в употребление и термин «Vlaemsche tael».

В середине XIX в. «фламандским движением» была охвачена относительно небольшая прослойка интеллигенции; практически оно не распространялось на широкие слои населения, где господствовали местные диалекты или отчасти диалектально окрашенные койне. Обиходно-разговорный нидерландский язык Севера проникал в толщу народных масс еще очень слабо. Привилегированная прослойка населения продолжала широко пользоваться французским языком. В 60-х годах XIX в. усилились сепаратистские тенденции, особенно попытки возвысить старый фламандский диалект и использовать его в архаизированном и вместе с тем «очищенном» виде в качестве письменно-литературного языка (Гезелле и др.). Однако в конце концов побеждает ориентация на северный вариант нидерландского литературного языка.

В конце XIX — начале XX в. «фламандское движение» набирает силу и расширяет сферу своего распространения. Это проявляется в расцвете национальной литературы первоначально на более или менее диалектально окрашенном нидерландском языке (творчество Х. Консьянса, К. Л. Ледеганка, Д. Слекса, А. Берхмана, Э. Де Бома, С. Стрёмелса, Ф. Тиммерманса, Г. Тейрлинка и др.). В этот период происходит постепенная стабилизация и стандартизация южнонидерландского варианта литературного языка и его сближение с литературной нормой Нидерландов. Процесс этот нашел свое отражение и в постепенной унификации орфографии северного и южного вариантов литературного языка, в начавшейся перестройке южнонидерландской орфографической системы по образцу северной. Перестройка эта завершилась лишь в 1946—1947 гг. официальным признанием бельгийским и нидерландским правительством унифицированных правил правописания, изложенных во «Введении» к «Словнику нидерландского языка», опубликованному в 1954 г.⁹

*

Различия между южным менее стандартизованным и северным более стандартизованным вариантами нидерландского языка Бельгии и Нидерландов, находящие свое выражение в дифференциации их литературных норм, проявляются в разной степени и в разных соотношениях на всех языковых уровнях. Они могут быть сведены к ряду противопоставлений, которые отчасти находятся в процессе выравнивания и нейтрализации, а отчасти сохраняются как менее существенные признаки, irrelevantные для наддиалектного литературного языка и его норм.

Более дифференцированы эти противопоставления на фонетическом уровне, в сфере орфоэпической нормы. В подсистеме консонантизма могут быть выделены следующие противопоставления:

Южнонидерландский	Севернонидерландский
1. Сохранение оппозиции звонких или полувзвонких щелевых <i>v, z</i> , <i>γ</i> глухим <i>f, s, x</i> в анлауте и инлауте (типа <i>vier</i> [vi:r] — <i>fier</i> [fi:r], <i>zeis</i> [zeis] — <i>sijs</i> [seis], <i>gloor</i> [ɣlo:r] — <i>chloor</i> [klo:r], <i>lagen</i> [layən] — <i>iachen</i> [laxən]).	1. Нейтрализация оппозиции звонких щелевых глухим; утрата или ослабление звонких и сохранение глухих <i>f, s, x</i> особенно в анлауте и отчасти в инлауте (типа <i>va-der</i> [ˈfa-dər], <i>zuster</i> [ˈsʌstər], <i>groot</i> [xro · t], <i>lezen</i> [le · səl]).

⁹ «Woordenlijst van de Nederlandse taal», 's-Gravenhage, 1954.

2. Бибиабильный характер полугласного *w* в анлауте (типа *water* [wa·tər]).

3. Неустойчивость и прокопа фарингального *h* в анлауте (типа *hebben* > [ɛbə(n)]) при устойчивости его в части брабантского и лимбургского ареалов.

4. Относительная устойчивость конечного *-n* неударных слогов во фламандском при апокопе его в брабантском и лимбургском ареалах (типа *werken* [werkən], *boeken* [bu·kən]).

2. Лабиодентальный характер полугласного *w* в анлауте (типа *water* [wa·tər]).

3. Устойчивость фарингального *h* в анлауте (типа *hebben* [hɛbəl]).

4. Апокопа конечного *-n* неударных слогов в ведущем голландском ареале при устойчивости его в северо-восточной области (типа *werken* [werkəl], *boeken* [bu·kəl]).

Типичное для южного ареала разграничение звонких и глухих щелевых закрепляется на севере как признак литературной нормы современного нидерландского языка вопреки северному (голландскому) устно-разговорному узусу с его ранним ослаблением или нейтрализацией противопоставления звонких и глухих. Дифференциация норм севера и юга устраняется здесь путем выравнивания их по южному образцу.

Различие между южным бибиабильным и северным лабиодентальным вариантами *w* не носит фонологического характера. Однако бибиабильный характер южнонидерландского *w* объясняется, очевидно, тем, что именно эта специфика артикуляции является дифференциальным признаком, более резко противопоставляющим эту фонему звонкому лабиодентальному спиранту *v*. В севернонидерландском варианте, где нет звонкого лабиодентального *v*, этот дифференциальный признак не является необходимым.

Стабильности фарингального *h* в северном и отчасти южном (брабантском и лимбургском) ареалах противостоит типично фламандская (и лишь отчасти брабантская) черта неустойчивости *h*, ведущей даже к его прокопе (предположительно под французским влиянием). Под воздействием северной нормы особенность эта постепенно изживается.

В отношении сохранения или отпадения конечного *-n* неударных слогов в южном и северном ареалах обнаруживается сложная картина. Для Нидерландов и Бельгии в настоящее время допустимы и нормативны в равной мере оба варианта и можно предоставить свободу выбора каждого из них (в зависимости от тех или иных фонетических условий).

Подсистема вокализма южного и северного вариантов нидерландского языка обнаруживает значительно больше дифференцирующих признаков, чем подсистема согласных. Правда, в большинстве своем признаки эти относятся к фонетическому уровню и не имеют фонологической значимости. Это объясняется тем, что подсистема гласных самого северного варианта сложилась исторически под интенсивным южным воздействием и носит гетерогенный характер.

Из наиболее существенных противопоставлений в сфере вокализма, относящихся преимущественно к фонетическому уровню, можно выделить следующие:

Южнонидерландский

1. Назализация кратких гласных перед носовыми согласными *m*, *n* (типа *komt* > *kōmt*, *lant* > *lānt*)).

Севернонидерландский

1. Отсутствие назализации кратких гласных пред носовыми согласными *m*, *n*.

2. Наличие заднего долгого *a* (*a*: > *a*:), близкого заднему краткому *a* и тенденция к их повышению: *a* > *o*, *a*: > *ɔ*: (типа [tɑ:k] > [tɑ:k], [rɑnt] > [rɔnt], [vɑ:dər] > [vɔ:dər]).

3. Тенденция к понижению (расширению) кратких гласных *i* > *ɛ*, *ɛ* > *æ*, *u* > *ɔ*, особенно во фламандском, отчасти в брабантском ареалах (типа [ɪk] > [ɛk], [mɛt] > [mæt], [wurm] > [wɔrm], [um] > [om]).

4. Сохранение качественных различий между долгими \hat{e} (< *ai*), \hat{o} (< *au*) и удлинёнными \bar{e} , \bar{o} , развившимися в открытом слоге во фламандском, брабантском и лимбургском ареалах (типа [bi:nə] — [lɛ·ivə]; [bu:mə] — [ko:lə]).

5. Отсутствие дифтонгизации долгих гласных \hat{i} , \hat{u} (< \hat{a}) в западнофламандском, \hat{i} , \hat{u} в лимбургском ареалах (типа зап.-флам. [fi:n], [mu:s]; лимб. [fi:n], [mu:s]).

2. Наличие переднего долгого *a*:, противостоящего заднему краткому *a* и вытеснившего исконный палатальный вариант — долгое *æ* в голландском ареале (типа [tɑ:k] — [tak]).

3. Тенденция к реализации узких вариантов кратких гласных *i*, *u* в голландском ареале и частичное расширение их в литературном языке под воздействием южной традиции (типа [ɪk], [mit]/[mɛt], [wurm], [om]).

4. Устранение качественных различий между долгими \hat{e} (< *ai*), \hat{o} (< *au*) и удлинёнными \bar{e} , \bar{o} , развившимися в открытом слоге в голландском ареале и в литературном языке (типа [be:nə] — [le:və]; [bo:mə] — [ko:lə]).

5. Дифтонгизация долгих гласных \hat{i} < $\hat{e}\hat{i}$ (*ij*), \hat{u} > $\hat{u}\hat{i}$ (*ui*) под брабантским и восточнофламандским воздействием в голландском ареале и в литературной норме нидерландского языка (типа [fɛin], [møis]).

Помимо этих наиболее существенных противопоставлений, к различиям в вокализме между южным и северным стандартизованным вариантом можно отнести: удлинение кратких гласных на юге (*a* > *a*·, *i* > *i*·, *y* > *y*·, *u* > *u*·) при сохранении их краткости на севере; палатализацию кратких и долгих гласных перед *r* на юге (*a* > *æ*, *a*: > *ɛ*:) при отсутствии этого явления в данных комбинаторных условиях на севере; делабиализацию гласных (*y*: > *i*·, *ø*: > *e*·) на юге при преимущественном сохранении их лабиализации на севере и в орфоэпической норме. Назализация кратких гласных, свойственная в основном южнонидерландскому ареалу, фонологического значения не имеет. Противопоставление южного заднего долгого *a* северному переднему его варианту также лишено фонологического значения.

Южнонидерландская тенденция к понижению (расширению) кратких гласных [ɪ] > [ɛ], [ɛ] > [æ], [u] > [ɔ] противостоит северной (голландской) тенденции к реализации этих узких вариантов. Сочетание этих противоречивых тенденций находит свое отражение в гетерогенном по своему характеру литературном нидерландском языке, что проявляется в размежевании сфер использования широких и узких вариантов в тех или иных лексемах. Различия эти (после устранения фонематического противопоставления двух кратких *o*, из которых одно восходит к краткому *u* на большей части территории Нидерландов и в орфоэпической норме литературного языка) не являются релевантными в фонологическом отношении.

Пережиточному сохранению на юге качественных различий между долгими \hat{e} , \hat{o} и удлинёнными \bar{e} , \bar{o} , развившимися из кратких гласных в открытом слоге, противостоит на севере (как в голландском ареале,

так и в литературном языке) устранение этих различий в результате выравнивания $\hat{e} \sim \bar{e}$, $\hat{o} \sim \bar{o}$ в XVI—XVIII вв. Здесь проявляются наиболее заметные качественные различия между южным и северным вокализмом.

Дифтонгизация долгих гласных \hat{i} , \hat{u} ($< \hat{u}$), очагом которой явился один из южнонидерландских ареалов — брабантский, возникла под влиянием последнего также в голландском ареале и закрепилась как один из существенных признаков орфоэпической нормы нидерландского языка (отсутствие ее характерно лишь для двух зон южнонидерландского).

Разумеется, далеко не все рассмотренные выше фонетические особенности севера и юга в равной мере характерны для литературного произношения: значительная часть их свойственна лишь диалектно окрашенной речи. С другой стороны, некоторые особенности южного произношения, отличающие его от северного, не только считаются допустимыми, но и характеризуют южную орфоэпическую норму. К этим чертам из рассмотренных выше относятся следующие: 1) отсутствие оглушения v , z , g в анлауте и инлауте; 2) билабиальный характер w ; 3) фонемы $/y/$ и $/x/$ произносятся с меньшим шумом, нежели на севере; 4) полностью отсутствует сильный приступ, довольно широко (однако, менее интенсивно, чем в немецком) представленный в Нидерландах; 5) долгие e и o произносятся только как чистые монофтонги, тогда как в Нидерландах они в ряде мест произносятся в рамках литературного произношения как дифтонгоиды, т. е. как $e \cdot o$; 6) произношение сочетания, обозначаемого на письме *schr* (в словах типа *schrijven* «писать»), как $[sɣr]$, тогда как в Нидерландах оно часто произносится как $[sr]$; 7) имеется ряд отличий во фразовой интонации.

Как уже указывалось, с 1946 г. в Нидерландах и Бельгии действуют единые орфографические правила, вследствие чего, естественно, различий в орфографии между севернонидерландским и южнонидерландским вариантами практически нет. Разница имеется лишь в написании некоторых групп иностранных слов, заимствованных из латинского, греческого и французского языков. Одной из характерных черт современной южнонидерландской орфографии (в отличие от северной нормы) является замена буквы s в таких словах буквой k , ср. южно-нид. *kommunisme*, *kontrakt* и сев.-нид. *communisme*, *contract*.

Вместе с тем, в традиционных южнонидерландских написаниях (прежде всего в фамилиях) сохраняются некоторые буквосочетания, отличные от севернонидерландских. До реформы Виллемса 1841 г. они противостояли северной орфографической норме Зигенбеeka. Эти традиционные написания, восходящие к прошлым векам, таковы: 1) долгое $[a:]$ в закрытом слоге обозначалось на юге диграфом *ae*, на севере — диграфом *aa* (южно-нид. *jaer* — сев.-нид. *jaar*). Характерно, что это написание сохранялось долго и после реформы Виллемса; 2) дифтонг $[e\dot{i}]$, возникший из долгого \hat{i} (во фламандском ареале также долгое \hat{i}), на юге передавался буквой y , на севере диграфом *ij* (южно-нид. *gelyk* — сев.-нид. *gelijk*); 3) дифтонг $[\emptyset\dot{i}]$, развившийся из долгого \hat{u} ($< \hat{u}$), обозначался в южном ареале диграфом *uy* (например, *uyt*), в северном — диграфом *ui* (*uit*); 4) долгое $[y:]$ в закрытом слоге передавалось буквосочетанием *ue* на юге (ср. *uer*) и буквосочетанием *ui* на севере (ср. *uur*); 5) для обозначения сочетания согласных $[xt]$ на юге использовался диграф *gt* (*opzigt*), а на севере диграф *cht* (*opzicht*); 6) южнонидерландский использовал для обозначения $[s]$, развившегося из $[sx]$, в середине и в конце слова буквосочетание *sch*, часто читавшееся «орфографически»: $[sx]$ (*mensch* — *mensen*), тогда как на севере использовалась только графема s (*mens* — *mensen*).

На морфологическом уровне могут быть выделены следующие противопоставления, выражающие различия между южнонидерландским и севернонидерландским вариантами:

Южнонидерландский

1. Консервация трехродовой системы с формальным обозначением мужского рода в артикле и в атрибутивных местоимениях [типа *den dokter* (муж. р.), *de markt* (жен. р.) *het huis* (ср. р.); теперь под северным влиянием *de dokter*].

2. Большая продуктивность форматива *-en* и меньшая распространенность форматива *-s* в сфере образования мн. числа (типа *leraren, zonen, boeken*).

3. Распространенность старого местоимения 2-го лица *gij* (*ge*) и формы *u*. Пережиточное сохранение в Бельгийском Лимбурге старой формы 2-го лица ед. ч. *doe* (*de, dau*).

4. Закрепление частично дифференцированной системы личных окончаний глагола во мн. ч. настоящего времени [*-en, -(e)t, en*], совпадающей с северным литературным вариантом и противостоящей унифицированному периферийному голландскому варианту (типа *wij nemen, gij, u neemt, zij nemen*).

5. Употребление уменьшительного суффикса существительных *-ke(n)* [типа *huiske(n)*].

Севернонидерландский

1. Формирование двухродовой системы (с угасанием различий между мужским и женским родом и образованием «общего рода») с пережиточным сохранением трех родов в письменной форме литературного языка [типа *de dokter* (муж. р.), *de markt* (жен. (муж.) р.) — *het huis* (ср. р.)].

2. Максимальная распространенность форматива *-s* и преобразование форматива *-en* > *-e* (*-ə*) при относительно меньшей его продуктивности в устно-разговорной форме [типа *leraars, zoons, boeke(n)*].

3. Распространение местоимения 2-го лица *jij* (*je*), *jou, jullie*. Оттеснение *gij* (*ge*) в старую письменную форму — во мн. ч. Отмирание формы 2-го лица ед. ч. *doe*.

4. Закрепление в литературной норме южного варианта с частично дифференцированной системой личных окончаний глагола во мн. ч. настоящего времени, противостоящего периферийному голландскому варианту с унифицированной по лицам флексией мн. ч. *-e* (*-ə*) < *en*, оттесненной в сферу диалекта и общо-разговорного языка (типа *wij nemen, u, jullie nemen, zij nemen*).

5. Употребление уменьшительного суффикса существительных *-je* и его вариантов *-ie, -tje, -pje* (типа *huisje*).

Различие между трехродовой системой в южнонидерландском и двухродовой — в севернонидерландском варианте является одним из наиболее существенных морфологических различий, оставившим глубокий след в структуре именной системы нидерландского языка.

Стирание на севере формальных различий между мужским и женским родом привело к их нейтрализации и формированию на их базе «общего рода». Южнонидерландский вариант, напротив, сохранил различия между мужским и женским родом. При формировании литературной нормы нидерландского языка более консервативная трехродовая (южнонидерландская) система закрепилась в письменно-литературной форме языка, а двухродовая (северная, голландская) — в его устно-разговорной форме. Колебания в роде и родовые различия между северным и южным вариантами весьма глубоки. Показательно, что грамматический род существительных во фламандском ареале не совпадает с голландским

по крайней мере более чем в 1000 лексемах. Ранее мужской и женский роды были противопоставлены в южнонидерландском в ряде форм (в частности, в артикле, прилагательном), но теперь это различие находит свое выражение в использовании личных местоимений, заменяющих существительное. Так, например, в северном варианте существительное *deur* (по происхождению женского рода) теперь обычно заменяется местоимением мужского рода *hij*, но в южном варианте возможно только заменяющее местоимение женского рода *zij*.

Различия в сфере образования мн. числа сводятся к большей продуктивности формата *-en* в южном (фламандско-брабантском), а формата *-s* в северном (голландском) варианте.

В связи с редуцией конечного *-n* в северном ареале модель мн. числа с формативом *-en* преобразуется здесь в модель с обобщенным формантом *-e* (*-ə*). Относительно большая продуктивность формата *-s* на севере относится преимущественно к устной разновидности этого варианта литературного языка, тогда как в письменной его форме обнаруживается сосуществование двух ведущих формативов (*-en* и *-s*), в котором отражается взаимодействие обоих ареалов — южного и северного. Распространению старого местоимения 2-го лица ед. и мн. числа *gij* (*ge*) не только в письменно-литературном, но и в устно-разговорном языке южного ареала противостоит ограниченное использование его на севере только в архаизирующем и возвышенном стиле письменного языка и устных выступлений. Северные инновации (*jij*, *je*, *jullie*) интенсивно проникают в настоящее время и в нидерландский язык Бельгии.

Система личных окончаний глагола во мн. числе настоящего времени южного варианта идентична закрепившейся в литературном нидерландском языке (под южным влиянием) глагольной парадигме с частично дифференцированными личными окончаниями, тогда как исконно голландская парадигма с унифицированными по лицам окончаниями оттеснена в сферу диалекта и обиходно-разговорного языка.

Противопоставление южного и северного вариантов уменьшительного суффикса [*-ke(n)* — *-je*], восходящих к общему источнику, связано с разграничением его старой вариантной формы, закрепившейся на юге, и его северной (голландской) инновации.

На синтаксическом уровне различия между южнонидерландским и севернонидерландским вариантами проявляются в значительно меньшей степени. Они относятся лишь к более педантичному и рабскому следованию южного варианта синтаксическим правилам школьных грамматик и старым традициям письменно-литературного языка, т. е. к меньшей свободе в использовании синтаксических средств и в отходе от этих правил, а также к некоторым характерным различиям в порядке слов в предложении, восходящим к местным локальным (диалектным) особенностям¹⁰. Одной из характерных черт южнонидерландского фламандского ареала, в отличие от северного и от литературной нормы нидерландского языка, является употребление вспомогательных глаголов *hebben*, *zijn*, *worden* (в сложных формах прошедшего времени и в пассиве) в постпозиции после причастия II знаменательного глагола, а вспомогательного глагола будущего времени *zullen* и модальных глаголов (в соответствии с правилами литературного языка) — перед инфинитивом знаменательно-го глагола (т. е. в препозиции к нему). Правда, под влиянием литератур-

¹⁰ J. V e r h a s s e l t, Verschillen tussen Noord en Zuid inzake de volgorde hulpwerkwoord — hoofdwerkwoord, «Taal en Tongval», jg. 13, 2—3, 1961, стр. 153—157; A. P a u w e l s, De plaats van het hulpwerkwoord, verleden deelwoord en infinitief in de Nederlandse bijzin, «Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie», 7, 1953, стр. 10—11.

ной нормы отклонение от нее в порядке слов (в первом случае с причастием II) постепенно устраняется. Другой характерной синтаксической чертой южнонидерландского ареала является «расщепление» (*splitsing*) в главных и придаточных предложениях двух компонентов сложной глагольной формы (Vf и инфинитива, двух инфинитивов и др.) и вклинивание между ними других членов предложения (или одного из компонентов местоименного наречия) типа *hij zal wel willen bij ons komen — hij zal wel bij ons willen komen*.

В наибольшей степени проявляется дифференциация литературного языка Нидерландов и Бельгии на лексическом уровне¹¹. Можно указать на такие лексемы из северного ареала, как: *bajes* (разг.) «тюрьма», *belazeren* (груб.) «обманывать», *bes* «старушка», *opperman* «подручный», *ontuig* «сорняк, сброд», *rooien* «пьянствовать» и мн. др. С другой стороны, можно насчитать около 800—1000 слов южнонидерландского происхождения, которые неизвестны или неупотребительны на севере, как, например: *achternoen* «послеобеденное время», *afbieden* «торговаться», *eetmaal* «обед», *flierefluiter* «кутила», *beenhouwer* «мясник», *behangpapier* «обои» и др. Исследователи отмечают также большую роль брабантского ареала как очага экспансии диалектной лексики и пополнения ею обиходно-разговорного южнонидерландского языка Бельгии (ср. брабантские по происхождению слова, противостоящие литературным севернидерландским лексемам: южн. *patat* вм. сев. *aardappel* «картофель», *hesp* вм. *ham* «ветчина», *gritsel* вм. *hark* «грабли», *tellor* вм. *bord* «тарелка», *pepel* вм. *vliinder* «бабочка, мотылек», *onze-lieve-vrouwbeestje* вм. *onze-lieve-heersbeestje* «божья коровка» и мн. др.¹².

Соотношение между севернидерландской и южнонидерландской лексикой осложняется наличием значительных лексических пластов южного происхождения, закрепившихся в лексико-семантической системе литературного севернидерландского языка. Они образуют вместе с исконными голландскими лексемами сосуществующие в языке синонимические варианты (пары), первоначально диалектный характер которых обычно стирается. Южные лексические единицы носят обычно более архаический, книжный характер, а северные варианты отличаются обычно своим живым обиходно-разговорным узусом. К лексическим дублетам этого типа относятся: *zenden — sturen* «посылать», *gaarne — graag* «охотно», *schoon — mooi* «красивый», *zeer — heel* «очень», *kussen — zoenen* «целовать», *heden — vandaag* «сегодня» и др. Отнесенность первых компонентов этих дублетов к южному, а вторых — к северному ареалу прослеживается либо по наличию этих лексем в том или ином диалектном ареале, либо (чаще всего) лишь в результате тщательного лексико-этимологического анализа.

Весьма велики различия между южным и северным вариантами в отношении французских заимствований. Характерно, что, хотя для диалектной речи свойственно употребление множества французских слов¹³, в литературном языке фламандцы большие пуристы, чем голландцы. Так, не признаются в Бельгии закрепившиеся в языке Нидерландов галлицизмы *abattoir* «скотобойня», *bigotterie* «ханжество», *offreren* «предлагать»,

¹¹ J. L. Pauwels, *De Zuidnederlandse woorden in de nieuwe woordenlijst, в его кн.: «Verzamelde opstellen», Assen, 1965, стр. 195.*

¹² J. G. Oossens, указ. соч., стр. 57—63, 65—66.

¹³ Диалектологи, исследовавшие говоры ряда северобельгийских городов, зарегистрировали в речи не говорящих по-французски носителей диалекта множество французских слов: в Аалсте — 2650, в Брюгге — 1580, в Генте — 1830, в Менене — 2770, в Остенде — 2930 и в Верне — 1150 (сводка дана в работе: W. P. e e, *Het Algemeen Nederlands in Vlaanderen, «Taal en Dialekt», XXXIX, 1970, стр. 19*). В. Пее писал, что в начале века во фламандском диалекте, например, для обозначения велосипеда и всех его частей использовались только французские слова (там же, стр. 17—18).

plausibel «правдоподобный» и т. п. Лексемы *redactie, organiseren, eventueel* заменяются соответственно на *opstelraad, inrichten, gebeurlijk*. Ср. также южн. *gazet* вместо сев. *krant* «газета», хотя оба эти слова заимствованы из французского языка.

С другой стороны, в речи носителей южного варианта очень часто встречаются неосознанные галлицизмы — кальки, в которых сохраняется целиком французская структура. Примерами могут служить употребления типа *hij zal gelukken* (калька франц. *il réussira*) вместо правильного *het zal hem gelukken* «это ему удастся», *zich verwachten aan* (ср. франц. *s'attendre à*) вместо *verwachten vt* «ожидать», *rekening houden van* (ср. франц. *tenir compte de*) вместо *rekening houden met* «считаться с чем-л.; учитывать что-л.», *zich steunen* (франц. *se fonder*) вместо *steunen* «основываться» и т. д. Подобные грубые ошибки встречаются в газетах и журналах очень часто¹⁴. Впрочем такое неосознанное употребление галлицизмов — явление, естественно, отнюдь не новое. Напротив, для прошлого века оно было особенно характерным, когда все образованные фламандцы фактически лучше владели французским языком, нежели родным диалектом (литературным нидерландским вообще владели единицы).

Положительная программа нормализаторов южнонидерландского варианта в целом довольно расплывчата. С одной стороны, они стремятся к большей общности с севернидерландской нормой, и действительно, как уже отмечалось выше, процесс утраты специфических южных черт — в первую очередь в письменной речи — идет весьма интенсивно. Тут играют роль несколько факторов, в частности, всеобщее образование с обязательным изучением общелитературной нормы в школе, развитие средств массовой коммуникации и информации¹⁵, сознательное стремление избегать специфически южных форм в письменной речи для того, чтобы обеспечить книжной, журнальной и газетной продукции фламандцев выход на читательский рынок Нидерландов. Еще многие из первых борцов за права нидерландского языка в Бельгии понимали, что лишь языковая общность с Нидерландами, их богатой и прочной литературной традицией может помочь нидерландскому языку в Бельгии укрепить свои позиции и противостоять престижу французского языка.

С другой стороны, нормализаторы южнонидерландского варианта желают сохранить некоторую национальную специфику, в частности, определенные фонетические особенности (например, звонкие согласные *g, v, z*, билабиальное *w* и др.) и различие мужского и женского рода существительного при помощи замещающих личных местоимений. В отношении же того, какие иные специфически южные черты должны быть сохранены, единства нет; собственно говоря, нет и сколько-нибудь конкретной платформы. Лишь в общей форме декларируется, что южнонидерландский вариант должен иметь свою специфику¹⁶ и что оба варианта должны взаимно обогащать друг друга¹⁷.

Конечно, в настоящее время едва ли приходится говорить о взаимном влиянии обоих вариантов: пока в общем севернидерландский вариант влияет на южный. В целом можно сказать, что средний фламандец владеет нидерландским языком хуже, чем житель Нидерландов.

¹⁴ W. P e e, *Vlaams, Hollands of Nederlands*, «Nu nog», XXI, 4, 1973, стр. 78. О галлицизмах в южнонидерландском имеется обширная литература. Еще в 1899 г. в Генте вышла большая работа В. де Фреезе (W. de V r e e s e, *Galicismen in het Zuidnederlands. Proeve van Taalzuivering*). Ряд последних работ в этой области перепечатан в сб. «*Aspekten van het Nederlands in Vlaanderen*» (Leuven, 1974).

¹⁵ J. G o o s s e n s, «*Belgisch Beschaafd Nederlands*» en *Brabantse expansie*, в кн.: «*Aspekten van het Nederlands...*», стр. 95.

¹⁶ W. P e e, указ. соч., 13—14.

¹⁷ Там же, стр. 20.

До сих пор диалект играет в Бельгии очень большую роль. Процент говорящих в быту на литературном языке во многих районах, особенно в Зап. Фландрии, очень низок. В общем для подавляющего большинства населения диалект — родной язык во всех отношениях, тогда как «родной язык», которому они обучаются в школе (т. е. литературный язык), с педагогической точки зрения — иностранный язык.

*

В заключение остановимся вкратце на современном языковом положении в Бельгии.

Несмотря на то, что нидерландский язык еще в 1895 г. был официально признан вторым государственным языком страны, ситуация до сих пор довольно остра. Сложность положения определяется рядом политических, социальных и психологических факторов.

С самого начала проблема равноправия фламандцев была связана с политическими моментами. На протяжении XVIII—XIX вв. и отчасти XX в. высшие слои общества говорили по-французски. В XIX в., например, во Фландрии по-французски говорило 3% населения, но это были социально и экономически привилегированные слои общества. Таким образом, противопоставление «фламандец — валлон» было для Фландрии противопоставлением не только языковым, но и социальным. «Бедная Фландрия» (название, закрепившееся после выхода в 1884 г. одноименного романа Р. Стейнса и И. Тейрлинка) была аграрной областью. Ей противопоставлялась богатая промышленная Валлония. Языковое неравенство было, следовательно, тесно связано с неравенством социальным. По словам одного из исследователей, «демографическое большинство имело все признаки социального меньшинства»¹⁸. В 50-е годы нашего века на промышленных предприятиях в Вост. Фландрии по-нидерландски говорили: рабочие — 100%, служащие младшего состава — 70%, служащие старшего состава — 35%, административные служащие — 25%¹⁹. Языковое равноправие в известной мере не осуществлено до сих пор. Ср. следующие статистические данные о говорящих на нидерландском языке в Бельгии: дошкольники — 63%, начальная школа — 57%, средняя школа — 51%, университет — 40%. Сравнительно мало высших офицеров-фламандцев, тогда как 62% солдат говорит по-нидерландски.

Противоречия между фламандцами и валлонами по-прежнему находятся в острой стадии. Они, разумеется, не сводятся только к проблемам языковым и культурным, но сложно переплетаются с проблемами экономическими и политическими. Если ранее аграрной Фландрии противопоставлялась богатая индустриальная Валлония, то теперь положение изменилось. Во Фландрии (особенно в треугольнике Брюссель — Гент — Антверпен, а также в Лимбурге) в последние годы произошло бурное развитие современных перспективных областей экономики (электроники, машиностроения, химической промышленности), тогда как в Валлонии ее исторически сложившаяся старинная промышленность (производство стали, стекла, цемента, текстиля и т. п.) пришла в упадок, породив там весьма значительную безработицу.

Почти все главные политические партии по существу расколоты по языковому признаку на две группы и обычно выступают на выборах с отдельными списками кандидатов. В правительстве Бельгии есть два министерства народного образования, два министерства культуры, два госу-

¹⁸ L. H u y s e, Un regard sociologique sur la question linguistique en Belgique, «Septentrion», 1974, 3, стр. 26.

¹⁹ H. D e l e e c k, Taaltoestanden in het Vlaamse bedrijfsleven, Brussel, 1959.

дарственных секретариата по вопросам региональной экономики. Ровнь между фламандской и валлонской языковыми общинами периодически вспыхивает с особой силой, требующей вмешательства властей.

Демократическая общественность Бельгии выступает за федерализацию страны. Идея федерализации Бельгии не нова ²⁰ и, видимо, давно была бы претворена в жизнь, если бы не проблема Брюсселя. Суть этой проблемы состоит в том, что находящийся на нидерландоязычной территории Брюссель (он расположен в 20 км к северу от языковой границы), в течение многих веков бывший местонахождением франкоязычной администрации, населен в значительной мере говорящими по-французски ²¹.

Итак, процесс преобразования южнонидерландского варианта осуществляется в направлении слияния его с севернонидерландским вариантом и возникновения в перспективе на этой основе единого для обеих наций нидерландского стандарта. Представляется, по-видимому, наиболее правильным усматривать статус современного нидерландского литературного языка как языка, функционирующего на территориях Нидерландов и Бельгии, в его промежуточном положении, между двумя вышеупомянутыми возможными типами литературных языков, рассматривая его одновременно и в динамике его постепенного преобразования в общий для обеих наций единый нидерландский стандарт, который достигим лишь на путях дальнейшего исторического развития и функционирования языка в обеих странах. Иначе говоря, процесс этот следует считать незавершенным.

Во всяком случае тенденция к объединению обоих территориальных вариантов литературного нидерландского языка под эгидой северного варианта проявляется очень отчетливо и ведет в перспективе к установлению полного единства литературных норм в рамках Нидерландов и Бельгии.

²⁰ См.: R. de Nolf, *Federa'isme in België als grondwettelijk vraagstuk*, Antwerpen, 1968, где истории идеи федерализации посвящена обширная вторая часть (стр. 64—229).

²¹ Это можно проиллюстрировать такими дополнительными данными. Из пишущих по-нидерландски бельгийских писателей в Антверпене проживает 35,8%, тогда как в Брюсселе их живет 17,3% и в Генте — 16,5%. При этом характерно, что уроженцы Антверпена составляют 34,7%, Гента — 20,4%, а Брюсселя — всего 9,0% (S. v a n d e r l i n d e n, *De malaise in de letterkundige wereld. Sociologische enquête naar de positie van de Vlaamse schrijver*, Louvain — Leiden, 1974, стр. 22).

БЕЛЫЙ В. В.

СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕСКРИПТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Относительно начального этапа развития американской дескриптивной лингвистики существуют две точки зрения. Одна связывает ее начало с 1926 годом. «Мы, — подчеркивает М. Джуз, — датируем ее выходом в свет „Ряда постулатов для науки о языке“ Л. Блумфилда»¹.

Другая точка зрения, принадлежащая Блумфилду, связывает возникновение таковой с деятельностью школы Ф. Боаса, делая вместе с тем отговорку, заставляющую признать существование и добоасовского периода в становлении и развитии этого направления лингвистического структурализма. «В своей работе мы, — пишет Блумфилд, — думали о Франце Боасе, который в той или иной мере был нашим общим учителем»². «Боас собственноручно выковал инструмент фонетического и структурального (разрядка наша. — В. В.) описания»³. «Его величайшим вкладом в науку было развитие (разрядка наша. — В. В.) дескриптивного изучения языка»⁴.

Принять ту или иную точку зрения — значит наложить на историческую перспективу этого направления вполне определенные ограничения. Действительно. Мнение Блумфилда, «каждое слово которого здесь важно и каждое определение нужно принимать всерьез»⁵, постулирует наличие длительной эволюции дескриптивной лингвистики, наличие в ней добоасовского периода. Джуз же ограничивается лишь блумфилдианским периодом ее развития, хотя, по нашему мнению, это лишь один из этапов ее эволюции.

В силу сказанного представляется чрезвычайно важным вопрос о периодизации истории дескриптивной лингвистики. Такая периодизация, с одной стороны, показала бы ее в эволюции и развитии, а с другой — предупредила бы возможность недифференцированного использования самого понятия «дескриптивная лингвистика», что можно видеть, например, в исследованиях Д. Лейна, К. и Ф. Веглинов, Р. Холла, Т. Трейгера⁶, в которых смазывается качественная определенность доблумфилдианского и блумфилдианского периодов ее развития, а сам термин «дескриптивная

¹ M. J o o s, Description of Language Design, «Readings in Linguistics», New York, 1952, стр. 350. См., однако, стр. V указ. соч.

² L. B l o o m f i e l d, Preface. Linguistic Structures of Native America, «Viking Fund Publications in Anthropology», 6, 1946.

³ L. B l o o m f i e l d, Obituary: F. Boas, «Language», 19, 2, 1943, стр. 198.

⁴ Там же, стр. 198. Ср.: О. С. А х м а н о в а, Основные направления лингвистического структурализма, М., 1955, стр. 4.

⁵ B. B l o c h, Leonard Bloomfield, «Language», 25, 1949, стр. 92.

⁶ G. S. L a n e, Changes of Emphasis in Linguistics with Particular Reference to Paul and Bloomfield, «Studies in Philology», 4, 1945; C. F. and F. M. V o e g e l i n, On the History of Structuralising in 20-th Century America, «Anthropological Linguistics», 5, 1, 1965; R. H a l l, Obituary: L. Bloomfield, «Lingua», 5, 1, 1963; G. T r a g e r, The Language of America, «American Anthropologist», 57, 6, 1965.

лингвистика» прилагается к описательной лингвистике как этапу в развитии языкознания и к направлению лингвистического структурализма.

Если в вопросе начального этапа генезиса американского дескриптивизма существует по крайней мере две точки зрения, то в отношении причины его возникновения зарубежные авторы единодушны в том, что таковой является прежде всего специфичность (экзотичность) его объекта (языка аборигенов Америки).

Эта версия, которую можно было бы назвать «онтологизированной версией» возникновения американского дескриптивизма, опирается на позитивистский принцип беспредпосылочности научного познания, на пассивность субъекта познания. Г. Хойер, в частности, подчеркивает, что характер и направленность лингвистической теории и методов Боаса, Сепира и Блумфильда во многом обусловлены работой указанных ученых именно в этой области ⁷.

Отрицать роль объекта в генезисе научного знания, в характере и направленности теории вообще и лингвистической теории, в частности, разумееется, несостоятельно, ибо коль скоро нет объекта, то нет и научного знания о нем. И вместе с тем вся история человеческого познания показывает неправомерность позиции, связывающей таковое лишь с объектом вне и помимо субъекта, ибо именно активность субъекта определяет вычленение в объекте тех или иных сторон в процессе познания. И, может быть, ярчайшим примером этого явилось торжество гелиоцентрической системы Коперника как плода активного погружения субъекта в объект над системой Птолемея, где субъект фактически запечатлевает воздействие объекта, строя теорию, полностью стремящуюся к внешнему оправданию.

«Онтологизированная версия» возникновения американского дескриптивизма с порога отбрасывает релевантность мировоззренческой проблематики в формировании научного направления и является отражением специфично американской антипатии к «метафизике», чисто американского нигилизма в отношении роли философии, мировоззрения для судеб научного познания. Отнюдь не случайно в этой связи утверждение Блумфильда о том, что философия является лишь помехой в работе ученого ⁸, а также призывы М. Эмено оставить философию философам ⁹.

Фетишизация в американском дескриптивизме гносеологической связки «объект → субъект» резко контрастирует с европейским (копенгагенским) структурализмом, где в явном виде проводится мысль Соссюра, суть которой заключается в том, что взгляд ученого творит объект, т. е. здесь действует гносеологическая связка «объект ← субъект» ¹⁰.

Г. Хойер не учитывает, что взгляд на объект, а отсюда и специфичные способы его воспроизведения в знании не могут выводиться из самого объекта. При одном и том же объекте онтологическая структура научного знания, т. е. тип вещей, существование которых признается конкретной научной теорией, в различные эпохи развития науки различны. Он упускает из виду также то, что становление научного направления — это длительный и сложный процесс, существенное влияние на развитие ко-

⁷ Г. Хойер, Антропологическая лингвистика, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 288.

⁸ Л. Блумфильд, Язык, М., 1968, стр. 33.

⁹ М. В. Емменау, Language and Non-Linguistic Patterns, «Language», 26, 2, 1950.

¹⁰ «Объект вовсе не определяет точки зрения; напротив, можно сказать, что точка зрения создает самый объект» (Ф. де Соссюр, Труды по языкознанию, М., 1977, стр. 46). Ср.: «Теория не включает постулата о существовании» (Л. Ельмслев, Прологомены к теории языка, «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 274, 275).

торого оказывают философские, мировоззренческие основания, непосредственно из объекта не выводимые.

Генезис американского дескриптивизма ни в онтологическом, ни в эпистемологическом плане не исследован ни в зарубежной, ни в отечественной литературе. В лучшем случае здесь приходится довольствоваться фрагментарными описаниями, связанными с раскрытием специфичности этого направления в блумфилдианский и постблумфилдианский периоды. Что касается предшествующих периодов, то хотя и имеются работы, посвященные изучению аборигенных языков Америки¹¹, однако в них полностью обходятся вопросы о роли философских и мировоззренческих оснований в становлении этого направления. В предлагаемой статье будет сделана попытка восполнить указанный пробел.

Американский дескриптивизм в своем становлении и развитии прошел ряд последовательных стадий, отличающихся своими ведущими проблемами, общелингвистическими и общенаучными установками. Соответственно общим закономерностям развития науки его более ранние стадии характеризуются постепенным накоплением новых фактов и выводов — более поздние под давлением этих фактов и выводов либо создают теории *ad hoc*, либо ориентируются на пересмотр устоявшейся научной парадигмы. Кардинальным вопросом анализа истории развития научного направления является проблема периодизации, которая не может быть решена без обращения к конкретным данным развития науки, в данном случае американского дескриптивизма. Чрезвычайно важной методологической проблемой периодизации истории американского дескриптивизма представляется вопрос о том, начинается ли история дескриптивной лингвистики лишь с того момента, когда она четко оформляется как система теоретических воззрений, недвусмысленно определяющая свой объект, представленная четко осознанной системой эвристических принципов и т. д. По Джуну, именно последнее утверждение представляется бесспорным. Однако такая позиция несостоятельна, ибо исключение из истории дескриптивной лингвистики стадий, конституирующих ее научную инфраструктуру, с порога отбрасывает самую возможность объяснения специфики ее ставшего состояния и утверждает индетерминистскую концепцию ее возникновения.

Развитие американского дескриптивизма в целом есть процесс, сущность которого заключается в возникновении и разрешении диалектического противоречия между существующими и возникающими в его лоне концепциями, между существующими теоретическими воззрениями и не вписывающимися в них фактами языковой реальности, к которым они прилагаются. Каждому периоду в истории американского дескриптивизма можно поставить в соответствие присущую именно ему общую схему объяснения (монистическую или плюралистическую). В этой последней можно выделить доминирующее для данного периода представление об онтологической картине объекта, которое санкционирует использование определенной системы эвристических процедур, призванных выявить в реальном объекте качества и признаки, коррелятивные указанному представлению.

Поскольку нами постулируется генетическая зависимость современной дескриптивной лингвистики от дескриптивной лингвистики языков аборигенной Америки, то следует отметить, что попытки периодизации

¹¹ F. E d g e r t o n, Notes on Early American Work in Linguistics, «Proceedings of American Philosophical Society», 87, 1943; P. E. G o d d a r d, The Present Condition of our Knowledge of North American Languages, «American Anthropologist», 16, 1914; H. C. W o l f a r t, Notes on the Early History of American Indian Linguistics, «Folia Linguistica», 1, 3/4, 1967; H. H o i j e r, History of American Indian Linguistics, «Current Trends in Linguistics», 10, The Hague — Paris, 1973.

этой последней предпринимались. Таковы периодизации, предложенные С. Хейвеном, П. Годдаром, К. Уисслером, П. Митрой¹². Все они грешат, однако, тем, что не отделяют периодизации истории лингвистики от истории антропологии, страдают прагматичностью, в том смысле, что опираются подчас на принцип удобства. Наконец, наиболее существенным представляется то, что все предложенные периодизации, концентрируя свое внимание на развитии и становлении дескриптивной лингвистики аборигенной Америки, не находят места для генетически связанной с нею американской дескриптивной лингвистики как направления лингвистического структурализма. Принимая во внимание историческую перспективу и ставшее состояние объекта (современная дескриптивная лингвистика), представляется правомерным констатировать в истории американского дескриптивизма наличие следующих четырех периодов: 1) период донаучного прееструктурального дескриптивизма: 1500—1800 (ДЛ-I); 2) период научного прееструктурального дескриптивизма: 1880—1900 (ДЛ-II); 3) период научного протоструктурального дескриптивизма: 1900—1925 (ДЛ-III); 4) период научного структурального дескриптивизма: 1925—(ДЛ-IV).

ДЛ-I — дескриптивная лингвистика, не осознавшая себя как таковая ни в методе воспроизведения объекта в знании, ни в исходных общеметодологических основаниях. Хотя необычность (экзотичность) объекта лингвистического познания и фиксируется отдельными представителями данного периода, однако это еще не приводит к созданию теории объекта, к разработке адекватных методов его познания. Данный период — период первоначального накопления фактов, становления инфраструктуры науки, предпосылок к созданию науки об описании аборигенных языков Америки. Именно в этом смысле здесь употреблено определение «донаучный».

ДЛ-II — дескриптивная лингвистика добоасовского периода, характеризуемая, с одной стороны, пониманием необходимости приведения эвристического и понятийного аппарата в соответствие со спецификой объекта познания, а с другой — тем, что это понимание не имеет своим следствием эксплицитно выраженной нормативной метатеоретической установки, как это имеет место в деятельности Боаса и его школы.

ДЛ-III — дескриптивная лингвистика Боаса и его школы, упорядоченная в своих исходных принципах приближения к объекту и строящая онтологическую картину объекта с оглядкой на функционализм как один из методологических принципов системного анализа.

Что касается ДЛ-IV, то это — дескриптивная лингвистика, конституируемая теоретической и практической деятельностью Блумфилда и его последователей (Йельская школа). Этот период представлен эксплицитно выраженными общеметодологическими установками, четкой структуралистской ориентацией. В этот период происходит делегализация дескриптивной лингвистики, надделение ее статусом общелингвистичности в качестве исходного этапа построения лингвистического знания вообще.

Период донаучного прееструктурального дескриптивизма¹³, консти-

¹² S. F. H a v e n, *Archaeology of the United States or Sketches, Historical and Bibliographical, of the Progress of Information and Opinion Respecting Vestiges of Antiquity in the United States*, «Smithsonian Contribution to Knowledge», Washington, 1856, стр. 55; P. E. G o d d a r d, *The Present Condition of our Knowledge of North American Languages*, «American Anthropologist», New Series, 16, 1914, стр. 559—560; C. W i s s l e r, *The American Indians and the American Philosophical Society*, «Proceedings of American Philosophical Society», 86, 1942, стр. 190; P. M i t r a, *A History of American Anthropology*, Calcutta, 1933, стр. 53.

¹³ Ч. Хоккет именует этот дескриптивизм «практическим дескриптивизмом» (см.: Ch. F. H o c k e t t, *The State of the Art*, The Hague — Paris, 1968, стр. 9).

тулирующий ДЛ-1, в своей философской ориентации связывается с идеями картезианской логики, нашедшей свое лингвистическое воплощение в философской грамматике А. Арно и К. Лансло. Он характеризуется отсутствием научно регламентированных лингвистических методов приближения к языковой реальности неиндоевропейского типа, научных методов построения лингвистического знания об объекте, ни конфигуративно (внешне), ни структурно (внутренне) не адекватного латинизированной модели описания. Единственным понятийно-инструментальным средством построения лингвистического знания об аборигенных языках в этот период является латинизированная понятийная модель (матрица) с ее категориями падежа, рода, числа, с категориями наклонения, частей речи, членов предложения и т. д. Можно поэтому констатировать, что ДЛ-1 — это дескриптивная лингвистика, строящая знание об объекте на основе приближения к нему и з в н е, посредством приложения латинской понятийной модели (матрицы). Это период унитарной, монистической схемы описания объекта, фиксировавшей внимание прежде всего на существующих (или кажущихся) моментах единства аборигенных языков Америки. При этом все многообразие этих языков от высокоинкорпорированных до аналитических (например, язык отоми) перекодировалось на язык греко-латинской грамматики. Наиболее выразительно данная методика представлена, например, в грамматике языка тараска де Кихаса ¹⁴.

Отметим, что уже при первом столкновении с экзотичной языковой реальностью аборигенной Америки наиболее талантливые в лингвистическом отношении миссионеры осознали если не отсутствие возможности, то во всяком случае трудность описания индейских языков в терминах латинской понятийной модели (матрицы). Так, составитель первой грамматики языка массачусетс Д. Элиот замечает: «Я хотел бы свести этот язык к системе правил (*reduce this language into rule*), что, по-моему, возможно. Однако здесь обнаруживаются препятствия и аномалии, полные трудностей» ¹⁵. «Во всех этих языках, — подчеркивает К. Мазер, — нельзя найти ни малейшего родства со знакомой нам европейской речью» ¹⁶. Отдавая должное Элиоту, следует сказать, что в его грамматике в наименьшей мере проявилось насилие латинской модели, хотя попытки Элиота найти в языке массачусетс нечто подобное супину и герундиву весьма показательны ¹⁷. В целом грамматика Элиота зиждется на эмпирических наблюдениях, а не строится с оглядкой на греко-латинскую модель. Именно в этом смысле она является первым образцом «беспредпосылочного» описания. Учитывая, что последнее является одним из общеметодологических постулатов американской школы «научной лингвистики», можно согласиться с К. Майнером, что грамматика Элиота была первым научным (в специфично американском понимании этого слова) описанием экзотического языка ¹⁸. У Элиота мы сталкиваемся с самым ранним случаем использования морфофонемной транскрипции, а также неявно выраженной идеей уровневой организации описания. К. Майнер отсюда делает

¹⁴ D. B a s a l e n q u e, Grammar, published by Father Nickolas de Quixas, Mexico, 1714.

¹⁵ Цит по кн.: J. C. P i l l i n g, Bibliography of the Algonquian Languages, Washington, 1891, стр. 127.

¹⁶ C. M a t h e r, Life of J. Eliot, Boston, 1961, стр. 85.

¹⁷ J. E l i o t, A Grammar of Massachusetts Indian Language, Boston, 1882, стр. 21. По замечанию Д. Трамбулла, «Элиот добился бы большего успеха, если бы полностью забыл свой греческий и латынь» (J. H. T r u m b u l l, On the Best Method of Studying the North American Languages, «Transactions of the American Philological Association», Hartford, 1874, стр. 56).

¹⁸ K. L. M i n e r, John Eliot of Massachusetts and the Beginning of American Linguistics, «Historiographia Linguistica», 1974, 1, 2, стр. 170.

вывод, что Элиот является истинным основателем американской лингвистики в широком смысле этого слова¹⁹. Нам этот вывод представляется несколько поспешным. Явно пренебрегая различиями между семантическими и прагматическими аспектами лингвистического описания, К. Майнер делает субъективистский вывод о том, что Элиот является основателем современного американского структурализма, что, разумеется, неверно.

Сопротивление живой языковой действительности аборигенной Америки жестким рамкам латинской модели интерпретации оборачивалось на практике описаниями *ad hoc*, распатывающими основания упомянутой модели, все более удаляя ее от оригинала. В недрах монистической схемы описания аборигенной языковой действительности, характеризующей подход к построению лингвистического знания в ДЛ-I, созрели условия перехода к плюралистической схеме, к интерналистской лингвистике, фиксировавшей свое внимание на раскрытии в н у т р е н н е й качественной специфичности языков аборигенной Америки.

Развитие лингвистической мысли в Европе в начале XIX в. проходит под знаком становления и укрепления компаративистики. Лингвистические штудии, связанные с различными проблемами аборигенных языков Америки, были весьма в большой мере стимулированы известной работой Ф. Шлегеля²⁰. Лингвистическая мысль в США в конце XVIII в. вплотную приблизилась к пониманию важности учета структурных (грамматических) признаков языка для установления генетического родства аборигенных языков. В частности, в работе Д. Эдвардса, посвященной языку могижан (1787)²¹, впервые наблюдается попытка подойти к установлению генетических связей между индейскими языками через идентификацию их грамматических характеристик.

Для развития дескриптивной лингвистики этого периода характерно постепенное укрепление идеи необходимости отказа от дедуктивного подхода при описании аборигенных языков, отказа от латинской модели построения лингвистического знания, тенденция к переходу на позиции эмпирического, индуктивного, интерналистского подхода к объекту.

Существенную роль в формировании предпосылок подобного перехода сыграла лингвистическая деятельность, философские и общеметодологические воззрения таких крупнейших для своего времени американистов, как П. С. Дю Понсо, А. Галлатин, Д. Трамбулл, Д. Пауэлл, а также идеи В. Гумбольдта, чрезвычайно популярные в то время в США.

П. С. Дю Понсо, «отец американской филологии», в своих воззрениях на пути развития американской лингвистики отталкивался, с одной стороны, от гипотезы П. Мопертюи, который еще в 1756 г. подчеркнул необходимость изучения «примитивных» языков, ибо «возможно последние в своем формировании опираются на новые планы идей (*plans d'idées*)»²², а с другой — на мысли В. Гумбольдта о принципиальном отличии языков аборигенной Америки от уже известных индоевропейские языковых организмов²³. В лингвистической деятельности Дю Понсо эти идеи про-

¹⁹ Там же, стр. 177.

²⁰ F. Schlegel, *Über die Sprache und Weisheit der Indier*, Heidelberg, 1808.

²¹ J. Edwards, *Observations on the Language of the Muhhekaneew Indians; In which the Extent of that Language in North-America is Shewn; its Genius is Grammatically Traced: Some of its Peculiarities, and some Instances of Analogy Between that and Hebrew are Pointed out*, New Haven, 1788.

²² P. L. Maupertuis *Oeuvres*. Nouvelle édition, 1, Lyon, 1756, стр. 260. Ср.: A. R. Turgot, *Oeuvres*, 2, Paris, 1808, стр. 105. Нетрудно видеть, что Мопертюи высказывает идею, позднее оформившуюся в гипотезу Сепира — Уорфа.

²³ P. S. Du Ponceau, *Mémoire sur le système grammatical des langages de quelques nations indiennes de L'Amérique du Nord*, Paris, 1838, стр. 1 (далее стр. указываются в тексте); W. von Humboldt, *Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung*, III, Werke, стр. 249.

явились в тенденции к автономизации американской лингвистики, в стремлении к устранению деформирующего влияния латинской модели построения лингвистического знания. «Невозможно, — писал он, — иметь одну грамматическую систему применительно ко всем языкам на земле» (стр. 53), которые «подобно растениям и животным имеют каждый свою организацию и способ выражения человеческого духа» (стр. 2). «Грамматика, унаследованная нами от греков и римлян, основана на элементах небольшого количества языков, которые и рассматриваются как модель для всех остальных» (стр. 1). Дю Понсо подчеркивает, что грамматика Арно и Лансло утратила свое научное значение, что истинно научной является сравнительная грамматика (стр. 1, 53).

Критикуя как ненаучные попытки установления родства языков путем сравнения изолированных слов, Дю Понсо подчеркивает необходимость исходить из структуры языка, ибо «все языки, несмотря на контакты, имеют тенденцию к сохранению своей структуры и грамматических форм» (разрядка наша. — В. Б.; стр. 20, 21).

Весьма важным для дальнейшего развития и становления ДЛ-II было замечание Дю Понсо о необходимости приведения в соответствие алфавитов аборигенных языков Америки. Практика миссионеров, при которой для описания языков индейцев использовался соответствующий родной язык миссионера, по мнению Дю Понсо, является неприемлемой (стр. 47, 48, 49). Дю Понсо выдвигает идею создания научно санкционированного метаязыка лингвистического описания. Он четко понимал, что сопоставление и сравнение в лингвистике должно учитывать как качественные, так и количественные аспекты языка. Он считает невозможным научный подход, коль скоро при сопоставлении лексики различных языков отсутствует эталонный словарь (стр. 77, 78). Свое практическое преломление последняя мысль Дю Понсо получила лишь спустя полстолетия в деятельности «Бюро американской этнологии», возглавляемом Д. Пауэллом. Чрезвычайно прогрессивными были мысли Дю Понсо о равенстве языков, о неправомерности шовинистических течений в лингвистической науке (стр. 152). Предвосхищая высказанную позднее в категорической форме точку зрения Блумфилда, Дю Понсо считал лингвистику строго эмпирической наукой, для которой справедливы лишь обобщения индуктивного характера. «Надо собирать факты и умножать наблюдения прежде чем делать попытку к теоретическим умозаключениям, так как ненаблюдаемые факты коварны и способны разрушить отлично сформулированные теории»²⁴. Эти мысли Дю Понсо в наиболее отчетливом виде были сформулированы «отцом» американской этнологии А. Галлатином, который выдвигает требование: «Описывать язык таким, каков он есть»²⁵. При несомненной прогрессивности данного тезиса для развития и оформления ДЛ-II, он в условиях позитивистской философской ориентации стимулировал тенденции к концентрации усилий в области сугубо эмпирических исследований, отказу от теоретических обобщений, создавал предпосылки для прагматических устремлений. Тем самым уже в ДЛ-II наблюдается тенденция к эмпиризму и иррационализму. В общеметодологическом плане тезис Галлатина несостоятелен. Напомним, что В. И. Ленин, приводя слова Гегеля о том, «что познание, желающее брать

²⁴ P. S. Du Ponceau, A Correspondence between John Heckewelder and Peter S. Du Ponceau Respecting the Languages of American Indians, «Transactions of the American Philosophical Society», 1, Philadelphia, 1819, стр. 351.

²⁵ A. Gallatin, Notes on the Semi-civilized Nations of Mexico, Yucatan and Central America, «Transactions of the American Ethnological Society», 1, New York, 1845, стр. 39.

вещи так, как они *есть*, впадает при этом в противоречие с самим собой», — замечает: «Очень верно!»²⁶.

Фундаментальной для формирования аппарата ДЛ-II была деятельность одного из наиболее эрудированных американистов своего времени Д. Трамбулла. Его работа «О наилучшем методе изучения языков Северной Америки»²⁷ является, по существу, если не считать «Инструкций» Д. Гиббса²⁸, одной из первых работ по проблеме лингвистического метода ДЛ-II. Как отмечает М. Хаас, этой работой Трамбулла открывается новая эра в американской лингвистике²⁹.

Неизменной целью исследователя любого аборигенного языка, по мнению Трамбулла, является «исследование синтеза анализа» (разрядка наша. — В. Б.). Все то, что индеец так „сагглютинировал“ или „сынкорпорировал“, должно быть тщательно разъято на части, и последние как элементы структуры должны быть рассмотрены отдельно»³⁰.

Работа Пауэлла, синтезировавшая общеметодологические основы ДЛ-II, сформулированные Дю Понсо, Галлатином, Гиббсом, Трамбуллом, фактически знаменует собою конечный этап разработки методологического аспекта ДЛ-II. Здесь, наряду с изложенными выше исходными положениями Трамбулла, чрезвычайно скрупулезно представлена методическая сторона, инструментарий дескриптивного построения лингвистического знания об аборигенных языках (единый алфавит, принципы членения высказывания, вопрос о частях речи и т. д.). Пауэлл специально подчеркивает неприемлемость парадигматической схемы при описании времен аборигенного глагола. Применительно к индейским языкам, говорит Пауэлл, «трудно построить систему времен в парадигматической форме. Исследователь обнаруживает здесь очень много временных частичек инкорпорированных глаголом»³¹. Непарадигматическая модель описания получает здесь впервые официальный статус. Важно подчеркнуть, что на этом этапе развития дескриптивной лингвистики все четче проявляется тенденция к ориентации лингвистического знания на методологию так называемых «позитивных наук». Правда, эта тенденция как у Пауэлла, так позднее и у Боаса еще не выходит за пределы претензий к расплывчатости и неточности метаязыкового аспекта лингвистической науки, однако само ее проявление весьма симптоматично.

В противоположность утвердившемуся в дальнейшем развитии дескриптивной лингвистики мнению Л. Блумфилда об иррелевантности и даже вредности философии для лингвистики и лингвистов³², представившем не что иное, как вариант лозунга «наука — сама себе философия», Пауэлл подчеркивает существенность философии для языковедческой науки. «Развивающееся познание, — говорит он, — обогащает философию, а обогащенная таким образом философия расширяет знание», «весь прогресс науки зависит от взаимоотношения философии и познания»³³. Справедливость этого тезиса несомненно бесспорна. Развивая его,

²⁶ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 216.

²⁷ J. H. Trumbull, указ. соч., стр. 55—79.

²⁸ G. Gibbs, Instruction for Research Relative to the Ethnology of America, Washington, 1863, стр. 13.

²⁹ M. Haas, Grammar or Lexicon? The American Indian Side of the Question from Duponceau to Powell, «International Journal of American Linguistics», 35, 1969, стр. 247.

³⁰ Т. Н. Трумбулл, указ. соч., стр. 59, 60, 61.

³¹ J. W. Powell, Introduction to the Study of Indian Languages, Washington, 1880, стр. 53.

³² Л. Блумфилд, Язык, стр. 33.

³³ J. W. Powell, On Limitations to the Use of Some Anthropologic Data, «First Annual Report of the Bureau of Ethnology», Washington, 1881, стр. 77.

Пауэлл приходит к выводу, что лингвистическая наука для своего прогрессивного развития нуждается в «научной», «объективной» философии. «Филология, — говорит он, — в весьма большой степени находится в руках метафизиков..., и если филология претендует на то, чтобы быть наукой, она должна опираться на объективную (разрядка наша. — В. В.) философию»³⁴.

Что же представляет собою рекомендуемая лингвистике «объективная» философия Пауэлла? При ближайшем рассмотрении она оказывается не чем иным, как методологией естественных так называемых «позитивных» наук и, в частности, методологией биологии³⁵. Именно эти науки утверждаются в качестве эталона для лингвистики, коль скоро она претендует на статус науки.

Утверждая подобную ориентацию лингвистики на модель, сложившуюся в науках о естественных объектах, Пауэлл, с одной стороны, предвосхищает методологический императив современного структурализма, сущность которого рельефно очерчена в словах К. Леви-Стросса: «Мы не можем поместить точные и естественные науки по одну сторону, а социальные и гуманитарные науки по другую. Научен по своему духу только метод точных и естественных наук, на который должны стремиться опираться гуманитарные науки, когда они изучают человека как часть этого мира»³⁶. Нетрудно видеть, что этот тезис содержит откровенно редукционистский призыв к сведению высших форм движения материи к низшим. Одновременно представляется мало состоятельной претензия науки на объективность, коль скоро во имя высоких целей точности и адекватности она игнорирует факт объективности существования феномена субъективности, обусловленного существованием человека. С другой стороны, позиция Пауэлла явно перекликается с общеметодологическими установками блумфилдианского периода дескриптивной лингвистики, предвосхищает их³⁷.

Неправомерность подобного подхода, стремящегося к отождествлению методологии естественных и общественных наук, четко осознается философами-марксистами, признающими единство научного знания наряду со специфичностью того, что представляют собою объекты наук о природе и наук о человеке³⁸. Признают это и наиболее трезво мыслящие сторонники так называемой гуманистической психологии. В частности, А. Маслоу подчеркивает, что модель науки, заимствованная из наук о вещах, объектах, животных, процессах оказывается ограниченной и неадекватной, когда мы пытаемся понять человека³⁹.

Последовательно проводя мысль о том, что лингвистика как наука состоятельна лишь при условии ее методологической переориентации, Пауэлл указывает, что «наука имеет дело с реальностью», единственными репрезентантами которой являются «тела и их свойства»⁴⁰. Тем самым Пауэлл осуществляет позитивистскую редукцию отождествления реального с материальным, что по сути является общеметодологической установ-

³⁴ Там же, стр. 77, 78.

³⁵ J. W. P o w e l l, Darwin's Contribution to Philosophy, «Proceedings of Biological Society of Washington», 1, 1882, стр. 66.

³⁶ Cl. L e v i - S t r a u s s, Anthropologie structurale, Paris, 1958, стр. 39.

³⁷ Ср.: «Поступки людей, согласно материалистической точке зрения, являются частью причинно-следственных отношений, ничем (разрядка наша. — В. В.) не отличающихся от тех, которые мы обнаруживаем, скажем, при изучении физики или химии» (Л. Б л у м ф и л д, Язык, стр. 47).

³⁸ См., например: Л. Ф. И л ь и ч е в, О методологической функции исторического материализма, ВФ, 1977, 6, стр. 25; Б. С. У к р а и н ц е в, Марксистско-ленинская философия и методы общественных наук, ВФ, 1977, 7, стр. 87.

³⁹ A. M a s l o w, The Psychology of Science, New York, 1966, стр. XIII.

⁴⁰ J. W. P o w e l l, Truth and Error, Chicago, 1898, стр. 5—6.

кой антименталистского толка. В своем безусловном приложении к лингвистике (да и не только к лингвистике, а к человеческой деятельности, самому человеческому феномену) этот постулат создает предпосылки к утверждению фиктивности значения, ибо последнее не есть ни тело, ни свойство тела, а, следовательно, лежит за пределами науки. Правда, Пауэлл, равно как и позднее Блумфилд, отнюдь не отрицает реальности значения. «В каждом языке, — замечает он, — слова имеют много значений», «слова являются знаками идей»⁴¹. Однако, равно как и Блумфилд, Пауэлл становится непоследовательным, когда от общих рассуждений переходит к вопросу о том, что должно мыслиться объективным в лингвистике. «Слово, — говорит Пауэлл, — это последовательность звуков (разрядка наша. — В. Б.), издаваемых в установленном порядке... Привычная последовательность звуков (разрядка наша. — В. Б.) конституирует слово»⁴². «Фигурально говоря, слово — это форма...»⁴³.

Разумеется, было бы неправомерно утверждать, что Пауэлл требует изгнания значения из науки о языке. Не требовал этого, как известно, и Блумфилд. Однако достаточно очевидно, что его общеметодологические установки содержат предпосылки к утверждению иррелевантности значения для науки о языке.

Определяя слово в качестве последовательности звуков, Пауэлл мыслит грамматику как «науку об упорядочении (разрядка наша. — В. Б.) слов в предложении»⁴⁴. Такое определение грамматики ориентирует ее на изучение дислокационных характеристик элементов, конституирующих предложение, и в имплицитном виде содержит идею дистрибуции. Напомним, что Блумфилд также мыслил задачу грамматики аналогичным образом, указывая, что таковая есть не что иное, как «осмысленное упорядочение форм в языке»⁴⁵.

Было бы неправильно видеть в общеметодологических и философских установках, как и в научной программе Йельской школы, непосредственное влияние соответствующих воззрений Пауэлла. Но неверным было бы и игнорирование того обстоятельства, что философские, общеметодологические, общелингвистические воззрения Пауэлла вносили свою лепту в создание специфично американского стиля мышления вообще и лингвистического мышления в частности, укрепляли иррационалистические, сциентистские тенденции в науке, фетишизировали гносеологическую связь «объект → субъект».

Третий период развития американской дескриптивной лингвистики (ДЛ-III) конституируется лингвистической деятельностью Франца Боаса и его школы, системой общеметодологических и философских оснований, обуславливающих специфичность онтологической структуры лингвистической концепции Боаса. Утверждается идея интерналистской плюралистической лингвистики, ориентированной на феноменалистическую кон-

⁴¹ J. W. P o w e l l, Philology or the Science of Activity Designed for Expressior, «American Anthropologist», New Series, 2, 4, 1900, стр. 620, 622.

⁴² Там же, стр. 614. Ср. одно из определенных морфемы, по Блумфилду: «Известные комбинации очень ограниченного числа типов звуков, образуемых человеческим речевым аппаратом...» (L. B l o o m f i e l d, Why a Linguistic Society?, «Language», 1, 1925). Ср. также: «...лингвист должен показать, что говорящий не обладает идеями, что имеются лишь звуки (noise)...» (L. B l o o m f i e l d, Language or Ideas?, «Language», 12, 2, 1936, стр. 93).

⁴³ Там же, с р. 625. Ср.: «Минимальная свободная форма является словом» (L. B l o o m f i e l d, A Set of Postulates for the Science of Language, «Language», 2, 1926, стр. 160).

⁴⁴ J. W. P o w e l l, Philology or the Science of Activity Designed for Expressions, «American Anthropologist», New Series, 2, 4, 1900, стр. 614.

⁴⁵ L. B l o o m f i e l d, Language, New York, 1933, стр. 163.

статацию многообразия аборигенной языковой реальности. ДЛ-III — это дескриптивная лингвистика узлолокального диапазона, не претендующая на общезыковедческий статус.

Как подчеркивает А. Кребер, научную позицию Боаса можно определить в основном как «позицию физикалиста, хотя и понимающего специфику культурного и человеческого материала»⁴⁶. Тем самым наметившееся у Пауэлла смещение акцентов в построении лингвистического знания в направлении методологии «позитивных наук» получило свое дальнейшее развитие в идейных установках боасовского периода развития дескриптивной лингвистики. Укреплялась тенденция специфично американской схематизации лингвистической реальности, в основе которой лежало стремление мыслить язык как своего рода естественный объект, а лингвистику как естественную науку, игнорирующую интеллектуальную субстанцию языка как менталистскую фикцию.

Общеметодологические и философские воззрения Боаса, преломившиеся в лингвистической деятельности его школы, несут на себе четкую печать махизма в том смысле, что полностью приемлют его гносеологию и ориентацию на описательную, а не на объяснительную науку. Единственной приемлемой концепцией науки Боас мыслил науку, начальным и конечным объектом которой является факт. «В науке, — говорил Боас, — есть два типа ученых. Одни стараются подогнуть факты под общие концепции. Другие находят, что достаточно одних фактов (разрядка наша. — В. Б.). Я принадлежу к числу последних»⁴⁷. Метафизичность приведенной дильюнкции очевидна.

Боасовская концепция лингвистики — это концепция, фетишизирующая индукцию как инструмент построения лингвистического знания, ибо дедукция открывает, по Боасу, двери «необузданному воображению и диким догадкам»⁴⁸. Этот гносеологический принцип, как известно, был безоговорочно принят приверженцами Йельской школы как фундаментальный в построении «истинно» научного лингвистического знания⁴⁹.

Другим фундаментальным принципом, которому придавалось гносеологическое значение, т. е. связывалась идея объективности лингвистического знания в боасовской лингвистике, оказалась идея непреконцептуальности (беспредпосылочности), а, по сути, идея исключения субъекта из процесса построения лингвистического знания. Фактически это был один из вариантов позитивистского принципа «нуль гипотезы», отстаивавшийся еще Пауэллом. «Боас был, — замечает Д. Хаймз, — великим защитником принципа приближения к языку эмпирически, без (разрядка наша. — В. Б.) минимально необходимой прекоцепции»⁵⁰.

Двучленная связка «объект → субъект», присущая позитивистскому мышлению вообще, утверждается здесь как необходимое и достаточное условие построения строго объективного, собственно научного знания. В дальнейшем развитии дескриптивной лингвистики (на стадии ДЛ-IV) эта связка проявляется в гипертрофии роли информанта, в утверждении

⁴⁶ A. Kroeber, *History and Science in Anthropology*, «American Anthropologist», 37, 4, 1935, стр. 540; W. Goldschmidt, Introduction, «Anthropology of Franz Boas», *Memoir* N 89, v. 61, № 5, pt. II, 1959, стр. 2.

⁴⁷ Цит. по: C. Kluckhohn, O. Pruffer, *Influences During the Formative Years*, в кн.: «Anthropology of Franz Boas», стр. 22.

⁴⁸ Цит. по кн.: M. T. Schwartz, *History and Science in Anthropology*, «Philosophy of Science», XXV, 1, 1958, стр. 59.

⁴⁹ Ср.: «Единственными плодотворными обобщениями в языкознании являются обобщения индуктивные» (Л. Блумфилд, *Язык*, стр. 34).

⁵⁰ H. Hymes, *Notes Toward a History of Linguistic Anthropology*, «Anthropological Linguistics», 5, 1, 1963, стр. 79—80.

возмущающего влияния диахронического знания на синхронное описание⁵¹, в имперсональности⁵² и требовании неаксеологических констатаций по отношению к объекту языкознания⁵³.

Хорошо известно, что Боас одним из первых осознал нетождественность лингвистических описаний извне и изнутри, нетождественность интерналистского и экстерналистского подходов. «Следует избегать, — подчеркивает он, — описания извне. Следует напротив стремиться обнаружить то, что внутренне присуще языку»⁵⁴. Непонимание диалектики внешнего и внутреннего приводит Боаса к метафизической абсолютизации внутреннего подхода к лингвистическим явлениям. Лишенная, однако, метафизической абсолютизации, мысль Боаса о зависимости содержательной стороны информации о лингвистическом объекте от дислокации наблюдателя совершенно справедлива.

Любое структуральное лингвистическое течение исходит, как известно, в своей общей и частной методологии, в своих исследовательских процедурах из презумпции структурности языка. Однако если для европейского структурализма и, в частности, копенгагенского, исходными для формирования понятия структуры оказались сосюрровские положения о том, что в языке, изучаемом «в себе и для себя», нет ничего, кроме различий, что язык есть чистая, не зависящая от практических реализаций форма, то для американского структурализма фундаментальным в этом смысле был принцип функционализма, последовательно проводимый Боасом. Познание этнопсихолингвистичных феноменов в соответствии с данным принципом мыслится как правомерное при условии, что оно исходит из внутренней целостности и функциональной взаимозависимости, конституирующих их элементов. Функциональный подход сосредоточивает свое внимание на выяснении специфики связи между элементом и целым. Нетрудно видеть, что принцип функционализма является методологическим обоснованием и дистрибутивной методики. Вместе с тем подчеркивание того, что значимость элементов определяется их местом в системе, несомненно таило в себе опасность релятивистской трактовки последних. Это четко проявилось в ДЛ-IV, т. е. в блумфилдианский период развития дескриптивной лингвистики.

Изложенное приводит к выводу, что идея дескриптивной лингвистики как собственно американской разновидности структурализма к моменту расцвета деятельности Блумфилда буквально витала в воздухе, санкционировалась всем стилем американского научного мышления. Для этого необходимо было прежде всего преодолеть узколокальный статус ДЛ-III, т. е. распространить ее методологические положения на внеаборигенную языковую действительность, наделить ее статусом общелингвистичности.

⁵¹ См.: Л. Б л у м ф и л д, Язык, стр. 33.

⁵² «Именно Блумфилд учил нас необходимости говорить о языке... имперсонально...» (В. В l o s h, Leonard Bloomfield, «Language», 25, 1949, стр. 92, 93). См. также: R. H a l l, Jr., An Essay on Language, Philadelphia, 1968, стр. 5—6, 16. Ср.: «В науках о человеке ученый должен освободиться от всех предрассудков и прекоцепций своей личности, своей социальной группы и даже всего человечества...» [L. B l o o m f i e l d, (реп. на кн.:) O. Jespersen, Mankind, Nation and Individual from a Linguistic Point of View, «American Journal of Philology», 43, 1922, стр. 370].

⁵³ «Разграничение „правильного“ и „неправильного“, „грамматического“ и „неграмматического“, „неправильно образованного“ и „правильно образованного“... не только бесполезно, но и вредно для научного изучения лингвистических явлений» (R. H a l l, Jr. указ. соч., стр. 8, 33).

⁵⁴ Цит. по: F. L o u n s b u r y, Field Methods and Techniques, в кн.: «Anthropology Today», Chicago, 1953, стр. 408.

Эту задачу выполнил, как известно, Блумфилд, под эгидой идей которого развивались лингвистические концепции Йельской школы⁵⁵.

ДЛ-IV в самом общем виде является второй после четырехэлементного анализа Н. Марра попыткой ввести в общее языкознание модель построения лингвистического знания на основе информации, полученной при логическом освоении языков неиндоевропейского типа. Таким образом, возникнув как результат борьбы против насилия латинизированной матрицы описания над живой языковой действительностью аборигенной Америки, дескриптивная лингвистика пришла к насилию же, ибо пыталась утвердить себя как единственное научное направление в языкознании, способное дать лингвистическую истину «в себе и для себя».

⁵⁵ Общеметодологические основания ДЛ-IV рассмотрены нами в работах: «Философские основы американской дескриптивной лингвистики», ВЯ, 1977, 2; «Американская дескриптивная лингвистика», сб. «Философские основы зарубежных направлений в языкознании», отв. ред. В. З. Панфилов, М., 1977.

БУРЯКОВ М. А.

К ВОПРОСУ ОБ ЭМОЦИЯХ
И СРЕДСТВАХ ИХ ЯЗЫКОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ

Эмоциональное наименование как предикативное слово стало предметом исследования только в последние два десятилетия. Здесь следует прежде всего назвать работы Д. А. Буслаева, Л. М. Васильева, В. С. Лысенко, С. Н. Родяевой, Н. И. Шапиловой, А. Н. Шрамма и некот. др. В своих исследованиях языковеды стремятся описывать механизм выражения эмоции как элемент языковой семантики. И в этом смысле они противостоят старым грамматикам (Бехтелю, Шнейдеру, Гроту, Потемне и др.), так как последние занимались главным образом выявлением предметных ассоциаций, лежащих в основании номинации любой эмоции¹, оставляя без внимания объективную информацию эмоциональных наименований в конкретном употреблении. Характерно и то, что в современных лингвистических работах об эмоциях исследуется именно синхронный языковой срез. Вопрос о том, что значит конкретное эмоциональное наименование, решается, как правило, только в связи и как часть общей проблемы выражения эмоции, а подчас не только эмоции, но «мысли» и «речи». Вот почему в каждом исследовании прямо или опосредованно через языковой материал выражается автором его понимание эмоции как явления, имеющего место в реальных отношениях людей, и как факта психики отдельного человека.

В журнальной статье нет возможности охарактеризовать с исчерпывающей полнотой хотя бы часть из перечисленных работ, поэтому остановимся на одной из них — работе Л. М. Васильева «Семантические классы глаголов чувства, мысли и речи» — не только вследствие ее фундаментального характера, но и потому, что в ней сконцентрированы достоинства и недостатки большинства исследований об эмоциональных наименованиях².

В центре внимания исследователя семантика глагола. Однако, например, термин «глаголы чувства» употребляется весьма условно, поскольку в силу функционального тождества в аналогичной предикативной позиции может оказаться связное сочетание слов, относящихся к другим частям речи. Среди глаголов чувства исследователь выделяет семь семантических «классов»: 1) глаголы ощущения, 2) глаголы желания, 3) глаголы восприятия, 4) глаголы внимания, 5) глаголы эмоционального состояния, 6) глаголы эмоционального переживания и 7) глаголы эмоционального отношения» (стр. 57). Как видим, собственно эмоциональные наименования сосредоточены в двух классах: пятом и шестом. Так, слова

¹ М. М. Покровский, Семасиологические исследования в области древних языков, М., 1896, стр. 63—64.

² Л. М. Васильев, Семантические классы глаголов чувства, мысли и речи, «Уч. зап. Башкирск. ун-та», Серия филол. наук, 43, № 16 (20), Уфа, 1971 [эта работа представляет полное изложение докторской диссертации того же автора «Семантические классы русского глагола (глаголы чувства, мысли, речи и поведения)», Л., 1971]. Далее ссылки на эту работу даны в тексте.

типа *печалиться, радоваться, грустить; печален, рад, грустен; печально, радостно, грустно* и под. отнесены к глаголам эмоционального состояния, а словосочетания *чувствовать (испытывать, переживать)* *печаль, радость, грусть* — к глаголам эмоционального переживания.

Глаголы эмоционального состояния «указывают прежде всего на определенное эмоциональное состояние, оставляя как бы [так!] в тени переживаемые при этом состоянии чувства» (стр. 95), а глаголы эмоционального переживания «в качестве главного аспекта выделяют не эмоциональное состояние, а процесс эмоционального переживания» (стр. 123). Эта разноаспектность семантического рисунка двух классов «глаголов чувства» подчеркивается различием в наборе сем. Так, первые (эмоционального состояния) имеют в своем значении три идентифицирующие «архисемы»: «быть (в каком-либо эмоциональном состоянии)», «переживать (какое-либо эмоциональное состояние/чувство)» и «выражать (какое-либо эмоциональное состояние/чувство)» (стр. 158), вторые (эмоционального переживания) — «только одну („переживать“) или, в крайнем случае, две („переживать“ и „выражать“»)» (стр. 159). В свете этого различия нужно понимать «нерегулярность и несколько иное семантическое содержание в составе этих глаголов оппозиций по семам бытийности/становления: у глаголов эмоционального переживания члены второй оппозиции указывают не на становление (= процесс возникновения и развития) эмоционального состояния субъекта, а на процесс становления чувства в его отношении к субъекту, в его взаимодействии с ним (ср. *грустить, приходит в уныние, рассерживаться и проникаться грустью, предаваться унынию, оскорбляться*), причем сема становления представлена у них обычно в стертом виде» (стр. 158). Кроме этого, оппозиция по семе результативность/нерезультативность «не свойственна глаголам эмоционального состояния» (стр. 159). В последнем случае для иллюстрации наличия этой семы в классе глаголов эмоционального переживания не приводятся словосочетания типа *чувствовать радость*. Отсутствуют они и в самой главе, посвященной анализу семантики глаголов эмоционального переживания. Из чего приходится делать вывод о том, что оппозиция по семе результативность/нерезультативность для данных классов не имеет абсолютного характера. В частности, по ней не противопоставляется такие лексемы, как *радоваться* и *чувствовать радость*, входящие в семантическое поле «печаль — радость».

Рассмотрим выделенные оппозиции в применении к эмоциональным наименованиям семантического поля «печаль—радость». Утверждается, что глаголы эмоционального состояния «употребляются в двух конструкциях: в ядерной конструкции типа *Он грустит* и в совместимой с ней конструкции типа *Он грустит о родине*» (стр. 97), что и свидетельствует, по мысли исследователя, о наличии у глаголов данного класса «факультативной объектной семы». В противоположность им глаголы эмоционального переживания имеют только «обязательную объектную сему», поскольку они «употребляются в трехчленных ядерных конструкциях, позицию объекта в которых занимают названия чувств: *Он чувствует/испытывает, переживает/(глубокую) радость ↔ Им чувствуется/испытывается, переживается/(глубокая) радость...*» (стр. 123). Нетрудно заметить, что объект в трехчленной конструкции *Он грустит о родине* и объект в трехчленной конструкции *Он чувствует (переживает) грусть* — единицы, если можно так сказать, разных порядков. Объект в трехчленной конструкции с глаголом эмоционального состояния характеризует связь с причиной переживания. При этом глагол-сказуемое имеет собственное независимое от объекта лексическое значение. Тогда как значение глаголов *чувствовать,*

переживать, испытывать в данных трехчленных конструкциях целиком фразеологично. «Чувство» нельзя оторвать от них и представить в качестве объекта, так как основной смысл сказуемого в этой конструкции выражает отнюдь не глагольный элемент. Значение глагольных элементов в этих предикативных словосочетаниях тавтологично объекту. Вот почему в том случае, когда *переживать* выступает одиночно, оно выражает не «чистую» эмоцию, как это должно было бы быть в случае наличия у него самостоятельного «переживательного» значения, а обязательно конкретную эмоцию. Ср.: разг. *Он переживает* значит не вообще эмоцию, не вообще переживание, а определенное эмоциональное состояние. Значение именного компонента предикативного сочетания при одиночном употреблении передается имплицитно семантикой глагольного элемента. Однако Л. М. Васильев полагает, что имеет дело с лексически полноценными языковыми единицами. Вследствие этого он и приписывает им способность присоединять к себе «объект». Не видя столь очевидного своеобразия в семантике анализируемых групп глаголов, исследователь, естественно, проходит мимо более тонких семантических различий. Так, глагол *чувствовать* с его точки зрения, нейтрален к оппозиции по семе чувство/ощущение (стр. 123), из чего следует, что в сочетаниях *чувствовать холод* и *чувствовать радость* глагольному элементу соответствует один и тот же денотат «воспринимать что-л. органами чувств». Однако очевидно, что только в первом случае глаголу *чувствовать* принадлежит это значение. Во втором сочетании это значение претерпевает существенное изменение.

Итак, анализ показывает, что объект, с точки зрения автора, это формальный член, который имеет или не имеет при себе глагол. Семантика объекта и характер его отношения к глаголу игнорируется. Это пренебрежение содержательной стороной описываемых языковых фактов далеко не единственный случай. Показательна в этом смысле другая выявленная Л. М. Васильевым «оппозиция».

Утверждается, что в отличие от глаголов эмоционального переживания, глаголы эмоционального состояния обладают семантической оппозицией по семе бытийности/становления. Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что ни один глагол эмоционального состояния, относящийся к семантическому полю «печаль—радость», по характеру выражаемого содержания не способен к указанной оппозиции, ибо нельзя представить себе «радость» или «печаль» в становлении, ср. *кручиниться, скорбеть, тужить, сокрушаться, убиваться, огорчаться, радоваться, ликовать, торжествовать, веселиться*. Пара *печалиться—опечаливаться* в действительности не отражает оппозицию бытийности/становления. Глагол несовершенного вида *опечаливаться* образован от глагола *опечалиться* путем вторичной имперфективации, поэтому он имеет значение не становления признака, а итеративности, повторяемости, ср. аналогичный путь словообразования у «вещественных» глаголов: *сломить — сламывать, схватить — схватывать* и под.³ Для глагола *грустить* приводится пара *грустнеть*, которая, по-видимому, должна обозначать становление состояния грусти. Однако в существовании этого слова по крайней мере в литературном языке приходится сомневаться, поскольку ни один из известных словарей (на материале которых написана диссертация) его не фиксирует, так что о значении этого авторского неологизма можно лишь догадываться.

Приписывание глаголам эмоционального состояния семантического поля «печаль—радость» несуществующего значения «становление чувства»

³ Эти примеры взяты из кн.: Н. С. А в и л о в а, Вид глагола и семантика глагольного слова, М., 1976, стр. 162.

влечет за собой, естественно, дальнейшие ошибочные заключения. Л. М. Васильев пишет, например, что глаголы эмоционального состояния вследствие указанной оппозиции допускают трансформацию типа *Он смущается* ↔ *Он приходит в смущение*. Но и это не соответствует действительности. По нормам русского языка нельзя сказать *Он приходит в радость, в грусть* и под. Ср. примеры из ССРЛЯ: *приходить в восторг, в бешенство*; из СРЯ (в 4-х томах): *прийти в ужас, бешенство, восторг, негодование, отчаяние, недоумение*; из Словаря Д. Н. Ушакова: *прийти в неописуемый восторг, ужас, восхищение, отчаяние, ярость, негодование, изумление*; из Словаря В. Даля: *прийти в изумление, страх, неистовство*. Чем объяснить, что в перечисленные сочетания не попали слова *печаль, радость, грусть* и т. п.? По-видимому, какой-то важной особенностью их семантики. Однако исследователь не останавливает внимание на этой особенности, поскольку она не вписывается в декларируемую «оппозицию», нарушает внешнюю «непротиворечивость» исследуемых отношений. Вот почему выводы автора все время оказываются в противоречии с фактами языка. Так, оппозицией по семе каузативности/некаузативности также обладают далеко не все эмоциональные наименования семантического поля «печаль — радость». Ее не имеют глаголы *грустить, тужить* и *скорбеть*. Точно так же этой семы нет у предикативных сочетаний типа *чувствовать радость*.

Наконец, самой важной чертой, отличающей глаголы эмоционального состояния от глаголов эмоционального переживания, является, по мнению Л. М. Васильева, разный набор сем, что в конечном счете определяет разный семантический акцент в значении этих слов. Глаголы эмоционального состояния содержат три семы: «быть», «переживать», «выражать», глаголы эмоционального переживания — одну: «переживать». Вследствие этого первые «в качестве главного аспекта выделяют» «эмоциональное состояние», а вторые — «процесс эмоционального переживания». Однако на чем же основывается это противопоставление? На двух моментах: 1) интуиции автора и 2) проанализированных нами «оппозициях». Поскольку подтверждающие оппозиции у эмоциональных наименований семантического поля «печаль — радость» не выдерживают критики, обратимся к интуиции автора. Необходимо прежде всего выяснить: что же понимает исследователь под терминами «эмоциональное состояние» и «эмоциональное переживание». Во всяком случае это не психологические термины, так как в психологии они употребляются, как правило, недифференцировано⁴. Все разъясняет следующее уточнение Л. М. Васильева: «Глаголы эмоционального переживания, в отличие от глаголов эмоционального состояния, подчеркивают, наоборот, своей семантикой сам процесс переживания каких-либо чувств и связанных с ним психических состояний» (стр. 158). Из этого высказывания становится ясным, что «эмоциональное состояние» противопоставляется «эмоциональному переживанию» как признак состояния противостоит признаку процесса. С этой точки зрения, основное отличие глаголов *радоваться, печалиться, грустить* и под. от предикативных сочетаний типа *чувствовать радость, печаль* состоит в том, что первые выражают эмоцию как состояние, а вторые — как процесс. Что это далеко не так, свидетельствует в противовес авторской интуиции интуиция составителей современных словарей. Большинство слов первой группы толкуется ими через предикативные сочетания второй, ср. *радоваться* «испытывать радость, предаваться радости», *грустить* «испытывать чувство грусти», *печалиться* «испытывать печаль» (Словарь С. Ожегова). В то же время нас никогда не покидает мысль, что *чувство-*

⁴ Н. Д. Левитов, О психических состояниях человека, М., 1964, стр. 104.

вать, испытывать, или переживать радость, печаль, грустить — это значит одновременно и «находиться в состоянии грусти, печали, радости», ср. пример из А. С. Пушкина, где признак «состояния» подчеркивается повторяемостью наступления переживания: «Здоровью моему полезен русской холод; К привычкам бытия вновь *чувствую любовь*: Чредой слетает сон, чредой находит голод (курсив наш. — М. Б.) (Словарь языка Пушкина). Неслучайно в дальнейшем, анализируя конкретный языковой материал, автор отходит от своего семантического противопоставления «состояния» «процессу», ограничиваясь компромиссными семемами, вроде «быть в подавленном состоянии/настроении, и с п ы т ы в а я какое-либо тягостное, гнетущее чувство» (разрядка наша. — М. Б.). Компромисс в определении общего значения слов влечет за собой компромисс в иллюстративном материале. Так, в одном ряду с глаголами *грустить, печалиться, кручиниться* оказываются сочетания *чувствовать грусть, печаль, кручину*, которые чуть ниже, в главе, посвященной глаголам эмоционального переживания, характеризуются «носителями идентифицирующей (ядерной) семемы».

Самим языковым материалом автор склоняется к выводам, которые противоречат его априорным представлениям, о якобы «непротиворечивом» каком-то идеальном системном характере отношений внутри исследуемого пласта лексики. Во всяком случае этот материал убеждает в том, что эмоциональные наименования *печалиться, радоваться* и под. не противопоставлены в русском языке предикативным словосочетаниям *чувствовать (испытывать, переживать) радость, печаль* по признаку состояние/процесс. Различие между ними (которое несомненно имеется) не лежит на поверхности. Различие гораздо глубже и сложнее, почему и выявляется не на уровне лексем, а на уровне синтагм, предложений. Чтобы «схватить» семантическое своеобразие каждой из названных групп «глаголов», необходимо прежде всего ответить на вопрос: что такое «эмоциональное состояние» и «эмоциональное переживание» как факт реальной действительности и как эта действительность «является» через сознание в человеческий язык? «Основной задачей семасиологии, — подчеркивает Д. Н. Шмелев, — является исследование именно того, как в единицах языка (словах) отображается внеязыковая действительность»⁵. Вместо этого исследователь предлагает ничего не говорящие сопоставления, вроде того, что *Он был в хорошем состоянии/настроении* отображает «состояние», а *Он испытывает радость* — «процесс». Это «наблюдение» такого же порядка, как если бы мы сказали, что «термины родства» противостоят «цветообозначениям» по признаку «одушевленности»/«неодушевленности». Но ведь очевидно, что дело здесь вовсе не ограничивается этим противопоставлением, что существо явления находится глубже: в различии прежде всего *д е н о т а т о в*, с которыми соотносятся языковые единицы. Различие между настроением и эмоцией принадлежит к элементарным сведениям психологии. Игнорирование этих отличий ведет к несерьезным сопоставлениям и к неверным семантическим интерпретациям. Вот почему в одном ряду с глаголами *радоваться, печалиться, грустить, горевать, кручиниться* оказываются такие непохожие по семантике слова, как *мучиться, страдать* и под. Непредубежденному взгляду очевидно различие между ними. «Если описанные глаголы (кроме последней группы) могут означать как физическое, так и нравственное состояние субъекта (например, глаголы *страдать, мучиться, томиться, блаженствовать*), — констатирует Н. С. Авилова, — то глаголы, приводимые ниже, имеют значение именно *н р а в с т в е н н ы х, п с и х о л о г и ч е с к и х* п р о ц е с с

⁵ Д. Н. Ш м е л е в, Проблемы семантического анализа лексики, М., 1973, стр. 18.

с о в, испытываемых субъектом. Таковы глаголы *горевать, грустить, скорбеть, печалиться, унывать, сокрушаться*⁶. Вследствие неразличения «вещественных» значений глаголов чувства, в одну группу попадают такие выражения, как *чувствовать радость и чувствовать любовь*. Признак «процесса», усматриваемый Л. М. Васильевым в семантике обоих словосочетаний, лишает своеобразия отражаемые психические состояния, нивелирует существенное различие между ними.

Итак, семантика эмоциональных наименований семантического поля «печаль—радость» в интерпретации Л. М. Васильева предстает как оппозиция состояний и процессов, характеризующихся по способу действия и аспектологически. Собственно лексический элемент сведен в работе к своеобразному «наполнителю» инвариантных значений. Это происходит потому, что «лексика» дана изначально. Она не есть искомое. Поиск идет в направлении выяснения системных отношений внутри описываемого класса глаголов, что в свою очередь определяется основным методом исследования. Так, автор пишет: «основным методом собственно лингвистического анализа, в том числе семантического, должен стать оппозитивный метод, включающий в себя и такие частные приемы (или принципы) исследования, как компонентный, дистрибутивный и трансформационный анализ. И н т у и т и в н о з а д а н н ы м и в оппозитивном анализе считаются знаковые единицы языка как члены тех или иных оппозиций и правила их преобразования („перекодирования“), и с к о м ы м и — классы этих единиц и иерархия между ними»⁷ (разрядка наша. — М. Б.). Неудивительно поэтому, что сущность, характер внутрисистемных отношений ограничились общеграмматическим набором противопоставлений (стр. 49), а отличие системных отношений между «классами» выявилось в суммировании этих противопоставлений. Вряд ли полученное прибавляет что-либо к нашим знаниям о семантике. Нельзя считать искомое заданным. Внутрисистемные отношения гораздо в меньшей мере обуславливают семантику, чем сами обуславливаются ею.

Навязывая языку свои априорные представления об эмоциональном процессе и эмоциональном состоянии, исследователь естественно проходит мимо языковых фактов, лежащих на поверхности. К таким очевидным фактам следует прежде всего отнести наличие в русском языке со времени первых письменных памятников⁸ особой категории безлично-предикативных слов, или слов категории состояния, для которых значение состояния является к а т е г о р и а л ь н ы м. По наблюдениям исследователей, семантическое ядро этих слов как раз образуют такие слова, которые обозначают «...чувство, эмоциональное состояние, психологическое переживание...»⁹ типа *рад, жаль, зол, завидно, стыдно, боязно* и т. п. Кажется, что исследование семантики именно этих слов поможет нам уяснить действительное, а не мнимое языковое представление об эмоциональном состоянии.

Известно, что слова категории состояния возникли на стыке имени и глагола. Вследствие этого и по форме, и по значению они близки как к той, так и к другой части речи. Так, «у многих кратких форм синтаксический отрыв от категории имени прилагательного не сопровождается изменением их лексических значений»¹⁰. С другой стороны, употребление

⁶ Н. С. А в и л о в а, указ. соч., стр. 89.

⁷ Л. М. В а с и л ь е в, Семантические классы русского глагола (глаголы чувства, мысли, речи и поведения). АДД, Л., 1971, стр. 15.

⁸ А. И. В а л ь к о в а, К вопросу о предикативных наречиях древнерусского языка, «Уч. зап. Бельцк. ин-та», 6 (филологический), Кишинев, 1963, стр. 20.

⁹ В. В. В и н о г р а д о в, Русский язык (грамматическое учение о слове), 2-е изд., М., 1972, стр. 324.

¹⁰ Там же, стр. 322.

этих слов в сочетании со вспомогательным глаголом сближает их по значению с аналогичными аналитическими глагольными образованиями типа *рад помочь — хочу помочь, боязно идти — боюсь идти, стыдно сказать — стыжусь сказать* и т. д. Следствие этого проблема категориальной дифференциации этих слов смыкается с вопросом о понятии и выражении в языке состояния вообще и эмоционального состояния, в частности. Поэтому проблему языковой интерпретации понятия эмоционального состояния представляется целесообразным решать именно на базе слов категории состояния. Таким образом, основной целью статьи является выяснение общепонятийной природы эмоционального состояния, особенностей его языкового выражения и черт, отграничивающих его от других, соседствующих с ним значений. При этом лексема *рад* принимается в качестве конкретного языкового объекта исследования.

В русском языке семантический объем *рад* не широк и легко обозрим, ср.: 1) «чувство радости от чего-н.» — *рад вашему приезду[тому, что вы приехали]*; 2) «охота, готовность, желание что-л. сделать» — *рад помочь вам, то же, но с оттенком условия — рад[бы] отдохнуть*; 3) оттенок, отличающийся от предыдущих значений, имеется в разговорных выражениях и словах, часто с иронической окраской, ср. *уж он — рад, высказался* — и *рад, рад-радешенек* и т. д. Однако это словарное описание не выявляет ясных семантических отличий между значениями и тем самым не отвечает на вопрос: в каком из значений отображается эмоциональное состояние. Этому мешает прежде всего неизбежная интерференция языковых ассоциаций, возникающая вследствие сближения значений, которые образовались в процессе исторического развития семантики слова. Для преодоления языковой интерференции целесообразно исследовать семантику лексемы *радъ* в диахроническом плане, поскольку в диахронии можно не только усмотреть иные отношения между известными значениями многозначного слова, но и наблюдать возникновение этих значений.

Все три указанных выше значения лексемы *радъ* имеет уже в древнейших русских летописях (в исследовании используются в основном материалы трех летописей: Лаврентьевской, Ипатьевской и I Новгородской по Синодальному списку). Однако распределены они несколько иначе. Так, наиболее частотно третье значение, реже встречается *радъ* с инфинитивом, еще реже — конструкция *рад кому-чему*. Таким образом, третья конструкция не имеет стилистического ограничения, свойственного ей в современном русском языке, а является распространенным языковым средством. Характер этой конструкции, употребленной в летописях 127 раз, вполне ясен: она выражает сочетание двух событий, одно из которых (находящееся в препозитивном положении) вызывает в качестве следствия другое. Так как событие-причина представляет законченное однократное действие, его предикативное ядро образует глагол в аористе. Возникающий в процессе причинения эффект, осознается как результат предшествующего действия и выражается сказуемым с перфективным значением¹¹, ср. (1150): *Въ лѣто 6658. Приде архиепископъ Нифонтъ ис Кыева, пущень Гюргемъ княземъ, и ради быша людьє Новѣгородѣ. ИН л. 27;* (1187): *Поставленъ бысть архиепископъ новгородскыи Гаврила мѣсяца марта въ 29 на святого Варихисия, и приде Новугороду мѣсяца мая въ 31 на святого мученика Ермиа, и ради быша новѣгородьци. ИН л. 47 об.;* (1210): *Приде Мьстиславъ въ Новѣгородъ, и посадиша и на столѣ отци, и ради быша новѣгородьци. ИН л. 76;* (1223): *Приде князь Ярослав в Новѣгородъ, и ради быша новгородци. ИН 94 об.;* (1097): *И приде Стополкъ с*

¹¹ «Перфект означает действие, осуществившееся в результивной форме к настоящему моменту...» (А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Л., 1941, стр. 489).

Двѣмъ Кыеву, и ради быша людье вси. Л л. 87; (1148): И наставши весѣи приде Ивяславъ Кыеву, и ради быша людье. Л л. 106 об.; (1124): В лѣто 6632. Мѣсяця августа въ 11 день, передь вечернею, почя убывати солнца, и погыбе всѣ... и паки нача прибывати, и въ бързѣ наполнися, и ради быша вси по граду. ІН л. 10 об. — 11; (1321): Того же лѣта... тма бысть яко в зимнюю ночь, и паки наполнися по малу, и ради быхом. ІН л. 162; (1271): Померче солнце въ 5-ю недѣлю поста средѣ утра и паки наполнися, и ради быхомъ. ІН л. 150 об.

Очевидно, что в этом употреблении лексема *радъ* тесно связана с категорией перфекта. Следует поэтому более четко определить значение этого последнего. «Главный, основной момент категории перфекта, — подчеркивает вслед за Шантреном эту мысль Г. Гартман, — следует видеть прежде всего в интеллектуальной идее „*état acquis*“¹². Не менее определена характеристика Дельбрюка: «Перфект обозначает достигнутое состояние (*erreichten Zustand*)»¹³. Вместе с тем значение «достигнутого состояния» нельзя, по-видимому, считать простым. Так, с одной стороны, в др.-русск. *есть умърль* (аще бо бы рече съде былъ не бы оумърль братъ мои. Усп. сб. 227в18), а с другой — в *мъртьвь бысть* [и видѣвъ (львъ) епифана паде на земли и быс мъртъвь. Усп. сб. 148б27] выражается, видимо, одно и то же «достигнутое состояние»: «смерть, уход из жизни», однако «отношение» субъекта к нему в обоих случаях различно. В случае с *бысть мъртьвь* субъект предстает только как обладатель возникающего результата¹⁴, тогда как в *есть умърль* он характеризуется и как сила, творящая этот результат. «Нам смешна школьная формула *что сделал?* — *умер*, — пишет А. М. Пешковский. — На самом деле эта формула грамматически безупречна. Тут все дело в том, что в вещественной части этих глаголов выражено как раз нечто прямо противоположное намеренности, нечто совершенно не зависящее от нашей воли»¹⁵. *Умърль* при сравнении с *мъртьвь* подчеркивает в корне именно процессуальность, действительность. Неслучайно, составное сказуемое лишено значения, выражаемого настоящим временем глагола *умирает*. Все это, как кажется, говорит о том, что исконным значением перфекта следует считать представление, непосредственно не связанное с понятием достигнутого состояния, т. е. действия, а значит, и с категорией субъекта. Его значение есть значение только с о с т о я н и я или результата. Архаичным значением перфекта, считает Т. Я. Елизаренкова, является «непереходность и результативность»¹⁶. Как видим, оба признака характеризуют употребление лексема *радъ* в приведенных выше примерах. Из этого следует, что *радъ* реализует древнее перфектное значение признака, обозначающего результат предшествующего действия, но не выражающего само это действие, а лишь характеризующего его в качестве одного из его определений.

Известно, однако, что индоевропейский перфект — синтетическая форма и как таковой не сохранился в славянских языках (если не считать единичной формы *stǫbъ*). Как же возникла славянская форма с *бысть*, передающая древнее перфектное значение? Обращаясь к гречес-

¹² Н. H a r t m a n n, Zur Funktion des Perfekts, «Festschrift Bruno Snell», München, 1956, стр. 245.

¹³ В. D e l b r ü c k, Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, II, Strassburg, 1897, стр. 177.

¹⁴ Это отношение особенно ярко проявляется в специфической составной форме хеттского перфекта, представляющего сочетание «глагола *har(k)-* „иметь“ с застывшей формой именительного-винительного падежа единственного числа среднего рода причастия» (И. Ф р и д р и х, Краткая грамматика хеттского языка, М., 1952, стр. 124).

¹⁵ А. М. П е ш к о в с к и й, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1938, стр. 99.

¹⁶ Т. Я. Е л и з а р е н к о в а, Аорист в «Ригведе», М., 1960, стр. 40—41.

ким параллелям, видим, что в древнегреческом ей чаще всего соответствует прилагательное *περιχαρής* и *εὐδαίμωνος*¹⁷ в сочетании с *ἔστιν* или депонентным глаголом *γίγνεσθαι*. Это значит, что сложная перфектная форма возникла уже в глубокой древности и сосуществовала с синтетической. Язык не любит излишеств. Что же побудило его образовать эту дополнительную форму? Выше уже было показано, что древний перфектный признак не осмыслялся в связи с категорией субъекта. Это предположение зиждется на двух несомненных фактах: во-первых, на противоположности глаголу имени, которому не свойственна категория субъекта; во-вторых, на известной оппозиции древних презенсно-аористных форм перфектным. Наличие двух этих противопоставлений позволяет, на наш взгляд, сблизить перфектный признак и именной на основе отсутствия у обоих связи с субъектом. Последующее размежевание на имя и глагол приводит, с одной стороны, к образованию собственно перфектных форм, осмысляемых в связи с субъектом, т. е. как действие, а с другой стороны, к выделению имени как самостоятельного грамматического класса, предназначенного для отображения реальной действительности как чего-то устойчивого, недвижимого, данного. Связь с субъектом, так характерная для глагола, необходимо приводит к усилению перфектного корня. Именно этим обстоятельством мы объясняем факт редупликации перфектного корня и превращение этой редупликации в характернейшую грамматическую черту греческого и санскритского перфектов. Отсутствие редупликации у и.-е. корня **woid* в перфектном значении во всех индоевропейских языках (санскр. *véda*, греч. *οἶδα* и т. д.) должно свидетельствовать не о вторичности удвоения в перфекте, а о том, что лексическое значение этого корня изначально выражало субъекта, поскольку «видеть» — древнейшее значение этого корня, как раз выражает субъекта в виде материального недействия (ср. значение «смотреть», где субъект есть прежде всего действие, процесс). Однако переосмысление перфектных корней в связи с категорией субъекта не проходит бесследно для их лексик. Значения все более и более сближаются с понятием действия. Процесс смещения перфектных корней с действиями заходит настолько далеко, что первые в значительном количестве переходят в действительный залог системы презенса/аориста (ср. санскр. *nandanti*, *ranayann* и т. д.), другие же образуют многочисленный отряд *media tantum*¹⁸. Таким образом, индоевропейский перфект, возникший для обозначения материального недействия вообще, постепенно деградирует, отождествляясь с материальным действием¹⁹, ибо не может материальный признак не мыслиться в связи с субъектом иначе как материальное действие. В связи с этим в языке снова возникает стремление вернуться к значению древнего нередуплицированного перфекта, т. е. к материальному недействию. Однако эта тенденция уже не могла не считаться с осознанным всеми фактом того, что любое недействие предполагает предшествующее действие и вследствие этого мыслится как становление, переход в недействие.

Вследствие этого возникает необходимость в сложной форме, которая смогла бы отразить двухчастотность перфекта: переход в недействие. Первое событие оформлялось глаголом, второе — именем (прилагательным или причастием). При этом носитель недействия (выражающийся

¹⁷ «Altkirchenslavisch-griechisches Wörterbuch des Codex Suprasliensis», von K. H. Meyer, Glückstadt — Hamburg, 1935, стр. 213.

¹⁸ Полный список этих глаголов приводится Дельбрюком в указанной работе (стр. 419—424).

¹⁹ К сожалению, здесь нет возможности говорить о встречном процессе: деградации действий в процессы. Об этом см. названную работу Дельбрюка, стр. 417—418, 423—424.

именем) и субъект действия (перехода в недействие) необходимо не отождествлялись друг с другом, поскольку признак перехода мог осознаваться только созерцающим или словесно отражающим данное явление субъектом, а не его носителем²⁰. Этим обстоятельством и объясняется первоначальная полноточность глагольного члена составного сказуемого; так, греч. *τίγνόμεναι* значило в таком сочетании «становиться, делаться», *ἔστιν* «существовать, иметь место», то же можно сказать и относительно др.-русск. *бысть*. Формы этого глагола, как подчеркивал Потебня, «долго оставались при довольно конкретных, отнюдь не чисто формальных значениях возникновения (стать, возникнуть) и случайности, превращения (стать другим), пребывания, совершения»²¹.

Итак, значение сложной славянской формы *бысть радъ* в отличие от значения древнего перфекта отображало не просто недействие, а действие, переходящее в недействие. В результате действие абстрагировалось от субъекта и «представлялось» как «момент» на оси видо-временного континуума.

Однако аффект, если под ним понимать определенное отношение субъекта к окружающей действительности, лишь только с внешней, предметной стороны, представляет следствие причины-события, т. е. момент, а не действие. С позиции внутренней, идеальной сферы, аффект выражает активность субъекта, его направленность на тот или иной объект реальной действительности. Эмоция возникает только при наличии у субъекта идеальной потребности в чем-либо. Поэтому постольку, поскольку внешнее событие вызывает у субъекта ту или иную аффективную оценку, последняя предполагает и обуславливает само это внешнее событие. С точки зрения идеальной потребности, не событие вызывает аффект, а потребность в этом событии. Употребляясь в перфективной конструкции, лексема *радъ* не выражала идеальную потребность. В результате эмоция оказывалась предметным признаком, возникавшим при внешнем материальном действии и характеризовавшим его. Аффект ограничивался как бы только мимикой, жестом, голосом и т. п., служа характеристикой, атрибутом реального события внешней действительности. Не носитель аффекта в центре внимания речетворца в таком употреблении эмоционального наименования, а внешняя действительность, событие или деятель, вызывающие этот аффект. Ибо аффект — это момент, тогда как действие выражается в событии-причине. Вот почему производный невозвратный глагол *радовати* имеет своим субъектом не носителя аффекта, а носителя конкретного действия и обозначает вследствие этого не аффект, а каузирующее аористное действие, ср.: Яко же в дѣянныхъ пишетьс(я), яко все множество бѣ, акы едина дша и *радоваху* всѣмъ кто чего требоваше. Зл. Цепь 110б—в. Таким образом, *радъ* в приведенных выше примерах и под., как, например, (1216): *Приде* Мьстислав въ Новгородъ, и *радъ бысть* владыка и вси новгородьци, ИН л. 87; (1097): И *цѣловашеся* и *поидоша* у свояси, и *приде* Стополкъ Кыеву съ Давыдомъ, и *радъ быша* людье вси. И л. 88, обозначает не эмоцию в современном ее понимании, а объективный, реальный признак, характеризующий наступление того или иного важного, с точки зрения летописца, события: приход на княжение князя, божью милость в виде благополучного исхода междоусобицы или победы над внешним врагом и т. д. Аффект представляется не как состояние,

²⁰ «По моему мнению, — справедливо писал А. А. Потебня, — описательная форма спряжения отличается от просгой признаком, имеющим место только в мысли постороннего наблюдателя...» (А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1958, стр. 145).

²¹ Там же, стр. 133.

а как атрибут, внешний фон важного события или действия. В этом смысле любопытно сравнить с нашим выводом оценку способа изображения летописцем исторических фактов, даваемую Д. С. Лихачевым: «Народ составляет неизменный и безличный фон, на котором с наибольшей яркостью выступает фигура князя. Народ как бы только обрамляет группу князей. Он выражает радость по поводу их посажения на стол, печаль по поводу их смерти, поет славу князьям при их возвращении из победоносных походов; он всегда выступает в унисон, без единого индивидуального голоса, массой, в которой неразличимы отдельные личности, хотя бы безымянные...»²².

Предметный и чисто атрибутивный характер аффективной оценки породил асимметричную конструкцию, в которой производное субстантивное эмоциональное наименование, занимая независимое положение субъекта, становится обозначением реального общественного события: 1) «праздник, свадьба», 2) «проводы, прием», 3) «праздник победы», 4) «пострегы», 5) «праздничная служба по случаю освящения церкви», ср. (1187): Того же лѣта Всеволодъ Юрьевичъ... отдалъ дщерь свою Всеславу Чернигову за Ярослава Ростислава... и *быс радос* велика в граде Володимери. Л л. 137—137 об.; (1202): Тое же зимы... (Романъ) приведе полона много и дшь хрстьянскихъ множество отполони от них и *быс радос* велика в земли Рустѣи. Л л. 141 об.; (1192): Быша постригы у великаго князя Всеволода сна Георгева... и на конь его всади и *быс радость* велика в градѣ Суждали. Л л. 138 об.

Наряду с этим в древнерусском языке возникает и постепенно получает широкое распространение иное употребление лексемы *радъ*, отличающееся от перфективной конструкции не только формально, но и по выражаемому содержанию. В результате это сложное глагольно-именное сочетание претерпевает существенные изменения, касающиеся не только семантики имени, но и значения вспомогательного члена. Последнее от полнозначного конкретного значения сокращается до выражения «объективной модальности», т. е. до значения связки. Но процессуальность не исчезает бесследно, а синтезируется в значении именного глагола. Вследствие этого наряду с посессивным носителем признака начинает выражать отношение каузативное. Признак представляется именем не только как принадлежащий субъекту, но и как порождаемый им. Выражение наблюдателя в этой форме сводится уже лишь к значению времени, т. е. отношению к моменту речи. Материал летописей позволяет выделить основные этапы формально-семантических превращений глагола и имени в составном сказуемом.

На первом этапе впервые центр тяжести изображаемого события переносится с события-причины на аффективную оценку. Это достигается путем переосмысления события-причины в условие, обстоятельство, при которых возникает аффект. Переосмысление события-причины осуществляется двояко: либо аористное действие передается конструкцией дательного самостоятельного действия (1148): *Посла* противу ему мужи свои, и *пришедшу ему*, *радъ быс* Изяславъ. Л л. 106 об., либо аористное действие дублируется препозитивным же деепричастием восприятия, как, например, (971): (Святослав) *посла* слы къ цркви в Дерестѣрь, бѣ бо ту цсрь ркя сице, хочю имѣти миръ с тобою твердь и любовь, *се же слышавъ радъ быс*. И л. 28 об.; (1189): Того же лѣта *послаша* галичський мужи к Ростиславу к Берладничю, зовуще его в Галичь на княжение, он же *слышавъ*

²² Д. С. Лихачев, Человек в литературе древней Руси, 2-е изд., М., 1970, стр. 39—40.

радъ быс. И л. 230 об.; (1096): (Стополкъ же и Володимеръ) *пюидоста* к граду, гражане же *узръвше ради (быша).* Л л. 77.

На втором этапе в конкретных условиях возникновения аффективной оценки выявляется наиболее важное звено, которое затем оформляется в объект внутренней идеальной устремленности субъекта. Функция объекта обуславливает в конечном итоге его постпозитивное положение. Объект идеальной активности субъекта выражается в тексте либо указательным местоимением (1216): Князь же Мьстиславъ *радъ бысть тому.* Ил. 8м об.; либо личным, выделяющим деятеля причины-события (1240): Росъ тиславъ, вышедшу же Лвови изъ Угоръ с бояры галичкыми и приѣха во Водаву ко оцю си, и *радъ быс ему оць.* И л. 266, или именем нарицательным; либо, наконец, именем существительным, обозначающим какое-либо абстрактное качество или общественное событие, явление, ср. (1229): *Приде князь Михайль ис Чърнигова въ Новъгородъ, по велицѣ дни Фоминѣ недѣли исходяче, и ради быша новгородци своему хотѣнью.* Ил. 108; (1159): Аже ны хоцещи любити... по городу ны даси по лепшему, то мы на том отступимъ от Изяслава. Мьстиславъ *радъ бывъ рѣчи тои.* И л. 179 об.; (1142): Всеволодъ же *радъ бывъ разлучѣнью ихъ.* И л. 115 об.; (1149): И цѣловавшим крстъ веснѣ, приспѣвши миръ створиша и воротиша в Пересопницу в Вячеславлю волость, Изяславъ же *радъ быс крстному цѣлованью.* Л л. 108 об.

Наконец, на последнем, третьем этапе трансформации причины-события оно целиком и полностью становится объектом умозрительной активности субъекта. Поэтому эмоциональное наименование из обозначения внешней инстинктивной реакции становится, обозначением факта совпадения идеальной потребности с событием реальной действительности. Оно теряет не посредственную связь с реальным событием, совершающимся в препозитивном по отношению к нему положении, и вследствие этого перестает выражать перфективное значение, превращаясь в именную часть составного именного сказуемого, ср. (1097): Почто губим Русьскую землю сами на ся котору дѣюще, а половци землю нашу несутъ розно и *ради суть, оже межю нами рати.* Л л. 86 об.; (1219): Рекоша же новгородци: «е ли вина его». Онъ же рече: «без вины». Рече Твьрдислав: «тому *есмь радъ, оже вины моеи нѣту.*» Ил. 91; (945): Рюша сли цсрви се посла ны цсръ *радъ есть миру и хочетъ миръ имѣти съ князем рускымъ и любовь.* И л. 21; (1024): Мьстиславъ же... реч[е] кто *сему не радъ: се лежитъ Стьверянинъ, а се Варягъ, а дружина своя цѣла.* Л л. 50 об. Таким образом, из следствия, атрибута внешней реальной действительности, внешнего факта аффект переосмысливается в таком употреблении лексемы *радъ* в факт совпадения потребности с реальным событием, оставаясь в то же время атрибутом субъекта — своего носителя. Из следственного признака эмоциональное наименование становится «событийным» признаком, но таким, который в то же время не перестает быть принадлежностью одного конкретного субъекта, точнее он и есть сам субъект. Таким образом, эмоциональное состояние — это признак, отражающий в прямом смысле «со-стояние человека со средой», но именно состояние, а не предметную действительность. Возникновение специфического управления у эмоционального предиката является бесспорным доказательством специфичности отображаемой субъектной активности. Ибо перед нами активность не предмета вообще, а именно субъекта — источника (и при том единственного) активности идеальной. отождествлять предметную активность со специфической субъектной активностью было бы, очевидно, большой ошибкой. И в этом смысле такое употребление *радъ*, подчеркнем еще раз, противостоит перфектному, поскольку это последнее отра-

жало только предметную действительность. Это не значит, конечно, что эмоциональное состояние не отражает реальную действительность, оно ее отражает, но не прямо, а опосредованно, как факт сознания, психики человека.

Употребление *рад* во втором значении, т. е. в сочетании с инфинитивом (типа *рад помочь* и т. д.), а в древнерусском языке и в сочетании с причастием на *-ль* (1281): Тако ти молвить братъ твои Володимѣрь: *радъ ти быхъ помогъ* за твою сорому, но нѣ лзѣ мь замялѣ нами татаровѣ. И л. 293 об., развивает, очевидно, идеальную сторону значения эмоционального состояния. Значение эмоционального состояния здесь перерастает в значение субъективной положительной модальности: возможности, желательности или вероятности того или иного предполагаемого, но еще не имеющего места в реальной действительности действия. Значение этого употребления *рад* даже и опосредованно не отражает действительность. Его денотатом оказывается идеальное образование, являющееся следствием идеальной активности субъекта.

Таким образом, диахроническое исследование семантики эмоционального наименования *рад* позволяет выделить в нем три основных значения: 1) «перфективное, предметное», 2) «эмоциональное состояние» и 3) «модальное». Все три значения, конечно, отнюдь не исчерпывают семантики этого слова, но они дают в руки лексиколога три твердых семантических координаты, с помощью которых можно определить с достаточной точностью любое из встретившихся в тексте употреблений.

МУРЯСОВ Р. З.

СЛОВОПРОИЗВОДСТВО И ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

В данной статье будет показана связь словопроизводства с морфологией, во-первых, с точки зрения изучения закономерностей взаимоперехода частей речи и, во-вторых, с точки зрения способности словообразовательных моделей выражать в компрессированном виде грамматические значения той или иной части речи. Продемонстрируем изоморфизм между грамматикой и словообразованием на примере разных частей речи. По данным «Словаря современного немецкого языка» Р. Клаппенбаха и В. Штайница¹, на 100 прилагательных приходится 31 деадъективное производное существительное. Анализ словообразовательных потенциалов прилагательных периферийной зоны, т. е. употребляемых только в качестве предикативного атрибута в составе сказуемого, показывает, что они обладают также минимальной деривационной мощностью. Из 29 таких прилагательных, как *angst*, *jeind*, *schuld*, *abhold*, *abspenstig*, *ansichtig*, *gewahr* и т. д., только четыре выступают в качестве производящих основ суффиксальных существительных: *gewillt* — *Gewilltheit*, *gar* — *Garheit*, *barfuß* — *Barfüßer* или *Barfüßler*, *bereit* — *Bereitheit* и *Bereitschaft*, т. е. их деривационная мощность составляет около 14%.

Не всякая грамматическая дефектность существенна для функционирования словообразовательных моделей. Так, дефектность глагола в образовании форм императива никоим образом не затрагивает их деривационные особенности. Глаголы, не способные образовать формы императива (например, *ähneln*, *altern*, *aussehen*, *besitzen*, *bekommen*, *dürfen*, *gelten* и т. п.), не имеют каких-либо особых семантических ограничений в моделях с суффиксами *-ung*, *-er*, *-nis*, *-e*, *-ling* и т. п. Ср. *Aussicht*, *Besitz*, *Besitzer*, *Besitzung*, *Erhalter*, *Erhaltung*, *Kenner*, *Kenntnis*, *Messung*, *Messer*, *Maß*, *Pflege*, *Pfleger*, *Pflegling* и т. д. Однако глаголы неполной парадигмы лица (например, *abkratzen*, *eingehen*, *einschlafen*, *enden*, *entschlafen*, *ersticken*, *ertrinken* и т. п.) оказываются неспособными «поставлять» лексику в одноименное поле лица (деятеля), т. е. они, как правило, не функционируют в составе модели «глагол + *-er*», между тем как в моделях с суффиксами *-ung*, *-nis*, *-e* и др. они не испытывают каких-либо семантических ограничений в образовании соответствующих существительных, ср. *Endung*, *Eingang*, *Erstickung*, *Falle*, *Untergang* и т. д.

Переход слов одной части речи в другую часть речи представляет собой сложный процесс, затрагивающий всю смысловую структуру слова — как структуру его лексической семантики, так и лексико-грамматические, структурно-семантические и грамматические категории частей речи². «Переключение» слова из одного лексико-грамматического разряда

¹ Цифровые данные и семантические интерпретации производных приводятся из следующих словарей: «Словарь современного русского литературного языка», 1—17, М.—Л., 1950—1965; «Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache», hrsg. von R. Klappenbach und W. Steinitz, 1—3, Berlin, 1961—1970; «Webster's Third New International Dictionary», Springfield (Mass.), 1969; «Petit Larousse illustré», Paris, 1975.

² См. об этом: Р. З. Мурясов, О словообразовательном значении и семантическом моделировании частей речи, ВЯ, 1976, 5.

в другой сопровождается в первую очередь изменением семантического стержня части речи, т. е. семы высшей степени обобщенности.

Части речи обладают определенной «предрасположенностью» к переходу в ту или иную часть речи или в то или иное словообразовательное поле. Нами был проанализирован весь корпус девербативных, деадъективных и десубстантивных суффиксальных существительных, представленных в первых трех томах «Словаря современного немецкого языка». Максимальное число производных существительных образовано от глаголов. 5418 корневым и производным глаголам соответствует 3648 производных существительных. Деривационная мощность глагола по отношению к существительному составляет, таким образом, 69,1%, т. е. на 100 глаголов приходится примерно 69 суффиксальных существительных. Второе место по суффиксальной активности в словопроизводстве существительных занимают прилагательные. Список, включающий 3114 корневых и производных прилагательных, дает 975 субстантивных дериватов. Следовательно, деривационная мощность прилагательных по отношению к существительным составляет 31,3%. Минимальной продуктивностью в словопроизводстве существительных характеризуется модель «существительное + суффикс → существительное». Классу 9060 корневых и производных существительных соответствует лишь 1161 производное существительное. Деривационная мощность данной модели равна 12,7%. Приведенные цифры поучительны как в теоретическом плане, так и с точки зрения практики языка. Как видно из приведенных статистических данных, в словопроизводстве существительных доминирует процесс «определечивания» действия или качества, в то время как модификация самих существительных путем преобразования в новые существительные имеет второстепенное значение. Основными факторами, обуславливающими отглагольный характер существительных, являются, во-первых, роль лица-деятеля, выступающего в качестве активного и творческого соиздателя и преобразователя мира, во-вторых, коммуникативная потребность в номинализации действия для создания цепи семантически взаимосвязанных высказываний путем представления предикатива предыдущего предложения в виде субъекта или объекта последующего предложения. Первый фактор способствует созданию обозначений лица и инструментов, второй создает фактически неограниченные возможности для образования имен действия.

Если в словопроизводстве имен существительных ведущую роль играют глагольные основы, то в глагольном словопроизводстве, наоборот, основная роль принадлежит субстантивным основам. Чем полярнее части речи, тем большим взаимопроникновением они характеризуются в деривационном плане. Это положение находит свое подтверждение как в статистических данных, полученных нами на материале производных существительных немецкого языка, так и в данных И. Кюнхольд и Г. Вельманна, полученных ими на материале глагольного словопроизводства³. По свидетельству авторов, максимальное число глаголов получено от субстантивных основ — 79,8%, доля деадъективных глаголов составляет 18,2% и минимальное количество глаголов образовано от самих же глаголов — 2%.

Теоретически ценным и поучительным может оказаться изучение с этой точки зрения и словопроизводства прилагательных. Можно высказать предположение, что при суффиксации прилагательных, как при префиксации, в равной мере пользуются как субстантивными, так и глаголь-

³ I. K ü n h o l d, H. W e l l m a n n, Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache: Das Verb, Düsseldorf, 1973.

ными основами. В связи с этим возникает другая важная для теории словообразования проблема — проблема изучения соотношения внутри- и межкатегориального словопроизводства. Между этими двумя аспектами словопроизводства обнаруживаются существенные количественные и качественные различия. Количественное различие заключается в том, что наблюдается явное количественное преобладание межкатегориального словопроизводства над внутрикатегориальным. Качественное различие состоит в том, что с помощью внутрикатегориального словопроизводства редко создаются новые десигнативные классы, а словообразовательные форманты сообщают производящим основам главным образом модификационные значения: аспектуальное, локативные, транзитивные и т. п. — в глагольной системе; уменьшительности, собирательности, родовой дифференциации — в словопроизводстве существительных; усиления или ослабления и уменьшительности — в системе прилагательных. Межкатегориальное словообразование компрессирует, «подавляет» грамматические категории производящих основ. Внутрикатегориальное словообразование же, наоборот, обнаруживает тенденцию к выполнению грамматических функций или к усилению тех структурно-семантических разрядов, которые существенны для функционирования грамматических категорий (ср., например, собирательность, единичность и т. д.). Общая для производящей и производной основ категориальная сема *с к о в ы в а е т* деривационные возможности создания новых лексических единиц, так как при гомогенной категориальной семе невозможна синтаксическая деривация, столь продуктивная в межкатегориальном словообразовании. Эти различия во внутри- и межкатегориальном словопроизводстве имеют определенные последствия для грамматики. Так, основными «поставщиками» лексики в поле собирательности являются десубстантивные модели, например, *Lehrerschaft, Hellenentum, Bauernschaft, Fasanerie* и т. д. Производные с собирательным значением в свою очередь противодействуют функционированию категории числа и входят в периферийную зону данной категории. Другой пример. Прилагательные, образованные от основ прилагательных, имеют семантику, родственную с категорией степени сравнения. Большинство деадъективных прилагательных с суффиксом *-lich* обозначают ослабленное качество, выраженное производящей основой, ср. *rot* «красный» — *rötlich* «красноватый», *schwach* «слабый» — *schwächlich* «слабый, хилый, болезненный». Форма сравнительной степени от прилагательного *schwächlich* противоречит языковой норме. Таким образом, положение А. А. Потемни о полярной противопоставленности существительного и глагола в системе частей речи в плане формообразования⁴ находит свое весьма своеобразное преломление и в их взаимоотношениях в области словообразования. На основе сравнения закономерностей в словопроизводстве глаголов и существительных можно прийти к заключению, что чем больше поляризованы части речи, тем большую склонность они испытывают к взаимопереходу путем аффиксации. Характерно, что прилагательное занимает в этом смысле промежуточное положение, как бы балансируя между двумя главными частями речи — существительным и глаголом.

Глагол в качестве производящей основы существительных обнаруживает не только количественную, но и качественную продуктивность. Ни одна часть речи в словопроизводстве существительных не создает такого многообразия семантических моделей, как глагол. В. В. Виноградов справедливо подчеркивает: «... смысловая структура глагола шире, чем

⁴ А. А. П о т е м н я, Из записок по русской грамматике, 3, М., 1968, стр. 5, 37 и др.

смысловая структура имени существительного, и круг его значений подвижнее»⁵. По образному выражению В. В. Виноградова, «субстантивация действия, его „опредмечивание“ парализует грамматические свойства глагола»⁶. Но «парализованные» грамматические категории не исчезают без последствий для соответствующих производных существительных и прилагательных, и совокупность грамматических и лексических значений производящей основы выступает в качестве одного из важнейших конструктивных факторов, определяющих смысловую структуру производной единицы. Рассмотрим грамматические категории глагола, которые представлены с разной степенью свернутости, компрессированности в словопроизводстве существительных и отчасти прилагательных, а именно категории залога, времени, а также категорию аспектуальности (не являющуюся в немецком языке в строгом смысле грамматической), которые находят свое выражение в ряде суффиксальных моделей deverбальных имен.

К а т е г о р и я з а л о г а. Из всех редуцированных грамматических категорий она представлена в словопроизводстве существительных наиболее последовательно в виде трехчленной оппозиции «актив — пассив — статив». Активный член оппозиции, т. е. агенс, располагает богатым набором словообразовательных средств — суффиксов и полусуффиксов, одни из которых являются непосредственными выразителями агентивности, другие выражают идею агентивности опосредованно, а именно через продукт, орудие труда, область деятельности людей, отрасль науки, например: *Tischler, Wissenschaftler, Mathematiker* и т. д. Подобно тому как актив и пассив в грамматике образуют неравнообъемную оппозицию в смысле охвата лексики, данная оппозиция асимметрична также в словообразовании. Область агенса обслуживается в словопроизводстве существительных одной из самых высокопродуктивных суффиксальных моделей современного немецкого языка — моделью с суффиксом *-er*. Пациенс представлен в словообразовательной системе значительно слабее, чем агенс, так как непереходные глаголы, равно как и в морфологии, не способны создавать оппозицию «агенс — пациенс». В суффиксальной системе существительных можно указать на три вида проявления субъектно-объектных отношений.

1. Агенс не коррелирует в словообразовательной системе существительных с пациенсом. Как правило, они образованы от непереходных глаголов и редко от переходных глаголов: *Nörgler, Spazierer, Lacher, Tänzer, Behälter* и т. п.

2. Агенс предполагает корреляцию с пациенсом, но характер пациенса зависит от семантико-синтаксических особенностей глагола, т. е. синтаксической валентности. В зависимости от семантики пациенса здесь возможны две разновидности оппозиций: 1) агенс (лицо) — пациенс (лицо) и 2) агенс (лицо) — пациенс (не-лицо). Если в качестве объекта переходного глагола выступает лицо, то пассивный член залоговой оппозиции находит свое выражение в суффиксации или субстантивации причастия II в мужском или женском роде, ср.: *Lehrer — Lehrling, Prüfer — Prüfling* или *Ankläger — der/die Angeklagte, Sieger — der/die Besiegte*. Если объектом переходного глагола является неодушевленный предмет, то пациенс находит свое выражение, в субстантивированном причастии II среднего рода и в аффиксации, ср.: *der Beschauer — das Beschaute, der Überwinder — das Überwundene, Bäcker — Backwerk, Schenker — das Geschenk*. Нередко противочлен агенса по своей семантике представля-

⁵ В. В. Виноградов, Основные типы лексических значений, ВЯ, 1953, 5, стр. 7.

⁶ В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 118.

ет собой продукт его деятельности. В данном случае значение пациенса осложняется рядом других грамматических сем — семами результативности и прошедшего времени.

3. Пациенс не коррелирует в словообразовательной системе с агенсом с той же производящей основой, ср.: *Setzling* «саженец», *Konvertit* «обращенный в другую веру», *Logarithmand* «(мат.) величина, выявляемая путем логарифмических исчислений», *Subtrahend* «(мат.) вычитаемое» и некот. др.

Оппозиция «агенс — пациенс» реализуется в ряде суффиксальных и полусуффиксальных моделей: *-er/-ling*, *-ant/-at*, *-or/-end*, *-ator/-and* и т. д.: *Lehrer* «учитель» — *Lehrling* «ученик», *Prüfer* «экзаменатор» — *Prüfling* «экзаменуемый», *Beschützer* «защитник» — *Schützling* «опекаемый; протеже», *Gönner* «покровитель» — *Günstling* «любимец; фаворит», *Assekurant* «страховщик» — *Assekurat* «страхователь; застрахованный», *Denunziant* «доносчик» — *Denunziat* «человек, на которого сделан донос (возведено обвинение)», *Appellant* «апеллянт, жалобщик, заявитель протеста (обжалования)» — *Appellat* «ответчик по обжалованию (по протесту)», *Divisor* «(мат.) делитель» — *Divident* «(мат.) делимое (число)», *Examinator* «экзаменатор» — *Examinand* «экзаменуемый», *Multiplikator* «множитель» — *Multiplikand* «множимое» и т. д.

Такое противопоставление характерно также для именной суффиксации других индоевропейских языков, ср.: англ. *examiner* и *examinee*, *trainer* и *trainee*, *devisor* и *deviser*, *legator* и *legatee*; русск. *обвинитель* и *обвиняемый*, *делитель* и *делимое*; франц. *tuteur* и *tué* ⁷.

Большинство существительных, содержащих семы пассива, невозможно представить как один из членов простой бинарной оппозиции. Оппозицию «агенс — пациенс» в словообразовании можно сравнить с грамматической оппозицией I — причастие II — причастие I, относящейся, как указывает Е. И. Шендельс, к совмещенным (многоплановым), где противопоставление совершается одновременно по двум признакам — по залоговому признаку и по видовременному признаку ⁸. Противопоставление производных существительных по признаку активности — пассивности возможно во всех трех временных ступенях, но наибольшую продуктивность оно обнаруживает в прошедшем времени.

Оппозиция «агенс — пациенс» находит свое отражение в словообразовании трояким способом. Во-первых, данная оппозиция выражается путем противопоставления разных деривационных структур, например, путем противопоставления моделей с суффиксами *-er/-ling* в немецком языке, *-er*, *-or/-ee* в английском и *-eur/-é* во французском. Во-вторых, такая оппозиция может иметь место в рамках одной суффиксальной модели, например, нем. *Schreiber* «1) пишущий (письмо), 2) писарь; секретарь; переписчик» и *Einschreiber* «(разг.) заказное письмо», *Näher* «портной» и *Abnäher* «выточка»; ср. далее: *Aufkleber* «наклейка, этикетка, ярлык», *Vorleger* «коврик (перед дверью, кроватью)», *Schieber* «(тех.) заслонка, шибер; задвижка» и т. д. В-третьих, оппозиция «агенс — пациенс» может возникнуть даже между разными лексико-семантическими вариантами одной лексемы, например, нем. *Einsetzer* «1) загрузчик печи (рабочий) и 2) добавочный вагон (вводимый в действие в часы пик или на особенно загруженной линии)»; англ. *agistor* «1) арендатор луга или пастбища и 2) сдающий в аренду луг или пастбище», *seller* «1) торговец, продавец и 2) ходкий товар; ходкая книга», *reader* «1) читатель и 2) хрестоматия; сборник тек-

⁷ См.: Н. M a r c h a n d, The Categories and Types of Present-day English Word-Formation. A Synchronic — Diachronic Approach, Wiesbaden, 1960, стр. 210; П. М. К а р а щ у к, Аффиксальное словообразование в английском языке. М., 1965, стр. 21.

⁸ Е. И. Ш е н д е л ь с, Многочисленность и синонимия в грамматике, М., 1970, стр. 7.

стов для чтения». Залоговую оппозицию в рамках одной модели и тем более в рамках одной лексемы следует считать явлением периферийным, т. е. исключением, возникающим в результате сложных семантических переходов и переносов в смысловой структуре производных лексем.

Значение состояния (статива) занимает в разных суффиксальных моделях неравное положение. В большей степени оно характерно для моделей «причастие II + *-heit*» и «адъективированное причастие + *-heit*». Суффикс *-heit* обнаруживает высокую продуктивность в образовании существительных от адъективированных причастий, которые обычно выражают законченное действие в виде атрибутивного признака, ср. *Abgeklärt-, Abgelegen-, Abgeschieden-, Abgeschlossen-, Abgebrüht-, Gehobenheit*. Модель «причастие II + *-heit*» также высокопродуктивна. Соответствующие производные обозначают состояние лица, предмета или явления как результат действия, выраженного производящей основой, ср.: *Eingeengt-, Entbunden-, Entleert-, Entlarvt-, Entstellt-, Ergriffen-, Erregtheit* и т. д. Статив как разновидность значения результата действия, является одним из регулярных значений модели с суффиксом *-ung*, например, *Entzückung, Erbitterung, Erstarrung, Bestürzung* и т. п. Статальное значение часто коррелирует в семантической структуре производных со значением определенного действия, ср.: *Erregung* «1) das Erregen, 2) das Erregtsein, der Zustand des erregten Gemütes», *Bedrückung* «1) das Bedrücken, 2) Niedergeschlagenheit». Значение состояния присуще также производным с суффиксом *-nis*: *Bedrängnis, Besorgnis, Betrübnis* и т. п. Производные с *-ung* нередко являются синонимами абстрактных производных существительных с суффиксом *-heit*. Синонимичность статива (*sein* + причастие II) и производных с *-heit* или с *-ung* легко подтвердить примерами из художественной литературы. Отсутствие производного с *-heit* от причастия II или с *-ung* компенсируется субстантивацией статива в инфинитиве, ср.: «Das alles macht den Eindruck äußerster Verlorenheit, eines hoffnungslosen Ausgestoßenseins, von bitterer Trostlosigkeit» (G. Weisenborn, Memorial).

К а т е г о р и я в р е м е н и. Категории времени, залога и вида оказываются в словообразовании, как и в грамматике, взаимосвязанными, а в паиенсе они нередко друг от друга неотделимы. Временное значение характерно как для агенса, так и для пациенса. Однако в агенсе время, вид и залог не обнаруживают тесных и сложных взаимосвязей, которые свойственны пациенсу. Если время, вид и залог неразрывно связаны между собой в семантике пассива и статива, что обусловлено семантико-синтаксическим признаком переходности, то в агенсе в качестве основного скрытого регулятора временной характеристики производных выступает признак производящих глагольных основ «предельность — непредельность». Существительные с суффиксами *-er* и *-ling*, образованные от предельных глаголов, могут обозначать лица, являющиеся авторами, исполнителями действий, относящихся к прошедшему времени, которые в трансформе эксплицируются перфектной формой глагола, что характерно также для других индоевропейских языков. На сохранение временных и аспектуальных значений исходного глагола в смысловой структуре соответствующих производных существительных английского языка указывает, в частности, Б. Стрэнг⁹. Ср. нем. *Ankömmling* «der Neugekommene», англ. *new-comer* «one, who has lately come», франц. *nouveau venu*, русск. *пришелец* «п р и ш л ы й, чужой, не местный человек»; нем. *Emporkömmling* «jemand, der sich aus kleinen Anfängen emporgehabet hat», англ. *upstart* «one who has risen suddenly, as from

⁹ В. М. Н. Стрэнг, Aspects of the History of the *-er* Formant in English, «Transactions of the Philological Society», Oxford, 1970.

humble position to wealth», франц. *parvenu* «personne qui s'est élevée au-dessus de sa condition», русск. *выскочка* «человек, не по заслугам вьдывшийся на службе или в жизни, занявший высокое положение в обществе»; нем. *Flüchtling* «jemand, der vor jemandem, etwas geflüchtet ist und dabei alles verloren hat», франц. *réfugié* «qui a quitté son pays pour éviter des persécutions», русск. *беженец* «человек, покинувший место жительства вследствие войны, стихийных бедствий и т. п.», ср. далее семантические интерпретации: нем. *Überläufer, Sieger, Verbrecher, Mörder, Schädiger, Schänder, Attentäter, Entdecker, Vorgänger*, русск. *беженец, предатель, перебежчик, выходец, убийца, посланец, новобранец, погорелец* и т. д. В залоговой оппозиции они противопоставляются субстантивированному причастию прошедшего времени, например, *Sieger* «победитель», и *der/die Besiegte* «побежденный», *Mörder* «убийца» и *der/die Ermordete* «убитый» и т. п. В составе существительных, образованных от непереходных глаголов, суффикс *-ling* лишается своего обычного пассивного значения и обозначает лицо, выполнившее то или иное действие, ср. *Ankömmling, Emporkömmling* и др.

В большинстве случаев существительные с агентивным значением эксплицируются в трансформах глагольной формой настоящего времени. Поскольку презенс, как и другие временные формы немецкого языка, многозначен, необходимо подчеркнуть, что не все его значения отражаются в производных существительных. Трансформы отглагольных производных содержат вневременной презенс, а именно качественнейший презенс. Е. И. Шендельс выделяет в качественном презенсе два ведущих признака: 1) презенс обозначает действие или состояние, приписываемое данному субъекту как его качество, свойство; 2) постоянство глагольного признака — действие не мыслится как соотнесенное с каким-либо определенным моментом речи, а представляется неким постоянным признаком..., независимым от момента речи. «В этом значении, — пишет Е. И. Шендельс, — глагол теряет свой динамический характер, мы не представляем себе данного действия как заключенного в какой-то хронологической рамке, мы не думаем о протекании действия вообще»¹⁰. Идеальной формой отражения качественного презенса в словообразовании являются производные со значением лица — носителя определенной профессии: *Gießer, Lehrer, Träger* и т. д., и существительные, характеризующие лицо по его тем или иным качествам, склонностям, привычкам и т. п., например, *Grübler, Raucher, Sinnierer, Spaßer, Streber, Trinker, Nörgler, Zänker*. Предложения с качественным презенсом, выраженным неопределенным глаголом и предикативом, образованным от такого глагола, входят в один синонимический ряд. Например, предложения *Er ist ein Trinker* и *Er trinkt* являются структурными репрезентантами единой глубинной структуры, т. е. семантической модели «носитель признака — признак»¹¹.

Иногда одно и то же производное может служить обозначением лица по профессии или оставить профессиональный — непрофессиональный характер действия невыраженным. В первом случае трансформа производного содержит презенс качества, во втором — перфект. Производное со значением лица — носителя профессии употребляется в качестве предикатива без уточнителей, в то время как производное во втором значении не способно функционировать в предложении без объекта действия, ср.: «*Übersetzer* 1) jemand, der beruflich Bücher u. ä. übersetzt (Er ist Übersetzer); 2) jemand, der ein Buch u. ä. übersetzt hat (Er ist Übersetzer dieser Erzählung)».

¹⁰ Е. И. Шендельс, указ. соч., стр. 55.

¹¹ О. И. Москальская, Проблема системного описания синтаксиса, М., 1974, стр. 41.

К а т е г о р и я в и д а. Аспектуальность в именном словопроизводстве представлена в классе имен действия в виде оппозиции «единичность — итеративность» и в виде многомерной оппозиции «агэнс — пациенс» в рамках других имен существительных. Наряду с факторами стилистического порядка существования оппозиции «единичность (т. е. единичный акт действия) — итеративность (повторяющееся действие)» стремление к передаче разнообразных оттенков аспектуальности является основной причиной обилия однородных и близких в ономаσιологическом отношении однокорневых аффиксальных производных, ср. *Schießen* — *Geschieße* — *Schießerei* — *Schuß*. Производные *Geschieße* и *Schießerei* «перестрелка, беспорядочная стрельба; пальба» противопоставляются существительному *Schuß* «выстрел». Существительные, образованные от основ претерита, причастия II и так называемые «имплицитные»¹² производные выражают единичный акт действия, между тем как соответствующие однокорневые производные с аффиксами *-ei*, *-erei*, *-elei*, *Ge...e* обозначают длительные или повторяющиеся действия с оттенком негативной оценки, например, *Schrei* «крик» — *Schreierei* «(несмолкаемый) крик», *Lauf* «бег, пробег» — *Lauferei* «беготня», *Frage* «вопрос» — *Fragerei* «(вечные) расспросы» и *Gefrage* «бесконечные расспросы» и т. д. Некоторые языковеды связывают аспектуальные различия с различиями существительных в роде. Например, существительные мужского рода имеют тенденцию к выражению единичных действий, а существительные женского рода — к выражению повторяющихся действий¹³. Итеративность может коррелировать с неотмеченным в видовом отношении производным, например, *Jagd* «погоня» — *Jagerei* «спешка, суета, беготня», *Rede* «речь; разговор; выказывание» — *Rederei* «пустые разговоры, болтовня», *Fahrt* «езда; поездка; путешествие» — *Fahrerei* «беспорядочная езда». Особо выделяется в видовом отношении группа отглагольных существительных с суффиксом *-er*, обозначающих мгновенные, однократные действия, которые не имеют однокорневых коррелятов с итеративным значением: *Ächzer* «вздых», *Ab-rutscher* «(спорт.) срыв (при броске, ударе)», *Schnäpperer* «(боковой) удар (в бильярде)», *Schubser* «толчок, пинок», *Schnalzer* «щелчок» и т. д.

Сложное переплетение различных грамматических значений находим в оппозиции «агэнс — пациенс». Особенно сложна семантическая структура пациенса. Вид, время и залог образуют неразрывное единство. Однако здесь необходимо дифференцировать свернутые или компрессированные грамматические значения, с одной стороны, и имплицитные или скрытые значения, с другой. Категория залога — категория свернутая, сжатая до своего структурного минимума, категория вида — категория «сопряженная», она находит свое выражение через залоговую оппозицию «агэнс — пациенс». Категорию времени в словопроизводстве можно было бы назвать имплицитной, скрытой, потому что нет каких-либо аффиксальных моделей с темпоральным значением, как это имеет место, например, с категорией залога, репрезентируемой словообразовательными структурами. Значение «агэнса — пациенса» или значение одного из членов данной оппозиции составляет структурное значение словообразовательных моделей, в то время как нельзя указать на аффиксальные модели со структурным значением времени. Если даже временное значение производных существительных выявляется в их трансформах, они выражаются через предель-

¹² W. F l e i s c h e r, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig, 1976.

¹³ H. B r i n k m a n n, Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung, Düsseldorf, 1962, стр. 25—26; В. Е. Я р н а т о в с к а я, Взаимодействие морфологических категорий и лексико-семантическая характеристика существительных в немецком языке. ДД, Л., 1970.

ность глаголов или через видовое значение. Так, сема результативности в семантической структуре производных существительных имплицитно одновременно прошедшее время и результативность, причем, как правило, выступает в сопряжении со значением пациенса, так как пациент обычно представляет собой предмет или явление, возникшее как результат действия, чьей-либо деятельности или реже как результат их перехода из одного состояния в другое. Трансформы таких производных всегда содержат глагол в перфектной форме пассива или причастие прошедшего времени. Высказанное положение в равной мере распространяется и на некоторые другие индоевропейские языки. Ср. следующие лексикографические интерпретации: нем. *Schmelze* «durch Schmelzen entstandene Flüssigkeit», англ. *smelting* «smelted metal», нем. *Biß* «die durch Beißen verletzte Stelle am Körper», англ. *bite* «a wound made by biting», франц. *piqûre* «petite blessure faite dans les fruits...», русск. *укус* «укушенное место»; нем. *Präparat* «etwas kunstgerecht Vorgebereitete», англ. *preparation* «1) state of being prepared, or made ready; 2) that which is prepared», франц. *préparation* «chose préparée», русск. *препарат* «часть животного или растительного организма, специально приготовленная для исследования»; нем. *Kratzer* «durch Kratzen entstandene Wunde», англ. *scratch* «a mark or injury produced by scratching, as a slight, superficial wound», франц. *égratignure* «blessure faite en égratignant», русск. *царапина* «неглубокая длинная ранка, нанесенная чем-нибудь тонким, острым». Ср. далее лексикографические толкования: нем. *Sämling*, *Kondensat*, *Abdruck*, *Abguß*, *Aufschrift*, *Gewebe*, *Findling*, *Riß*, *Bruch*, *Einsprengsel*, *Backwerk*, *Ausgabe*, *Schmiererei* и др.; англ. *seedling*, *condensate*, *imprint*, *inscription*, *foundling*, *clef*, *fissure*, *break* и т. д.; русск. *саженец*, *саженец*, *конденсат*, *отпечаток*, *надпись*, *трещина*, *метка*, *насечка*, *отливка*, *литье*, *пачкотня* и мн. др.

Итак, изоморфизм между грамматикой и словообразованием может быть интерпретирован в том смысле, что функционирование словообразовательных моделей и грамматических категорий лексически обусловлено. Правда, словообразовательная модель подвержена ограничительному воздействию со стороны лексического материала в большей степени, чем грамматическая категория. Между способностью модели функционировать в качестве «сателлита» грамматических категорий и ее продуктивностью существует определенная зависимость. Как правило, в качестве периферийных средств выражения грамматических значений выступают продуктивные и высокопродуктивные деривационные модели, например, *-er/-ling* в немецком и *-er*, *-or/-ee* в английском, суффиксы прилагательных *-bar-*, *-lich*, *-abel*, *-ibel* в немецком и *-able* в английском и т. п. Изучение взаимодействия словообразования и грамматических категорий приводит к конструированию сопряженных, осложненных грамматической семантикой деривационных категорий, которые не могут быть локализованы на одной плоскости со многими другими словообразовательными категориями.

Грамматические свойства производящих основ могут дать «рефлексы» в производных именах в том случае, если между производящей и производной основами сохраняются достаточно четкие мотивационные отношения. Однако отражение грамматических категорий производящих основ в производных — явление нерегулярное, и последние не способны к более или менее последовательному выражению грамматических категорий соответствующих частей речи. Как было показано выше, производное слово претерпевает сложные семантические изменения и иногда одна и та же словообразовательная модель совмещает в себе полярные грамматические значения. Словообразовательная модель, копируя те или иные грамма-

тические категории, может выразить лишь отдельные оттенки грамматических значений. Так, отглагольные прилагательные с суффиксами *-bar*, *-lich* и т. п. указывают на возможность чего-либо быть подвергнутым действию, выраженному соответствующим глаголом. Они выражают значение пассивности в сочетании с модальным значением — значением возможности, между тем как грамматическая категория модальности характеризуется исключительным многообразием значений и несравненно богаче, сложнее и динамичнее.

Тезис о том, что словообразование занимает промежуточное положение между грамматическим строем языка и его словарным составом, цитируется часто декларативно, и при этом сущностные, глубинные связи между грамматикой и словообразованием остаются в тени. До сих пор слишком много внимания уделялось лексическому аспекту словообразования, в то время как изучение грамматических свойств словообразования носило случайный, бессистемный характер.

БРЫКОВСКИЙ К. С.

О СИСТЕМНО-ПАРАДИГМАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ И ОСЛОЖНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

1. Наиболее актуальными проблемами при анализе соответствующих друг другу синтаксических конструкций, выражающих, несмотря на структурные различия, аналогичные комплексы значений, являются проблема факторов, определяющих их выбор, и проблема их синонимичности. Первая проблема намного сложнее, так как ее решение обусловлено предварительным выяснением проблем специфики этих конструкций, их классификации, их минимальных единиц, комплексов их значений, их грамматических категорий, их парадигматики, взаимодействия грамматики и лексики в их сферах, организации СПП¹ и ОП² минимальной и усложненной конструкции³.

В рамках статьи невозможно полное освещение этих проблем, поэтому в большинстве ее разделов дано лишь сжатое изложение результатов исследования более 25 000 соответствующих друг другу СПП и ОП, широко распространенных почти во всех функциональных типах, ср. например, «односубъектные» СПП с дополнительной (пр. 1) и уступительной (пр. 5) подч. частями с соответствующими им ОП (пр. 2 и 6).

1) *Ich freute mich, daß ich eine so schöne Gefährtin gefunden hatte* (A. Seighers, *Überfahrt*, 27).

2)... *freute er sich, gute Kameraden gefunden zu haben* (B. Apitz, *Nackt unter Wölfen*, 37).

Такие соответствия наблюдаются и в сфере «разносубъектных» предложений (пр. 3 и 4), что свидетельствует о том, что учет только признака «одно-разносубъектности» недостаточен при выборе СПП или ОП⁴.

¹ В статье приняты следующие сокращения: ВС — выделяемое слово (см. 5.3.1.); ГК — грамматическая категория; ОП — осложненное предложение; ОР — основная разновидность СПП или ОП как минимальная синтаксическая единица-конструкция (см. 5.); осн., подч. часть — основная, подчиненная часть; пр. — пример; СПП — сложноподчиненное предложение; «Гр70» — «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970; DaF — журнал «Deutsch als Fremdsprache»; ND — газета «Neues Deutschland»; ZPSK — «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung».

² О термине «осложненное предложение» для предложений с обособленными оборотами см.: А. Г. Руднев, Синтаксис современного русского языка, М., 1963, стр. 182, 132—258. Принимая этот термин, нельзя согласиться с отнесением к ОП также предложений с однородными членами, вводными словами и обращениями, какое наблюдается даже в самых последних работах; см., например: Р. Н. Попов, Д. П. Валькова, Л. Я. Маловицкой, А. К. Федоров, Современный русский язык, М., 1978, стр. 297, 376—380.

³ В. А. Белошапкина, Сложное предложение в современном русском языке, М., 1967, стр. 58.

⁴ К. С. Брыковский, Придаточные предложения следствия и соответствующие им обособленные обороты в современном немецком языке, «Вестник МГУ», 1969, 4, стр. 57; K. S. Br u k o w s k i, Über den Gebrauch von Nebensätzen und abgesonderten Wortgruppen in der deutschen Gegenwartssprache, DaF, 1970, 4, стр. 267—268.

3) Die Mundart *reicht heute... nicht einmal mehr aus*, um sich mit allen Bewohnern des Dorfes... zu verständigen (ZPSK, 1—3/1974, 100).

4) Jetzt ist es ohnehin *zu dunkel*, um ihre (der Blumen) zarte Schönheit zu erkennen (F. Erpenbeck, Gründer, 201).

2. СПП и ОП как целостные конструкции ⁵ выражают: (а) значения, отражающие отношения между их частями, например, значения времени, цели и т. д., (б) типовые значения структурно-семантических типов/подтипов осн. и подч. частей т и п о в ы х р а з н о в и д н о с т е й СПП и ОП (см. 5.2), (в) категориальные грамматические значения частей. Эти значения вступают в рамках форм и регулярных реализаций ОР (см. 8) в сложные взаимоотношения.

3. ОП свойственны (ср. пр. 1 и 2,5 и 6) признаки, характерные и для СПП: наличие осн. и подч. частей (1), идентичность отношений между ними (2), интонационного оформления ⁶ (3), структуры осн. частей (4), способность выражать идентичные комплексы значений (5), наличие в некоторых СПП и ОП одних и тех же союзов (6). Эти признаки отличают ОП от простых предложений.

5) *Obwohl er Mathematiker war*, erwarb er... erstaunliche Kenntnisse... in der theoretischen Linguistik... (ZPSK, 1/1970, 111).

6) *Obwohl längst Rentnerin*, betreut sie... die Kinder der Bauern (ND, 24 IV 1966, 1).

Отсутствие в подч. частях подлежащих (7), личных форм глаголов (8) и употребление в роли стержневых слов единичных форм слов ⁷ (9), обуславливающее ограниченные возможности ОП в выражении категориальных грамматических значений (10), меньший объем систем форм (11, см. 8.2) и незначительное количество регулярных реализаций (12, см. 8.3) не позволяют отнести ОП в класс СПП. ОП представляют собой особую подсистему ⁸ в синтаксической системе немецкого языка, характеризующуюся ограниченной полипредикативностью. Подсистемы СПП и ОП сосуществуют в системе языка, взаимно дополняя друг друга, причем их реализации не переходят в процессе коммуникации друг в друга, не выводятся друг из друга и не заменяются друг другом (см. 4). Впервые ОП как самостоятельную систему описал А. Г. Руднев ⁹. В грамматиках немецкого языка, в которых подч. части СПП и ОП описываются обычно изолированно от основных, игнорируются либо признаки 1—6 и ОП рассматриваются как простые предложения ¹⁰, либо признаки 7—12, и тогда ОП описываются в разделе о СПП ¹¹.

4. Незаработанность проблемы ОП объясняется тем, что вместо преодоления беккеровского логицизма (какой мы находим у О. Базлера ¹²)

⁵ В. А. Белошапкина, Современный русский язык. Синтаксис, М., 1977, стр. 158—166, там же указаны и другие работы о целостности и полипредикативности СПП.

⁶ E. Stock, Ch. Zacharias, Deutsche Satzintonation, Leipzig, 1973, стр. 146—158; А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1938, стр. 373—392.

⁷ В работе принята концепция форм слова В. В. Виноградова, см.: «Русский язык», М., 1947, стр. 34—38.

⁸ См.: В. М. Солнцева, Язык как системно-структурное образование, М., 1977, стр. 20, 86 и др. СПП и ОП не следует рассматривать как конкурирующие конструкции (см., например: G. Kaufmann, Die indirekte Rede und mit ihr konkurrierende Formen der Redeerwähnung, München, 1976).

⁹ А. Г. Руднев, указ. соч., стр. 132—258.

¹⁰ См.: Е. В. Гулыга, М. Д. Натанзон, Синтаксис современного немецкого языка, М.—Л., 1966, стр. 60—96.

¹¹ G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik, Leipzig, 1972, стр. 562—569.

¹² O. Basler, Grammatik der deutschen Sprache, Leipzig, 1937, стр. 193—228, 234—251.

и младограмматизма в немецкой грамматике в 60-х годах наблюдалось увлечение генеративной грамматикой, несостоятельность философской базы которой определила искаженное описание языковых явлений¹³. Одним из таких искажений является трактовка ОП как предложений с «трансформированными» подч. частями, как «вторичных трансформов», полученных путем «сокращения»¹⁴. На самом деле здесь имеет место не преобразование, а вхождение СПП и ОП в синтаксический ряд, объединяющий единицы общей семантики, но разной структуры¹⁵. Поэтому трактовка многих конструкций как «вторичных», «преобразованных», «порожденных» ведет к нежелательным искажениям общей картины синтаксических связей и взаимоотношений¹⁶. При таком мнимо динамическом описании основная проблема факторов, определяющих выбор СПП или ОП, подменяется проблемой возможности/невозможности замены одних подч. частей другими, проблемой, которая иногда неправомерно гипостазирована.

Неприемлемо и крайне упрощенное понимание генеративистами проблемы вероятности, при котором допускаются только две вероятности, выражаемые знаками «плюс — минус»¹⁷. Такой подход объясняется стремлением механистически привнести математическое понятие точности в языкознание¹⁸. Анализ СПП и ОП показал, что их употребительность колеблется в диапазоне градаций шкалы «всегда — часто — неопределенно — редко — никогда» (см. 10).

Недостатки генеративной грамматики усугубляются пренебрежительным отношением ее сторонников к языковому материалу. Их работы содержат только примеры, составленные их авторами на основе собственной «компетенции»¹⁹, что ведет к некорректному описанию языка (см. 7).

5.1. Первой ключевой проблемой мы считаем проблему минимальных единиц-конструкций СПП и ОП. Эта проблема рассматривается лишь в немногих работах по немецкой грамматике²⁰ и пока еще не получила дос-

¹³ См., например: Н. Д. Андреев, Хомский и хомскианство, «Философские основы зарубежных направлений в языкознании», М., 1977, стр. 257—283; О. С. Ахманова, Естественный человеческий язык как объект научного исследования, «Ин. яз. в шк.», 1969, 2, стр. 6—17; В. М. Солнцева, указ. соч., стр. 290—306; Ф. П. Филин, О специальных теориях в языкознании, ВЯ, 1978, 2, стр. 17—25.

¹⁴ «Skizze der deutschen Grammatik», von einem Autorenkollektiv, Leitung W. Flämig, Berlin, 1972, стр. 281—282, 327—331. См. также: G. Helbig, J. Vusch, указ. соч., стр. 565—572.

¹⁵ Н. Ю. Шведова, О соотношении грамматической и семантической структуры предложения, «Славянское языкознание. VII съезд славистов», М., 1973, стр. 465.

¹⁶ Н. Ю. Шведова, Место семантики в описательной грамматике, «Грамматическое описание славянских языков», М., 1974, стр. 107.

¹⁷ См.: Н. Д. Андреев, указ. соч., стр. 280—282.

¹⁸ См.: Р. А. Будагов, Что такое развитие и совершенствование языка?, М., 1977, стр. 236—237; его же, Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени, М., 1978, стр. 5—44.

¹⁹ См., например: G. Helbig, J. Vusch, указ. соч., стр. 18 и др.; см. также: G. Helbig, Geschichte der neueren Sprachwissenschaft, Leipzig, 1970, стр. 297—302.

Следует отметить, что на базе понятия «лингвистическая компетенция» создано понятие «коммуникативной компетенции», на основе которого строятся буржуазные социальные теории. Критику этих теорий см., например, в сб. «Социальная философия франкфуртской школы», ред. колл. Б. Н. Бессонов, И. С. Нарский, М. В. Яковлев, М., 1978, стр. 46—55, 146—152, 304 и сл. Критику «коммуникативной компетенции» см. также в статьях: W. Hartung, Kritische Anmerkungen zur Rolle der Kommunikation in der Gesellschaftstheorie von Jürgen Habermas, «Linguistische Studien», Reihe A 8, Berlin, 1974, стр. 85—95; H. Langner, Zum Begriff der kommunikativen Kompetenz in der bürgerlichen Linguistik, «Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule Karl Liebknecht», Potsdam, 1976, 5, стр. 657—669.

²⁰ См.: Е. В. Гулыга, М. Д. Натанзон, указ. соч., стр. 177—192; Е. В. Гулыга, Теория сложноподчиненного предложения в современном немецком языке, М., 1971, стр. 133—172; О. И. Москальская, Теоретическая грамматика современного немецкого языка, М., 1975, стр. 332—337.

таточно обоснованного решения. Вопрос же о минимальных единицах-конструкциях ОП не ставился до сих пор вообще. На наш взгляд, эта проблема может быть решена на основе принципов структурно-семантической классификации СПП, разработанных в трудах Н. С. Поспелова, В. А. Белошапковой и их учеников, учения А. И. Смирницкого о типах сказуемого, учения о грамматических категориях, разработанного советскими лингвистами, среди которых особо следует назвать А. И. Смирницкого и А. В. Бондарко, а также на основе концепций Н. Ю. Шведовой и Г. А. Золотовой о структурных схемах предложений, их парадигматике, о формах и регулярных реализациях структурных схем предложений.

5.2. Выделение ОР как минимальных единиц-конструкций осуществляется путем шести операций.

(I) К л а с с ы и (II) ф у н к ц и о н а л ь н ы е т и п ы выделяются на основе отношений между частями СПП и ОП. В класс п р и с л о в н ы х СПП входят СПП с приглагольными дополнительными и СПП с присубстантивными определительными подч. частями. Класс п р и с л о в н ы х ОП образуют соответствующие функциональные типы ОП. В класс д е т е р м и н а н т н ы х СПП входят СПП с причинными, следственными, условными, уступительными, целевыми, временными, модальными и сравнительными подч. частями. Соответствующие им ОП образуют класс д е т е р м и н а н т н ы х ОП.

(III) П о д т и п ы о д н о - и р а з н о с у б ь е к т н ы х СПП и ОП необходимо различать для установления соответствий с ОП, характеризующихся весьма строгой регламентацией субъектно-объектных отношений.

(IV) В и д ы СПП выделяются в рамках функциональных типов на основе союзов и союзных слов.

(V) Т и п о в ы е р а з н о в и д н о с т и выделяются на основе отнесенности осн. и подч. частей к структурно-семантическим типам/подтипам (см. ниже).

(VI) О с н о в н ы е р а з н о в и д н о с т и (ОР) СПП и ОП выделяются в рамках типовых разновидностей на основе отнесенности о п о р н ы х или в ы д е л я е м ы х с л о в (далее — ВС) к определенным лексико-грамматическим классам слов с обобщенной семантикой²¹.

5.3.1. Основой выделения структурно-семантических типов частей²² СПП и ОП является тип сказуемого и ряд характеристик ВС, т. е. слов, несущих основную коммуникативную нагрузку²³, занимающих в предложении, произнесенном в нейтральном тоне, последнее место в ряду членов предложения²⁴ и несущих самое сильное ударение (Kernakzent — в первой части СПП или ОП, Hauptkernakzent — во второй²⁵). В осн. частях детерминантных предложений ВС (в пр. 7 *steif und vorsichtig*, в пр. 8 *leise*) обуславливают употребление подч. частей, хотя подч. части и не относятся непосредственно к ним.

7) Er setzt die Beine *steif und vorsichtig*, damit er sein Glück nicht zertut (E. Strittmatter, Tinko, 11).

²¹ «В синтаксисе „работают“ не значения отдельных слов, а семантические категории — результат более высокой абстракции» (Г. А. З о л о т о в а, О регулярных реализациях моделей предложения, ВЯ, 1969, 1, стр. 68).

²² К. С. Б р ы к о в с к и й, Придаточные предложения следствия..., стр. 47—57.

²³ ВС в нашем понимании имеют общие черты со «смысловыми словами» Э. Драха (Sinnwort; E. D r a c h, Grundgedanken der deutschen Satzlehre, Frankfurt a. M., 1937, стр. 15—21).

²⁴ W. S c h m i d t, Grundfragen der deutschen Grammatik, Berlin, 1973, стр. 264—265.

²⁵ E. S t o c k, C h. Z a c h a r i a s, указ. соч., стр. 56, 64—66, 70—71, 76—77.

8) *Leise, um den Genossen nicht zu wecken, öffne ich die Tür* (W. Bauer, *Umkehr des Peter L.*, 7).

Релевантны следующие признаки ВС, в роли которых в присловных предложениях выступают опорные слова: (а) часть речи, (б) синтаксическая функция, (в) отнесенность к определенным лексико-грамматическим классам в рамках частей речи. Такими классами в сфере СПП с дополнительными придаточными предложениями и соответствующих им ОП с инфинитивными оборотами являются 12 классов, в которые объединяются глаголы, наиболее часто употребляющиеся в таких СПП и ОП в роли опорных слов²⁶. Эти классы в значительной степени определяют выбор между СПП и ОП и их грамматические характеристики (см. 7):

I. Глаголы речи: (Ia) «сообщения» (*behaupten, gestehen, sagen*, пр. 14—16, 35—40, 44, 45, 50); (Iб) «обещания» (*versprechen*); (Iв) «обвинения и призывания заслуг» (*beschuldigen, vorwerfen; bescheinigen, zuschreiben*, пр. 12, 13, 30—32); (Iг) «побуждения, разрешения, запрета» (*auffordern, bitten, erlauben, verbieten*); (Iд) «вопроса» (*fragen, sich erkundigen*).

II. Глаголы мыслительной деятельности: (IIa) «мышления» (*begreifen, bedenken, wissen*, пр. 21, 23); (IIб) «воспоминания» (*sich entsinnen, sich erinnern*, пр. 46, 49); (IIв) «намерения» (*beabsichtigen, beschließen*); (IIг) «субъективного мнения» (*annehmen, glauben, hoffen*).

III. Глаголы эмоций (*sich ärgern, bereuen, sich freuen*, пр. 1, 2, 51).

IV. Глаголы восприятия: (IVa) *sehen, hören, fühlen*, от которых может зависеть «винительный с инфинитивом»; (IVб) остальные глаголы восприятия (пр. 22).

Семантические характеристики названных выше признаков определяют типовые значения²⁷ частей СПП и ОП.

5.3.2. В составе СПП и ОП выделяются следующие структурно-семантические типы их частей, что позволяет определить принадлежность СПП и ОП к определенным ОР и установить их соответствие/несоответствие друг другу.

Т и п А с глаголами в роли ВС и с типовым значением «процесса»; пр. 1 и 2 с глаголом класса «эмоций» (III) имеют осн. часть типа АIII и подч. часть типа А, ОР в пр. 1 и 2 имеют состав АIII/А и соответствуют друг другу (в СПП и ОП с присловными частями нужно учитывать и класс глаголов).

Т и п Б с обстоятельствами образа действия в роли ВС и типовым значением «особого характера действия», пр. 7 и 8 с целевыми подч. частями имеют осн. части типа Б (ОР — Б/А).

Т и п В с обстоятельствами времени/места в роли ВС и типовым значением времени или места действия, см. пр. 9 с осн. частью типа В и подч. частью типа И (ОР — В/И).

9) *Effi war den ganzen Tag draußen im Park, weil sie das Luftbedürfnis hatte* (Th. Fontane, *Effi Briest*, 354).

Т и п Г с *so* или *wie* в роли ВС и типовым значением «особого характера протекания действия», см. пр. 10 с осн. частью типа Г и подч. частью типа А (ОР — Г/А).

10) *Ich setzte mich so, daß ich mein Geld beobachten konnte* (E. M. Remarque, *Die Nacht von Lissabon*, 128).

Т и п Д с *viel, wenig* в роли ВС и количественным типовым значением, см. пр. 11 с подч. частью типа Д.

²⁶ К. С. Брыковский, Zum Problem der systemhaft-paradigmatischen Erforschung der einander entsprechenden Satzgefüge und Sätze mit abgesonderten Wortgruppen, ZPSK, 1978, 3, стр. 237 и сл.

²⁷ См.: Г. А. Золотова, Очерк функционального синтаксиса русского языка, М., 1973, стр. 25 и сл.; В. М. Солицев, указ. соч., стр. 296—301.

11) Obwohl er nur *wenige* Stunden geschlafen hatte, befand er sich in seiner besten Laune (B. Kellermann, Der Tunnel, 59).

Т и п Е с именами существительными в роли ВС и типовым значением «отнесенности к классу лиц, предметов», см. пр. 5 и 6 с уступительными подч. частями типа Е, пр. 12 и 13 с осн. частями типа АIв и подч. частями типа Е (ОР — АIв/Е).

12) ... hat man... gelächelt, wenn uns *vorgeworfen wurde*, wir seien *Revanchisten* (ND, 18 XI 1970, 7).

13) Ihr sei *vorgeworfen worden*, ein Kurier der Patriotischen Front zu sein (ND, 24 XI 1977, 7).

Т и п Ж с именами прилагательными в роли ВС и типовым значением «признака», см. пр. 14 и 15 с осн. частями типа АIа и подч. частями типа Ж (ОР — АIа/Ж).

14) Sie mußte sich *gestehen*, daß sie einen Augenblick *ratlos war* (W. Steinberg, Wasser aus trockenen Brunnen, 123).

15) ... *gesteht* er, zwar manchmal *froh*, aber noch nie *glücklich* gewesen zu sein (DDR Revue, 10/1962, 44).

Т и п И с объектными сказуемыми (*haben, besitzen* и др. + имя существительное)²⁸ в роли ВС, см. пр. 9 с подч. частью типа И и пр. 16 с осн. частью типа АIа и подч. частью типа И (ОР — АIа/И).

16) ... *behauptete* er, kein *Geld zu haben* (Remarque, Obelisk, 324).

Т и п К с *es gibt, vorhanden sein* в роли ВС и типовым значением «наличия чего-либо», см. пр. 17 с осн. частью типа К и подч. целевой частью типа Б (individuell, ОР — К/Б).

17) In den Salons *gibt es mehrere* Bufetts, um die einzelnen Kollektive *individuell* bedienen zu können (ND, 14 V 1976, 8).

5.3.3. Структурно-семантические подтипы частей СIII и ОП характеризуются наличием при ВС слов *so, wie, genug, zu* и некот. др. Словом *sehr* модифицируются типы А, Б, В, Д, Ж, некоторые из них в свою очередь модифицируются словами *so, wie, zu*; особого внимания заслуживают подтипы А и Е (см. 10 и 11 строки схемы). Все эти подтипы играют необычайно важную роль в сфере СIII и ОП, так как осн. части определенных подтипов со словами определенных лексико-грамматических классов в роли ВС в значительной степени определяют выбор подч. частей и их характеристики²⁹. Схематично система подтипов может быть представлена следующим образом (цифры в скобках рядом с символами указывают на номер примеров с осн. или подч. частями этих подтипов).

Структурно-семантические типы	Структурно-семантические подтипы с <i>so</i>	<i>wie</i>	<i>genug</i>	<i>zu</i>
Тип А	—	—	А <i>genug</i>	—
Тип Б	Б <i>so</i> (18)	Б <i>wie</i> (21)	Б <i>genug</i>	Б <i>zu</i>
Тип В	В <i>so</i>	В <i>wie</i> (21)	В <i>genug</i> (24)	В <i>zu</i> (27)
Тип Г	—	—	—	—
Тип Д	Д <i>so</i>	Д <i>wie</i>	—	Д <i>zu</i> (28)
Тип Е	Е <i>so</i>	—	Е <i>genug</i> (25)	—
Тип Ж	Ж <i>so</i> (19)	Ж <i>wie</i> (22)	Ж <i>genug</i> (26)	Ж <i>zu</i> (4)
Тип И	—	—	И <i>genug</i>	—
Тип К	—	—	К <i>genug</i>	—
А <i>sehr</i>	А <i>so sehr</i> (20)	А <i>wie sehr</i>	—	А <i>zu sehr</i>
—	Е <i>so sehr</i>	Е <i>wie sehr</i> (23)	—	Е <i>zu sehr</i> (29)

Подтипы с *so* и *wie* имеют типовое значение «очень высокой степени признака, обозначенного ВС». В примерах 18—23 представлены следующие

²⁸ А. И. Смирницкий, Синтаксис английского языка, М., 1957, стр. 112—116.

²⁹ К. С. Брыковский, Придаточные предложения следствия..., стр. 47 и сл.

ОР: Bso/A (пр. 18), Жso/A (пр. 19), Aso sehr/A (пр. 20), A/Bwie Bwie (пр. 21), A/Жwie (пр. 22), A/Ewie sehr (пр. 23).

18) Er dreht sich so heftig um, daß er beinahe stürzt (W. Steinberg, Gladiatoren, 411).

19) Holt war so müde, daß er nur noch Satzketten wahrnahm (D. Noll, Holt, I, 166).

20) Diese Spiele begeisterten die Jugendlichen so sehr, daß viele anfangen, Volleyball zu spielen (B. Fröhner, Volleyball, 8).

21) ... bedachte er, wie oft und wie gern er diesen Weg gegangen war (L. Feuchtwanger, Füchse im Weinberg, 43).

22) ... spürte er, wie müde er war (B. Voelkner, Gerda, 7).

23) Veras Enttäuschung war nur zu verstehen, wenn man wußte, wie sehr sie Ärztin war (H. Kant, Die Aula, 193).

В подтипах с *genug* сообщается о том, что признаки, обозначенные ВС, проявляются в достаточной степени. Пр. 24—26 представляют следующие ОР: Bgenug/A (пр. 24), E genug/A (пр. 25), Ж genug/ЕЖ (пр. 26).

24) Lange genug war ich hier, um mich im Dunkeln auszukennen (H., S. Schumacher, Die Sommerinsel, 119).

25) Ich bin nicht Syntaktiker genug, um eventuelle Gegenargumente widerlegen zu können (Aus einer wissenschaftlichen Diskussion).

26) Sie war... jung genug, um unter seinen Händen bildsames Wachs zu sein (W. Steinberg, Uhren, 121).

В подтипах с *zu* сообщается о том, что признаки, обозначающиеся ВС, проявляются в слишком высокой степени. В пр. 27—29 и 4 представлены следующие ОР: B zu/A (пр. 27), A/Д zu (пр. 28), Ж zu/A (пр. 4), E zu sehr/A (пр. 29).

27) Er sei zu früh gefallen, als daß er sich habe auszeichnen können (W. Joho, Das Klassentreffen, 122).

28) Die Sicherung ist durchgebrannt, weil zu viele Geräte eingeschaltet waren (Von Anton bis Zylinder, 258).

29) ... er war noch zu sehr Mensch, um hier Dienst zu tun (H. Fallada, Jeder stirbt, 419).

5.3.4. Элементарными единицами структурно-семантических типов частей СПП и ОП мы считаем члены предложения, которым присущи соответствующие функциональные, системопроброетенные значения³⁰. Конечно, члены предложения, являясь результатом высокой степени абстракции, не отражают всех характеристик элементов предложения, поэтому оптимальным вариантом решения этого вопроса является, на наш взгляд, концепция синтаксических форм слов Г. А. Золотовой³¹, однако ее применение на практике ввиду недостаточной изученности проблемы лексико-грамматических классов слов в рамках частей речи пока еще затруднено.

6.1. Как видно из разделов 5.3.1. — 5.3.3., системы ОР СПП и ОП довольно велики. В сфере детерминантных предложений при учете только 9 структурно-семантических типов они могут состоять из $9 \times 9 = 81$, а в сфере СПП и ОП с приглагольными подч. частями при учете только 12 лексико-грамматических классов глаголов (см. 5.3.1.) их число может достигать $12 \times 9 = 108$. Еще большим будет объем систем ОР для каждого вида СПП и ОП при учете и структурно-семантических подтипов их частей. Но число употребительных ОР меньше, поэтому очень важно установить системы употребительных ОР для каждого вида СПП и ОП, что может быть осуществлено только индуктивно путем анализа большого по объему языкового материала.

³⁰ См.: В. М. Солнцева, указ. соч., стр. 209—212.

³¹ Г. А. Золотова, Очерк..., стр. 30—123.

Знание состава системы ОР типов и видов СПП и ОП позволяет лучше выявить их специфику и разграничить их. Так, например, крайне редкая употребительность ОР с подч. частями с *so* в СПП с придаточными причины и, напротив, преобладание ОР с осн. частями с *so* в СПП с придаточными следствия (пр. 18, 19, 20) опровергают утверждения, что СПП с придаточными следствия являются производными конструкциями (Ableitungen, Ummarkierungen) от СПП с придаточными причины³².

6.2. Признание ОР минимальными единицами-конструкциями СПП и ОП позволяет точно установить соответствия между конкретными СПП и ОП, способствует эффективности преподавания, так как знание типовых значений и структуры ОР способствует их сознательному употреблению, позволяет конкретизировать понятие структурной схемы ОР СПП и ОП (см. 6.3), является основой решения проблемы взаимодействия лексики и грамматики в плане влияния обобщенной лексической семантики на выбор между СПП и ОП и на их характеристики (см. 7).

6.3. Структурные схемы ОР СПП и ОП характеризуются, помимо признаков, описанных в разделе 3, отнесенностью осн. и подч. частей к структурно-семантическим типам/подтипам, отнесенностью опорных слов в присловных предложениях и ВС в детерминантных к определенным лексико-грамматическим классам слов в рамках частей речи, «одно- и разносубъектностью», определенными системами форм (см. 8.2) и регулярных реализаций (см. 8.3), порядком следования частей.

7. Влияние обобщенных значений лексико-грамматических классов слов на выбор между СПП и ОП и на их характеристики происходит в присловных предложениях через опорные слова. Анализ ОР СПП и ОП с глаголами «сообщения» и «обвинения» (классы Ia и Ib, см. 5.3.1) показал, что с глаголами «сообщения» соответствующие друг другу ОР СПП и ОП организуются при односубъектности, в таких ОР возможны все три типа временного соотношения (см. 8.2), а опорные слова употребляются только в формах актива.

С глаголами «обвинения» организуются преимущественно разносубъектные ОП (180 примеров в нашем материале) и реже СПП (34 примера), в которых возможны не только отношения предшествования (130 ОП и 18 СПП, пр. 31 и 30), как необоснованно утверждает Г. Хельбиг³³, но и отношения одновременности (50 ОП и 16 СПП, пр. 13, 32 и 12). Опорные слова употребляются в таких ОП в формах актива и пассива примерно одинаково часто: 98 случаев с активом (пр. 32) и 82 случая с пассивом (пр. 13 и 31).

30) ... *beschuldigte* er mich, daß ich als Arzt versagt hätte (L. Ludwig, Neuer Vater unerwünscht. 18).

31) *Er wird beschuldigt*, Spionage betrieben zu haben (ND, 22 I 1975, 6).

32) Die Opposition *werfe* ihm vor, die Macht der Millionäre zu *zementieren* (ND, 25 IX 1972, 6).

В детерминантных предложениях такое влияние осуществляется через ВС. Так, например, если ВС осн. частей с целевыми подч. частями входят в классы слов со значениями «достаточности» (*ausreichen*, пр. 3), «необходимости» (*notwendig*, пр. 33), «наличия чего-либо» (*es gibt*, пр. 17) и др., то организуются разносубъектные целевые ОП.

33) Viele Experimente *waren notwendig*, um zur optimalen Lösung zu gelangen (Armee-Rundschau, 1975, 11, 53).

³² См.: «Skizze der deutschen Grammatik», стр. 304.

³³ G. H e l b i g, Zur Verwendung der Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen in der deutschen Gegenwartssprache, DaF, 1973, 5, стр. 291. То же самое утверждается и в книге И. Я. Харитоновой «Теоретическая грамматика немецкого языка. Синтаксис», Киев, 1976, стр. 128.

В сфере предложений со следственными подч. частями оценочный характер прилагательных в осн. частях подтипа *Ж_{so}* определяет организацию ОП с инфинитивными оборотами, а не СПП, как это происходит при отсутствии у прилагательных оценочного значения (ср. пр. 19 и 34).

34) ... er war so eitel, so idealistisch oder so dumm gewesen, sich zum Offizier machen zu lassen (G. de Bruyn, Hohlweg, 253).

8.1. Третью группу значений СПП и ОП (см. 2) составляют категориальные грамматические значения.

В данной статье учитываются ГК (1) времени, (2) временной последовательности³⁴, (3) лица, (4) модальности с тремя частными категориями, содержанием которых являются (4а) объективно-модальные, (4б) субъективно-модальные³⁵ и (4в) дебитативно-потенциально-волеустановочные значения, (5) утверждения/отрицания, (6) целеустановки, (7) коммуникативного задания, (8) персональности, (9) залога. Учитываются также (10) фазные значения, выражаемые фазными глаголами, и (11) значения позитивного/негативного отношения к действию, выражаемые глаголами *sich bemühen*, *versuchen*, *sich weigern*, *zögern* и др.

Члены ГК входят в парадигматические ряды, поэтому все ОР СПП или ОП, которые различаются только членами одной и той же ГК, но сохраняют все признаки структурной схемы ОР, являются формами ОР и образуют ее парадигму.

ОР СПП и ОП с двумя членами ГК целеустановки (специальные вопросы и побудительные предложения), с членами ГК персональности (личные, неопределенно-личные, безличные предложения) и с членами ГК залога различаются своими структурными схемами и не могут рассматриваться как члены парадигмы форм ОР СПП и ОП.

Каждая ОР имеет ряд парадигм для каждой ГК, причем объем парадигм ОР ОП намного меньше объема парадигм ОР СПП. ОР ОП, обладая меньшим числом членов парадигм, не могут выражать ряд категориальных грамматических значений. Необходимость выражения этих значений и является фактором категориальной грамматической семантики, определяющим выбор СПП. Пониманию действия этого фактора способствует различение парадигмы I, в которую входят формы ОР (см. 8.2), и парадигмы II, образуемой регулярными реализациями ОР (см. 8.3).

8.2. Формы ОР СПП и ОП образуют парадигмы модально-временную (ГК 1, 2, 4а), лица (ГК 3), утверждения/отрицания (ГК 5, если отрицание или его отсутствие не является обязательным признаком структурной схемы³⁶), целеустановки (ГК 6, только для повествовательных и вопросительных предложений без вопросительных слов), коммуникативного задания (ГК 7, только для предложений гибкой структуры).

Объемы парадигм форм ОР определяются (1) типами и видами СПП и ОП, например, СПП и ОП с целевыми подч. частями имеют только формы модально-временной парадигмы, отражающие отношение следования действия подч. части за действием основной, (2) особенностями структурных схем ОР, например, лексико-грамматической характеристикой опорных слов в сфере СПП и ОП с приглагольными подч. частями, среди которых есть ОР с полными, например, ОР с глаголами «сообщения» (пр. 36—38) и с неполными модально-временными парадигмами, например, с глаголами «обвинения», имеющими только формы для выражения предшествования (пр. 30, 34) и одновременности (пр. 12, 13, 32).

³⁴ А. И. Смирницкий, указ. соч., стр. 136.

³⁵ См.: «Гр70», стр. 541—545.

³⁶ Н. С. Жигалин, Отношение категории утверждения/отрицания к структурным схемам СПП, «Спорные вопросы синтаксиса», М., 1974, стр. 112—136.

35) Er *erklärte*, daß er eine Uk-Stellung für Altdörfer *erwirkt hätte* (G. Hofé, Roter Schnee, 92).

36) Helgert *erklärte*, daß er diese Stellung für eine Mausefalle *halte* (G. Hofé, Roter Schnee, 412).

37) Beim Frühstück *erklärte* er kurz und bündig, daß er heute eine Radtour *unternehmen würde* (A. Probst, Ich... und Du, 36).

ОР ОП, соответствующие ОР СПП в пр. 35—37, имеют только формы с инфинитивом II и I (пр. 38, 39), но не имеют форм для выражения следования действия подч. части за действием основной, поэтому для выражения этого значения выбираются СПП (пр. 37). ОР ОП возможны, если значение следования выражается лексически или модальными глаголами (пр. 40).

38) Er *erklärte*, seine Wahl *getroffen zu haben* (Th. Mann, 6, 110).

39) In Bonn *erklärt* man, von einer derartigen Studie nichts *zu wissen* («Volksstimme», 4 VIII 1977, 1).

40) Sie *erklärten*, sich ihre endgültige Entscheidung noch *überlegen zu wollen* (W. Bredel, Ein neues Kapitel, 158).

8.3. Разделяя мнение Г. А. Золотовой³⁷, мы относим к регулярным реализациям варианты ОР со средствами выражения субъективно-модальных значений (модальные глаголы с инфинитивами II и I³⁸ *scheinen, glauben* и некоторые другие с инфинитивом), дебитативно-потенциально-волеутивных значений (модальные глаголы, *vermögen, brauchen*, пр. 41, *haben, sein + zu + инфинитив, willens sein + zu + инфинитив*, варианты с фазными глаголами, пр. 42 с *aufhören*), а также варианты с глаголами позитивного/негативного отношения к действию (пр. 42 с *versuchen*). В подч. частях ОП не может быть этих средств (только в инфинитивных оборотах употребляются модальные глаголы, пр. 17, 25, 40), поэтому почти все названные значения могут быть выражены только при помощи СПП.

41) Michael hatte das Romanmanuskript in sein Regenmäntelchen *eingenäht*, damit er es nicht in der Hand *zu tragen brauchte* (L. Frank, 5, 591).

42) Er *versuchte* sich dieses Land *vorzustellen*, ohne daß er *zu horchen aufhörte*, all diese Dörfer, die Straßen und Wege... (A. Seghers, Das siebte Kreuz, 376).

Осн. части ОП могут иметь в своем составе все эти средства, однако наличие в их составе инфинитивов с *zu* препятствует выбору инфинитивных оборотов в качестве подч. частей, поэтому и в этом случае обычно организуются СПП, а не ОП (пр. 43, 44).

43) Und doch verzagen sie nie, *bemühen sich* jedes Problem *zu lösen*, damit sie stets erstklassige Qualität liefern (ND, 8 IV 1967, 11).

44) ... ich *zögere* nicht dir *zu bekennen*, daß ich den Schritt, der mir vier Jahren als klug und heilsam erschien, in dieser Stunde bereue (Th. Mann, 1, 220).

Регулярные реализации ОР также имеют системы форм, но их объем ограничен, так как названные средства не имеют полных систем форм; модальные глаголы не имеют формы инфинитива II, что делает невозможной организацию ОП с модальными глаголами в подч. частях для выражения значения предшествования действия подч. части³⁹, в таких случаях возможны только регулярные реализации СПП (пр. 27 и 45).

45) Jemand *gestand*, daß er eigentlich einen anderen Betrag *habe nennen wollen...* (Th. Mann, 9, 741).

³⁷ См.: Г. А. Золотова, Очерк..., стр. 205—226.

³⁸ О. И. Москальская, Устойчивые словосочетания с грамматической направленностью, ВЯ, 1961, 5, стр. 87—93.

³⁹ К. С. Брыковской, СПП с придаточными с союзом *ohne daß* в современном немецком языке, ФН, 1968, 3, стр. 96.

9. Выше было показано действие факторов лексической семантики (см. 5.3.1., 7), грамматической семантики (см. 8) и структурного фактора (см. 8.3., пр. 41—44), влияющих на выбор между СПП и ОП минимальной конструкции. При организации предложений усложненной конструкции роль структурного фактора возрастает. Если организуемое предложение должно иметь в своем составе две подч. части и обе они могут быть реализованы как обособленные обороты, то обычно одна часть реализуется как придаточное предложение, а другая как обособленный оборот, что позволяет избежать перенасыщения предложения одинаковыми конструкциями (пр. 46, 47, 48). В аналогичных предложениях минимальной конструкции подч. части организуются как обособленные обороты (ср. пр. 46 и 49).

46) ...*sie erinnerte sich sofort, daß sie geträumt hatte, einen Brief von Richard bekommen zu haben* (L. Frank, 6, 346).

47) ... *war er viel zu zurückhaltend, als daß er den Mut gefunden hätte, die Freundschaft einzuleiten...* (Th. Mann, 1, 532).

48) *Jeden Tag nehme ich mir vor, die Karte in den Anorak zu stecken, damit ich sie gleich finde...* (A. Probst, Ich. und Du, 30).

49) *Er erinnerte sich jetzt, erregend und beängstigend geträumt zu haben, von Marie Krüger...* (D. Noll, Holt, I, 5).

10. В разделе 8 было показано, что при помощи СПП могут быть выражены любые комплексы значений, из названных в разделе 2, тогда как ОП не могут выражать некоторые значения. Таким образом, фактор грамматической семантики во взаимодействии с фактором лексической семантики и структурным фактором определяет специфическую вероятность употребления СПП и ОП, характеризующуюся грациями (1) «всегда — никогда», (2) «часто — редко», (3) «неопределенно», (4) «редко — часто», (5) «никогда — всегда» (см. 4). Такая вероятность наблюдается и в сфере употребления всех СПП и ОП, в качестве примера приведем данные о некоторых ОР СПП с дополнительными придаточными предложениями и соответствующих им ОР ОП.

(1) «Всегда» организуются СПП и «никогда» ОП, если в регулярных реализациях ОР с модальными глаголами в подч. частях должно быть выражено значение предшествования действия подч. части действию основной (см. 8.3., пр. 45). Теоретически возможны, но никогда не организуются регулярные реализации ОР ОП со средствами выражения субъективно-модальных, дебитативно-потенциально-волеуказательных значений (кроме модальных глаголов, см. 8.3.), фазных значений и значений позитивного/негативного отношения к действию в подч. частях.

(2) «Часто» организуются СПП с глаголами *sagen, wissen* и др., а также формы ОР СПП для выражения значения следования действия подч. части за действием основной (см. 8.2., пр. 37). «Редко» организуются соответствующие ОР ОП (пр. 50 и 40).

50) *Wagner fühlte Befriedigung..., obgleich er sich... sagte, wirklich nichts anderes beabsichtigt zu haben, als mit ihr über Eva zu sprechen* (W. Reinowski, Die Versuchung, 58).

«Часто» организуются регулярные реализации ОР СПП со средствами перечисленными в пункте (1) этого раздела в основных частях (пр. 42, 43), крайне «редко» организуются соответствующие регулярные реализации ОР ОП (пр. 51).

51) *Sie brauchen es nicht zu bereuen, diese scherzhaft Seite des Lebens unter Kollegen kennengelernt zu haben* (H. Mann, Im Schlaraffenland, 21).

(3) Грация «неопределенно» характеризует употребительность форм ОР СПП для выражения значений предшествования и одновременности с глаголами «сообщения», «эмоций» в роли опорных слов (пр. 1.14) и соответствующих форм ОР ОП (пр. 2, 15, 16, 38, 39).

(4) «Редко» организуются ОР СПП с глаголами «обвинения» и «побуждения» в роли опорных слов, с такими опорными словами «часто» организуются ОП (см. 7, пр. 13, 31, 32).

(5) Пятая пара градаций «никогда» для СПП и «всегда» для ОП невозможна и не наблюдается в языке, поскольку СПП являются более универсальным средством для выражения названных выше значений.

Эти факты еще раз подтверждают, что подсистемы СПП и ОП тесно связаны между собой и взаимно дополняют друг друга.

11. Изложенная концепция позволяет более ясно представить себе специфику синонимии соответствующих друг другу СПП и ОП. Эта специфика состоит в том, что в отличие от лексической синонимии ОР СПП не отличаются от соответствующих ОР ОП какими-либо оттенками значений, названных в разделе 2, что объясняется высокой степенью абстрагированности этих значений.

Уже было отмечено, что СПП и ОП соответствуют друг другу в рамках типов, подтипов, видов только на ступени ОР (см. раздел 5). Поэтому синонимичными могут быть только ОР СПП и ОР ОП с осн. и подч. частями одинаковых структурно-семантических типов/подтипов, т. е. ОР с одинаковыми типовыми значениями их частей, такими ОР являются пр. 1 и 2, 5 и 6, 7 и 8, 14 и 15, 30 и 31, 35 и 38, 37 и 40. Но так как синонимичными являются не ОР вообще, а только их формы и регулярные реализации, в которых выражены одинаковые категориальные грамматические значения, то синонимичными являются только пр. 1 и 2, 5 и 6, 7 и 8, 35 и 38. Примеры 14 и 15, 37 и 40 не являются синонимичными, так как осн. часть пр. 14 и подч. часть пр. 40 являются регулярными реализациями с модальными глаголами, тогда как пр. 15 и 37 представляют собой формы ОР. Не являются синонимичными и пр. 30 и 31, так как они содержат опорные слова в разных залоговых формах и характеризуются разными структурными схемами.

Таким образом, отношения синонимии наблюдаются только между конкретными формами и регулярными реализациями ОР СПП и ОР ОП. При парадигматическом подходе к ОР СПП и ОП, т. е. при рассмотрении ОР как систем форм и регулярных реализаций, они не могут быть признаны синонимичными, так как ОР СПП обладают значительно большими системами форм и регулярных реализаций, чем соответствующие им ОР ОП.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ВЕЙЛЕРТ А. А.

РУССКОЕ СЛОВО В НЕМЕЦКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ

(К методике оценки материала)

Немецкие говоры СССР представлены тремя диалектами: нижненемецким выходцев из северной Германии начала прошлого века, южнонемецким выходцев из ее южных земель середины прошлого века и средненемецким («волжско-немецким», как он назывался в прошлом) выходцев из срединных регионов запада и востока Германии (1764—1767). Нас интересует последний, самый большой по числу носителей диалект (один миллион человек)¹, что несколько больше половины общего количества немцев в стране (1 846 000 чел. по данным последней переписи²).

Русский язык всегда пользовался престижем у немецких крестьян и ремесленников нижнего Поволжья. Трудные условия жизни в необжитом и беспокойном крае на скудной земле с ее неурожаем и их спутниками — голодом и болезнями делали для каждого из них знание языка окружающего населения жизненной необходимостью. Сравнивая в этом отношении представителей различных диалектных групп, В. М. Жирмунский отмечал, что «влияние русского языка заметнее на Волге, чем у черноморских немцев (южнонемецкий диалект. — А. В.), которые, именно благодаря своей зажиточности, были обособлены от окружающего населения»³.

Г. Дингес — первый, кто попытался подсчитать количество русских слов в диалектной речи поволжских немцев. В 1923 г. оно оценивалось им в 800 единиц⁴. Через несколько лет появляется его словарь русских заимствований, вошедших в тексты на диалекте за первые сто лет его самостоятельного развития на новой родине. В списке 99 слов⁵, три четверти их, кстати, входят в актив литературного языка и в наши дни, 23 слова явно устарели: *аршин, батоги, белотурка, государь* и др.

Ни в первом, ни во втором случае Г. Дингес не указывает общего количества слов, частью которого являются его русизмы, и это обесценивает

¹ В нашем распоряжении нет, к сожалению, данных по количественной представленности каждого из диалектов, что вынуждает воспользоваться косвенными свидетельствами В. М. Жирмунского, Г. Бонвеча, В. Митцки и статистических справочников по переписи населения. Пропорции, существовавшие между диалектами в прошлом, перенесены на наши дни. См. подробно: А. А. Вейлерт, Типологическая классификация «волжско-немецкого диалекта», сб. «Вопросы строя немецкой речи», 3, Владимир, 1975, стр. 102.

² «СССР в цифрах в 1971 году», М., 1972, стр. 18.

³ В. М. Жирмунский, Проблемы колониальной диалектологии, сб. «Язык и литература», III, Л., 1929, стр. 181.

⁴ G. D i n g e s, Über unsere Mundarten, «Beiträge zur Heimatkunde des deutschen Wolgagebiets», Pokrowsk, 1923, стр. 67.

⁵ Г. Дингес, О русских словах, заимствованных поволжскими немцами до 1876 года, «Уч. зап. Саратовск. ун-та», VII, 1929, стр. 197.

его данные, делает их непригодными для какого-либо сопоставительного изучения в диахронном плане ⁶.

Здесь поставлена задача показать на количественном материале относительный вес русских слов по их лексическим, семантическим и грамматическим классам и категориям в системе средненемецкого диалекта. Под «русскими» понимаются слова, вошедшие в речь носителей диалекта из русского обиходного (диалектного) и литературного письменного языков вне зависимости от их этимологии. Целью является не только описание фактов языка в их речевой манифестации, но и поиск их взаимозависимости, показ обстоятельств, сопровождающих заимствование, их причинной связи. Не оспаривая общепринятую точку зрения на причины заимствований («Важнейшей причиной для заимствования слова из чужого языка является, по всей вероятности, заимствование вещи, обозначенной соответствующим словом..., не имеющей пока обозначения в заимствующем языке» ⁷), здесь делается попытка обосновать, а порой и скорректировать ее с учетом фактических данных нашего материала.

В нашем распоряжении находятся магнитофонные записи моно- и диалогической речи, проведенные в 1963—1965 гг. у 30 женщин и 30 мужчин в одном из наиболее репрезентативных для рассматриваемого диалекта населенных пунктов — с. Найдорф Осакаровского района Карагандинской области. Показатели материала: корневых слов — 2154, словоупотреблений (СУ) — 31 368. При таком числе СУ статистически корректными будут суждения о материале, основанные только на показателях 45 СУ. Величина относительной доли ошибки не превышает в таком случае 30,0% ⁸.

Укажем на термины, обозначающие относительные статистические показатели: «употребительность» — отношение количества информантов, употребивших в своей речи класс слов (суммарно), обозначаемое здесь как «информантоупотребление» (ИУ), к количеству слов; «частота» — отношение числа СУ к количеству слов; «доля» — относительная величина в процентах; «коэффициент лексического разнообразия» (КЛР) — отношение количества слов рассматриваемой частности к числу ее СУ.

ИУ для слова или группы слова — это примерно то, что в статистических исследованиях по письменной речи обозначается как количество выборок, с той лишь разницей, быть может, что ее суммарную величину для слов того или иного класса приводить не принято. Учитывая, однако, то обстоятельство, что наибольшую ценность в лингвостатистике приобретают не абсолютные данные, а средние, которые выводятся из них, здесь и приводится общая величина ИУ. Может возникнуть сомнение в необходимости этой единицы. В ее защиту можно было бы привести следующие соображения: если ограничиваться только одним количественным показателем для слова или среднестатистического слова, то оказываются в одинаковом положении слово, встретившееся у 10 чел. (или в 10 текстах) по 1 разу, и слово, встретившееся у 1 чел. (текста) 10 раз. В обоих случаях

⁶ В таком же примерно положении оказывается перед исследователем наших дней и Симон Рот с его словарем в 2000 латинских заимствований, обнаруженных им в научной прозе Германии 1571 года (об этом см.: М. Д. Степанова, И. И. Чернышева, *Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache*, М., 1975, стр. 51). Он также не приводит исходных данных, что не позволяет и в этом случае полнее использовать их, хотя ценность такого рода сопоставительного рассмотрения двух разделенных четырех столетиями срезов не может вызывать сомнений.

⁷ «Kleine Enzyklopädie die deutsche Sprache», Leipzig, 1969, стр. 510; ср. также стр. 506—518.

⁸ Приложение общепринятой методики вычисления относительной доли к анализу диалектного материала см. в работе: А. А. Вейлерт, Об использовании количественных данных в диалектологии, ВЯ, 1973, 4.

они имеют одинаковый ранг, так как имеют одинаковую величину СУ. И в то же время понятно и не вызывает сомнений, что первое слово ведет себя активнее в языке, чем второе, так как оно известно и проявило себя в речи у 10 чел. или в 10 текстах. Это обстоятельство, как правило, не принимается во внимание авторами статистических исследований, хотя часто и приводится число текстов (выборок), из которых выбрано слово. Так, в «Частотном словаре общенаучной лексики» слово *цифра* имеет ранг 328, так как число его СУ равно 173⁹. Слово же *сделать* с его 112 СУ оказывается в ранге 483, т. е. на 155 порядков ниже по ранговой лестнице. Но первое слово встретилось только в 18 выборках, второе же — в 79 выборках. Оно, это последнее, известно значительно большему количеству авторов этих выборок, оно употребительнее в спонтанной речи, оно активнее, так как входит в актив большего числа идиолектов. Думается, что следует учитывать данные обоих компонентов в характеристике слова, но делать это в удобной для сопоставительного анализа форме, т. е. привести их к единому числовому выражению. Были апробированы самые различные варианты их сочетания с применением всех арифметических действий. Наиболее рациональным представляется их сложение, которое и даст величину степени активности слова (СА). И когда мы вычислим СА для каждого из приведенных слов, то обнаруживается их одинаковость. Каждое слово имеет СА = 191 и должно бы по логике вещей занимать одинаковый ранг.

СА в данной работе не приводится, ее величину легко вычислить из приведенных данных как для одного слова, так и для среднестатистического слова.

Упомянем еще о критериях, которыми пользовались для отнесения того или иного слова к «русскому» или к «немецкому» словарю. Здесь есть свои трудности, и основная из них — это большое число интернационализмов (в нашем случае — слов, встречающихся как в русской, так и в немецкой речи). Их общее число равно 155 словам. 61 слово отнесено к немецкому словарю, так как по данным «Большого немецко-русского словаря» и «Краткого этимологического словаря русского языка»¹⁰ «заимствовано из немецкого». Они рассматриваются при этимологической классификации немецкого словаря как заимствования из различных языков в разные периоды. Это такие, как: *Adresse* fr./fnhd., *Akzent* lat./fnhd. и др. 94 слова отнесены к русскому словарю, так как пришли в русский язык не через немецкий, если идет речь о словах времени заимствования до переселения немцев в Россию. 30 слов вошло в русский язык после этого срока и отнесено к русизмам вне их языка-источника. «Русские» интернационализмы не подвергаются этимологическому анализу — это область русистики. В числе этих слов такие, как *автобус*, *амбулатория*, *аппаратура*, *аппетит*, *аптека*, *армия* и пр. 15 интернационализмов обнаружили дублиеты, т. е. немецкие и русские формы. 13 из последнего числа семантически равнозначны в обоих языках; *Familia* — *фамилия*, *Wagen* — *вагон* обнаруживают в русском языке сужение значений.

Как правило, информанты довольно верно «угадывали» русское слово в тексте и показывали это в его произношении. Это особенно заметно по дублиетам. *Appetit* обнаруживает твердый приступ начального гласного, произношение двух (по нормам письма) согласных как одной, долготу

⁹ «Частотный словарь общенаучной лексики», под общей ред. Е. М. Степановой, М., 1970.

¹⁰ «Большой немецко-русский словарь», под руководством О. И. Москальской, М., 1969 (в двух томах); Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская, Краткий этимологический словарь русского языка, под ред. чл.-корр. АН СССР С. Г. Бархударова, М., 1971.

конечного гласного. Его русский вариант — *аппетит* — обнаруживает отсутствие твердого приступа, наличие удвоенной согласной в середине слова, палатализацию *т*, отсутствие долготы у конечной гласной.

В тех случаях, когда слово русской или славянской этимологии оформлено по фонетическим нормам диалекта, оно отнесено все же к русскому словарю. Вопрос же об отнесении такого рода слов к заимствованной лексике стоит особо и здесь мы его пока касаться не будем. Ср., например: *мятя* — *ta:da* (отсутствие палатализации переднего согласного, долгота корневой гласной, озвончение последней согласной, характерный для диалекта редуцированный гласный нижнего подъема).

Как распределяется собранный материал в общем? Рассмотрим это в табл. 1.

Таблица 1

Слова	Абсолютные данные			Относительные данные			
	слов	ИУ	СУ	доля	употр.	частота	КЛР
Русские	446	729	1525	20,7	1,6	3,4	0,2925
Немецкие	1708	7930	29843	79,3	4,6	17,5	0,0572
Итого:	2154	8659	31368	100,0	4,0	14,6	0,0687

Итак, пятая часть общего словаря принадлежит русизмам. Эти данные тем более поражают, если учесть, что выбор населенного пункта для полевой записи его языка был предметом особых забот, и на его поиск в пределах Казахстана ушло два летних сезона. Требования же ставились довольно жесткие: относительная изоляция от иноязычных сел (оптимальным вариантом считалось немецкое окружение), использование единого диалекта на всех уровнях общения в пределах населенного пункта, заселенность данного пункта представителями только средненемецкого диалекта. Чтобы было понятно, насколько трудновыполнимыми были эти критерии для села, напомним реальную языковую ситуацию в сельской местности по Союзу по данным Всесоюзной переписи населения 1959 г., т. е. всего лишь за 4 года до экспедиции. Количество немцев, пользующихся родным языком — 792 634 чел., русским языком — 182 799 чел., другими языками — 8033 чел.¹¹ Пятая часть сельских жителей (19,4%) уже не пользовалась в 1959 г. родным языком! В такой среднестатистической обстановке было весьма трудно найти населенный пункт, который «говорил бы» только на интересовавшем нас средненемецком диалекте. С. Найдорф почти полностью отвечает поставленным требованиям, оно вполне репрезентативно, как уже было сказано, для диалекта, хотя и не является по приведенным выше показателям среднестатистическим населенным пунктом.

Алфавитный список частотного словаря составлен в трех вариантах: полный список и два подварианта — алфавитные списки словаря мужчин и женщин. Подсчеты показали, что доля русизмов у мужчин равна 19,1%, у женщин — 14,4%. Мужчины и в наше время более «открыты миру», их социальный вес в обществе несколько выше, чем у женщин, и этот вывод вытекает только из данных по доле русских заимствований в их речи. Но это не так удивляет, как довольно высокая доля русизмов у женщин, в то время как совсем недавно, в довоенное время, редкая нем-

¹¹ Здесь и далее данные приводятся из сводного тома: «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР», М., 1962.

ка Поволжья понимала русский язык. Наши данные перекликаются с соответствующими по переписи 1959 года. Уже тогда 17,2% сельских женщин-немок назвали своим родным языком русский и другие языки народов СССР. У мужчин эта средняя была опять же выше — 22,1%.

Тот факт, что доля русизмов в речи женщин лишь немногим отличается от таковой же у мужчин, можно истолковать и по-другому: женщины и мужчины проживают в одном населенном пункте всю свою жизнь. Более того, исследователь, в данном случае автор статьи, является сторонником кланового описания языка, т. е. описания языка не только у всех членов семьи, но и у наиболее близких им родственников, проживающих поблизости, так как это оправдывает себя прежде всего тем, что позволяет в наиболее чистом виде изучить межвозрастные и межполовые особенности языка. Таким образом, можно было бы предположить, что женщины усваивают слова, которые привнесли в дом из мира вокруг их мужчины. Если это так, то данные по русизмам у женщин самостоятельного значения не имеют, они результат высоких показателей у мужчин. Проверка же показала другое. Так, например, у мужчин обнаружено 340 русизмов, у женщин — 157. В сумме это 497. Реальное же число по общему русскому списку 446. Разница — 51 слово — это тот словарь, который является общим для мужчин и женщин, и составляет он только 11,4% (!) от количества слов по общему русскому списку. Если бы муж играл роль носителя языка-посредника между окружающим миром русской лексики и женой как носителем воспринимающего языка, то число общих слов было бы гораздо выше. Примерно такая же ситуация обнаруживается и по словарю в целом. Общими для мужчин и женщин являются только 719 слов из 2154 общего алфавитного списка, что составляет одну треть, т. е. 33,4%. Было бы интересно найти продолжение этому наблюдению на другом материале, и прежде всего следовало бы решить вопрос, характеризует ли эта треть только наш материал или это величина, распространяющаяся на генеральную совокупность, понимаемую здесь как язык в целом, вне зависимости от его национальной принадлежности¹².

Приведем данные по лексико-грамматическим категориям русских слов, напомнив предварительно о трудностях, ожидающих исследователя при отборе лексики из другого языка по этим категориям. Они связаны прежде всего со статусом слов незначительных. Понятие «часть речи» настолько разнообразно, тем более, если принимать во внимание различия во взглядах между германистикой и русистикой, обусловленные в немалой степени особенностями систем немецкого и русского языков, что трудно было проводить анализ материала без такого рода «арбитров», как «Русско-немецкий словарь» Г. Х. Бильфельда¹³, например, и «Большого немецко-русского словаря» О. И. Москальской. Решающее значение приобретала, однако, синтаксическая функция слова в предложении (см. табл. 2).

Не так удивляет большая доля существительных — этого, собственно, и следовало ожидать, — как то, что доля незначительных слов оказывается довольно большой. В сопоставлении с немецким материалом она даже больше на несколько долей процента (см. табл. 3).

Сам факт заимствования незначительных слов из русского — тем более долей, превосходящей норму для диалекта, — весьма примечателен.

¹² В этой связи хотелось бы указать еще на одно явление, объяснение которому так и не найдено. Обнаруживается равная дистанция между мужчиной и женщиной в их отношении к русскому языку как по данным нашего (лингвистического) материала, так и по данным переписи. У нас: отношение доли русизмов у мужчин и женщин равно 1,33 (19,1% : 14,4%), по переписи: отношение доли пользующихся русским языком у мужчин и женщин — 1,31 (21,3% : 16,3%).

¹³ Н. Н. B i e l f e l d t, Russisch-deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., Berlin, 1972

Таблица 2

Части речи	Абсолютные данные			Относительные данные			
	слов	ИУ	СУ	доля	употр.	частота	КДР
Существительное	335	538	825	75,1	1,6	2,5	0,4061
Глагол	14	15	15	3,1	1,1	1,1	0,9333
Прилагательное	44	52	85	9,9	1,2	1,9	0,5176
Наречие	19	24	31	4,3	1,3	1,6	0,6129
Числительное	4	4	4	0,9	1,0	1,0	1,0000
Местоимение	5	5	7	1,1	1,0	1,4	0,7143
Предлог	3	3	3	0,7	1,0	1,0	1,0000
Союз	6	8	9	1,3	1,3	1,5	0,6667
Частица	15	69	524	3,4	4,6	34,9	0,0286
Междометие	1	11	22	0,2	11,0	22,0	0,0455

Таблица 3

Разряд слов	Русская лексика		Немецкая лексика	
	слов	доля	слов	доля
Знаменательные	421	94,4	1628	95,2
Незнаменательные	25	5,6	82	4,8

Таблица 4

Часть речи	Словарь		Доля русск.	Часть речи	Словарь		Доля русск.
	общий	русск.			общий	русск.	
Существительное	1096	335	30,6	Артикль	7	—	—
Глагол	328	14	4,3	Предлог	26	3	11,5
Прилагательное	199	44	22,1	Союз	29	6	20,7
Наречие	257	19	7,4	Частица	29	15	51,7
Числительное	114	4	3,5	Междометие	9	1	11,1
Местоимение	60	5	8,3	Итого:	2154	446	20,7

Дело в том, что за всю историю словарного состава диалекта не было ни одного случая такого рода заимствований, в то время как единицы так называемой открытой лексической системы сохраняют заимствованные слова из самых различных языков: классических, семитских, романских, германских, славянских. Их доля в общем числе этимонов «немецкого словаря» составляет 17,7%. Создается впечатление, что диалект был «озабочен» сохранением пропорций в системе, приток только знаменательных слов из русского мог бы ее нарушить.

Как выглядят отношения по частям речи между общим и русским словарем? Где обнаруживается наибольший «словарный голод»? Если говорить о «словарном голоде», то в наибольшей степени его ощущают частицы — осталось в диалекте менее половины «своих» частиц, затем следуют существительные — осталось две трети диалектных слов, у прилагательных и союзов — осталось лишь четыре пятых немецких слов (см. табл. 4).

Можно ли в нашем случае говорить о заимствовании? Не имеем ли мы дело с использованием попеременно немецкой и русской языковых систем? Здесь следует подчеркнуть, что магнитофонная запись спонтанной неподготовленной речи проходила не только дома, но и на работе наших

Таблица 5

Семантический класс	Абсолютные данные			Относительные данные			
	слов	ИУ	СУ	доля	употр.	частота	КЛР
1. Конкретные имена:							
а) нарицат.	174	291	445	51,9	1,7	2,6	0,3910
б) собират.	14	23	38	4,2	1,6	2,7	0,3684
в) веществ.	4	4	6	1,2	1,0	1,5	0,6667
г) собств.	91	158	241	27,2	1,7	2,6	0,3776
2. Абстрактные имена	52	62	95	15,5	1,2	1,8	0,5474

Таблица 6

Семантический класс	Доля		Употр.		Частота		КЛР	
	общие	русск.	общие	русск.	общие	русск.	общие	русск.
1. Конкретные имена:								
а) нарицат.	49,3	51,9	2,0	1,7	3,5	2,6	0,2885	0,3910
б) собират.	6,3	4,2	2,5	1,6	4,5	2,7	0,2212	0,3684
в) веществ.	3,0	1,2	2,2	1,0	3,4	1,5	0,2946	0,6667
г) собств.	17,9	27,2	1,8	1,7	2,5	2,6	0,3996	0,3776
2. Абстрактные имена	23,5	15,5	2,1	1,2	4,1	1,8	0,2418	0,5474

информантов. Неподготовленная речь не означает речь, записанную без согласия информанта, «скрытым магнитофоном». Информанты видели аппарат, им объяснялась цель исследования. Большое значение придавалось, и это с первых дней появления в населенном пункте, воспитанию доверия к себе. Это давало возможность быстро включить информантов в работу. Цель ставилась, как правило, одна: рассказать о себе, о семье, о жизни вокруг раньше и теперь, о планах на будущее. Поощрялись самые различные истории, анекдоты, рассказы. Порой случалось, что говорящий забывался и, если вынуждала тема, переходил на русскую речь. Мы не прерывали запись и не вырезали ее после, но такого рода «русские речевые блоки» не учитывались при подсчете. Таким образом, русские слова материала можно рассматривать как первую ступень заимствования. Такие слова обычно называют иностранными, хотя в сущности речь может идти о двух ступенях процесса заимствования. Самое главное, что нужно подчеркнуть, — эти русизмы органически входили в немецкую речь и лишь такими они могли представлять интерес.

Если познакомиться ближе с частями речи, то обнаруживается следующее. Существительное распределяется по семантическим классам так, как указано в табл. 5.

Трудно судить об этих данных без сопоставления с другим материалом. В нашем положении, когда аналогичные показатели по другому диалекту не существуют, наиболее полезным объектом для сравнения будет весь материал говора. Приведем таблицу (табл. 6), где основой сопоставления будут относительные величины у всего словаря и у нашего диалекта по семантическим классам.

Обнаруживается схожесть почти по всем средним показателям у существительных нарицательных (это половина всех существительных), заметная несхожесть данных у имен собственных (в пользу русских слов),

а также у абстрактных существительных (в пользу общего материала). В то же время средние показатели, общие и русские, очень схожи у имен собственных по «употребительности», «частоте» и «коэффициенту лексического разнообразия». Это можно рассматривать как признак адаптации в чужом материале. Здесь, быть может, следует говорить, что мы имеем дело собственно с заимствованным словом.

Внимательно просматривая данные табл. 6 и отмечая их несхожесть в ряде случаев, все же следует отметить, что разница в средних показателях, включая и долю, не так и велика. Нельзя утверждать, что заимствование существительных происходит односторонне. Это не совсем так. Есть больше оснований подчеркнуть их относительную одинаковость, если сопоставить данные общие и русские по удельному весу их долей. Так, расположив по рангу классы существительных общего материала, обнаруживаем: нарицательные, абстрактные, собственные, собирательные и вещественные; у русского материала: нарицательные, собственные, абстрактные, собирательные и вещественные. Поменялись местами только имена собственные и абстрактные, остальные же имеют одинаковую ранговую соотнесенность. Это можно рассматривать как еще один довод в пользу системности процесса заимствования, придерживающегося пропорций заимствующего языка.

Перечислим некоторые русские существительные по их классам. Наричательные: *афиша, амбулатория, автобус, багаж, база, базар, барак, белки, больница, борона, бронетранспортер, будка, вахтер, вагонка, вагоны, ванна, вареники, вентиль, вермишель, военные, волость* и др. Собирательные: *аппаратура, армия, банда, бригада, жулье, зверинец, комиссия, очередь, продукты, сад, тайга, трудармия* и др. Вещественные: *бензин, газ, материя* (ткань), *порох*. Имена собственные: *Ак-Куль, Акмолинск, Александр, Александрович, Алексеевка, Андреевна, Байбак, Бак, Балхаш, Витка, Витя, Волга, Вольск, Гарри, Даулар, Днепрпетровск* и др. Абстрактные: *август, бронь, вёрст, вечер, вопросы, время, дело, десятинна, дней, должность, езда, инвалидность, история* и др.

Несколько слов об именах собственных. Нужно заметить, что в материал статистических исследований входят только слова, встретившиеся в тексте. Это же относится и к именам собственным. Понятно поэтому и заметное преобладание топонимов. Их 68 или 74,7% от общего числа имен собственных русских, у немецких слов эта доля составляет только 28,2%. У антропонимов другие пропорции: в 26,0% — русское имя, в 76,0% — немецкое. В этой связи напомним, что *Гарри* — русское имя, а *Harri* — немецкое имя. Так же различаются: *Элла* и *Ella*, *Мария* и *Maria*, *Анна* и *Anna*.

Какова парадигматическая оснащенность русского существительного? Речь идет, разумеется, об оснащенности немецкой парадигмой. Очень скудная у немецкого существительного, она полностью отсутствует у существительного русского. Более того, забегая вперед, сообщим, что ни одно русское слово, принадлежащее к так называемым иностранным словам, т. е. к словам, еще не ставшим заимствованием, не получило в немецком тексте парадигму. Налицо, таким образом, явное парадигматическое «истощение», когда количество аффиксов словоизменения, которыми оформлены немецкие слова, должны обслуживать речевую цепь со словарем, на одну пятую (число русизмов) превышающим норму для немецкой речи. Следствием явилось то, что развились формы, которые в литературном языке представлены гораздо скромнее [аналитические конструкции, например: *Er tut machen (arbeiten, fahren, gehen...)*]. Что же до соотношения слов парадигматического и непарадигматического типов, то оно обнаруживает резкий сдвиг в сторону увеличения доли у последней морфологической категории и тем самым в сторону анализа, если исходить из конкрет-

ных условий функционирования нашего диалекта. Так, при норме в отношениях, которую демонстрируют немецкие слова: 75,6% — парадигматического класса, 24,4% — непарадигматического класса (1291 : 417), диалект, со включением всех русских слов к единицам непарадигматического класса, обнаруживает соотношения, данные в табл. 7.

Таблица 7

Морфологическая категория	Общий словарь	
	слов	доля
Слова парадигматические	1291	59,9
Слова непарадигматические	863	40,1

Нормой является, таким образом, наличие трех четвертей слов парадигматического класса, фактически же функционирует несколько больше половины.

Также скудна немецкой флексией и оснащённость словообразовательных моделей существительного. Из всех форм флексии обнаруживаются лишь четыре образования с внешней флексией, а именно с суффиксальной: *Вольск-er*, *Мороз-in*, *Пацанок-chen*, *Украин-er*.

Общее число словообразовательных моделей в нашем материале 87, и только три явились образцом для русских существительных: С — существительное простое, Сс — существительное с суффиксом однокорневое, СС — двухкорневое существительное. В числе сложных слов отмечены только немецко-русские гибриды (русско-немецкие отнесены к немецкому словарю): *Wacht* — будка, *Kartoffel* — вареники, *Sieben* — линия, *Gras* — машина, *Kühe* — ферма, *Säue* — ферма. Сложные слова из компонентов русского происхождения вне зависимости от степени прозрачности границы компонентов, вне связи с вопросом о степени компетентности информантов в определении составляющих русского сложного слова¹⁴, отнесены к односложным. К ним причислены и суффиксальные русские образования. Их учет означал бы выход в русистику, что не было нашей темой.

Рассмотрим существительные русского словаря по типу сложности и по характеру производности (см. табл. 8, 9).

Глагол представлен в русском словаре очень небольшим количеством, доля его — 4,3%, если за основу взять общее количество глаголов в материале. К числу русизмов он относится с долей в 3,1%.

В общей сложности материал обнаруживает 14 глаголов: *выступать*, *есть* (кушать), *направлять*, *отвечать*, *оформлять*, *присутствовать*, *протиснуть*, *ровнять*, *родиться* (с добавлением местоимения *sich*), *сплавлять*, *страдать*, *судить*, *устроить*, *хвалиться* (с добавлением местоимения *sich*). Все они представлены только в инфинитиве, выступая компонентом сложного сказуемого или сложного глагольного времени с русским глаголом в качестве смыслового. В. Флейшер утверждает, что у глагола «ментальная ассимиляция» проявляется в приобретении им личного окончания¹⁵. Наш материал не подтверждает этот тезис, тем более, если учесть,

¹⁴ Опросный лист показал, что информанты, как правило, отличают русское сложное слово от простого, находят и границы компонентов, но далеко не всегда в состоянии семантизировать их. Информант, рассказавший о сыне, служившем в армии на «бронетранспортере», знал по описаниям эту машину, но не смог объяснить, почему она так названа. Так же обстоит дело с такими сложными словами, как *километр*, *колхоз*, *осаваиахим*, *пилорама* и др.

¹⁵ W. Fleischer, *Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache*, 4. Aufl., Leipzig, 1976, стр. 112.

что перечисленные глаголы, по всей вероятности, употребляются билингвами не первый раз и о моментальной ассимиляции здесь уже можно не говорить. Иначе обстоит дело с суффиксом глагольного инфинитива *-en* в диалектной интерпретации *-q* (редуцированное [a]). Его принято не относить к словообразовательным суффиксам, хотя ведет он себя у нас аналогично любому из словообразовательных суффиксов существительного или прилагательного, т. е. обнаруживает признаки «моментальной ассимиляции».

Таблица 8

Тип сложности существительных	Абсолютные данные		Относительные данные		
	слов	СУ	доля	частота	КЛР
Однокорневые	329	812	98,2	2,5	0,4052
Двухкорневые	6	13	1,8	2,2	0,4615

Таблица 9

Характер производности	Абсолютные данные		Относительные данные		
	слов	СУ	доля	частота	КЛР
Простые	331	813	98,8	2,5	0,4071
Суффиксальные	4	12	1,2	3,0	0,3333

Перечисленные глаголы, таким образом, представлены перед слушателем в форме: *wystupaja, jest', napravljaja, atwetschaja, afarmljaja, prissutstwuja, prassidda, rawnaja, raditsa sich, splawljaja, stradaja, ssudidda, ustroidda, chwalidda sich*.

Прилагательное представлено довольно хорошо: 44 слова или 22,1% от общего числа прилагательных материала. Как и у предыдущих частей речи, прилагательное не обнаруживает словоизменительных суффиксов. В то же время здесь обращает на себя внимание активное поведение русских суффиксов, что, кстати, отсутствовало у существительных и глаголов. Согласование прилагательного и определяемого им существительного происходит по нормам русского языка. И хотя налицо, как правило, русский стереотип, клише, довольно часто обнаруживается и сознательное использование русской парадигматической системы у прилагательного.

В статистических подсчетах мы ориентировались на положение, принимающее за единицу высказывания каждую словоформу в ее разовом употреблении. А это значило, что в ряде случаев разрывалось семантическое единство у словосочетания, где одним из компонентов выступало, как правило, прилагательное. *Акмолинская область* — это имя, а *акмолинская* и *область* — это уже прилагательное и существительное. В общей сложности обнаруживается 17 прилагательных такого типа. С другой стороны, поскольку речь зашла об именах собственных, *Иван Иванович* — единое имя, и оно должно бы считаться как одна лексическая единица. Но существует и другое мнение, предполагающее самостоятельным словом не только личное имя, но и «патроним»¹⁶. А это позволяло говорить уже о двух именах собственных. Правда, в нашем материале такого рода словосочетания были единичны, и это никак не могло повлиять на средние данные, приведенные выше по именам собственным. Приведем некоторые прилагательные:

¹⁶ О термине см.: А. А. Белецкий, Лексикология и теория языкознания (ономастика), Киев, 1972, стр. 166.

акмолинская, андреевская, байбакский, бригадная, буровой, вечерней, военное, вредная, детский, другое, гаревский, газовый, государственный, карагандинская (-ий), кокчетавская, кондитерская и др.

Немецкая словообразовательная система еще меньше коснулась этой части речи — только три слова имеют немецкий суффикс: *краснокут-er, украин-isch, хохол-isch*.

Любопытна в этой связи высокая частота суффиксальных образований — она более чем в четыре раза выше той же у других русских заимствований среди прилагательных (6,7 : 1,6). Слишком мало число суффиксальных прилагательных для того, чтобы делать какие-либо обобщения, и в то же время факт симптоматичен. У существительных это не было так заметно, там частота суффиксальных единиц превышала лишь на 0,5 в среднем таковую же у простых основ русского происхождения (3,0 : 2,5).

Наречия русского происхождения представлены только 19 единицами, это 7,4% от общего числа наречий материала. Перечислим их: *вообще, дальше, еще, как-то, надо, непонятно, никак, никогда, обязательно, пока, по национальности, попутно, приблизительно, просто, так, там, точно, хорошо, всё*. Все они выступают без словообразовательных аффиксов. Средние статистические характеристики наречий не отличаются заметно от тех же у прилагательных, но более чем в десять раз ниже частотности у немецких наречий (16,7 : 1,6). У прилагательного эта разница между частотой немецких и русских единиц была значительно ниже — в 2,9 раза! (5,5 : 1,9). Можно было бы говорить, таким образом, что средняя частота наречий почти в четыре раза ниже у русских единиц по сравнению с немецкими, чем это обнаруживается у прилагательных. Прилагательные значительно дальше ушли по пути адаптации, чем наречия.

Местоимения представлены пятью единицами: *как, какой (-ое), любого, что, это*. Их употребительность и частота незначительны. Предлог обнаруживает три русские единицы: *в, на, с*, которые выступают только в сочетании с русским существительным и местоимением. Средняя частота — 1,0. Союз: *будто, и, нет... sondern, раз, то есть, хоть*. Здесь несомненный интерес представляет русско-немецкое сочетание парного союза, встретившееся, к сожалению, только в 1 СУ.

Частицы включают здесь и модально-вводные слова, выделяемые русской грамматикой в особую группу. Их 15 (немецких — 14): *в общем, вот, вроде, все равно, значит, кажется, конечно, мало ли что, например, не, нет, ни, по-моему, то, что ли*. У большинства разовое употребление, у *в общем* — 14 СУ, *вот* — 13 СУ. Самое же интересное слово — частица *нет*, обнаруженная у 44 информантов (из 60) в 478 СУ. В ранговой таблице из 126 номеров она занимает 12 место. Если можно говорить о фонетической адаптации этого слова диалекту (ср. *ne:dq*), то о психологической адаптации все же говорить еще рано — все информанты считают его русским словом. С другой же стороны, в 20 раз менее частотное *тятя (ta:dq)* воспринимается как немецкое слово. Междометие представлено одним словом¹⁷ *Ну!* с частотой в 22 СУ.

В заключение остановимся на данных по количественной представленности русских слов на фоне общего количества слов по каждой из букв общего алфавитного списка диалектной речи. Доля русских слов высчитывалась от общего числа слов по каждой букве. Алфавитный порядок дан в латинице, ему подчинены и русские слова. Интересные и сами по себе, эти данные могут привести лишь тогда к определенным выводам, когда появится адекватный материал для сравнения. Вопрос же в данном слу-

¹⁷ Слово ли? См. подробнее изложение вопроса в учебниках О. И. Москальской: «Грамматика немецкого языка (Теоретический курс)», М., 1956, стр. 387; «Grammatik der deutschen Gegenwartssprache», М., 1971, стр. 57.

Таблица 10

Буквы	Количество слов		Доля русск.	Буквы	Количество слов		Доля русск.
	русск	общее			русск	общее	
a	16	122	13,1	m	21	103	20,4
b	20	103	19,4	n	25	90	27,8
c	6	6	100,0	o	14	30	46,7
d	23	139	16,5	p	54	86	62,8
e	5	81	6,2	q	—	4	—
f	8	88	9,1	r	22	89	24,7
g	11	103	10,7	s	59	313	18,8
h	—	122	—	t	36	101	35,6
i	7	22	31,8	u	10	36	27,8
j	9	32	28,1	v	—	57	—
k	50	149	33,6	w	32	142	22,5
l	17	84	20,2	z	1	52	1,9
				Итого.	446	2154	20,7

чае может стоять так: насколько определяет первая фонема (буква) первое использование в речи иноязычного слова? Есть ли для диалекта «любимые» начальные фонемы (буквы) в русском словаре? Проверить это можно по данному общему алфавитному словарю. Русские слова записаны в кириллице, хотя подчинены порядку латинского алфавита. Это вынуждало сообразоваться с правилами клерного письма для слов, начинающихся в кириллице с отсутствующей в латинице буквы: *хорошо* — упорядочено под *c*, *жулье*, *заявление*, *школа* — под *s*, *что* — под *t*, *Яков*, *есть*, *Юра* — под *j*. Таким образом, появилась возможность для количественного сопоставления русских слов и общего списка по каждой букве списка (см. табл. 10).

Как видно из табл. 10, русские слова имеют по буквам самую различную долю. Не просматривается и какая-либо закономерность. В то же время трудно верить и в случайность, когда представленные почти одинаковой абсолютной величиной русизмы имеют у *p* 62,8%, в то время как у *s* лишь 18,8%. Или, если остановиться на гласных: почти одинаково представленные *a* и *o* показали очень разную долю русизмов — 13,1% и 46,7%. Попытка объяснить разницу качеством начального звука (буквы) также не привела ни к чему. Ср.: доля русских слов, начинающихся с согласного, равна относительно всех слов с согласного 20,9%, соответствующая доля у слов, начинающихся с гласного, — 18,9%.

Есть и другая возможность для сопоставления наших русизмов с другим материалом: все единицы русского словаря располагаются в порядке русского алфавита с указанием количества русских слов по каждой графеме кириллицы. Затем такая же работа проводится с немецким материалом диалекта, но в латинице, и сопоставляется с данными по общему словарю табл. 10. В качестве материала «извне» привлекаются показатели упомянутого выше «Большого немецко-русского словаря» (подсчет букв проводился постранично) и «Частотного словаря русского языка» (подсчет соотносительного удельного веса букв проводился по данным диаграммы)¹⁸. Показатели по всем пяти источникам располагались затем по частотному рангу: самые представленные количественно на первом месте. Приводим данные:

Немецкий словарь диалекта: *s, h, d, w, a, k, g, b, m, f, e, l — r, n — t, v, z, p, u, j, o, i, q.*

¹⁸ «Частотный словарь русского языка», под ред. Л. Н. Засориной, М., 1977, стр. 932.

Русский словарь диалекта: *n, k, c, v, t, n, d — p, m, b, a — л, о, г, у, з — ф — ч — ш, е — х, э, ю — я, ж.*

Общий словарь диалекта: *s, k, w, d, a — h, b — g — m, t, n, r, f, p, l, e, v, z, u, j, o, i, c, q.*

«Большой немецко-русский словарь» (1969): *a, s, h, b, m, k, e, v, d, f, r, z, w, p, u, n, l — t, i, g, o, c — j, q.*

«Частотный словарь русского языка» (1977): *n, c, v — n, o, k, p, з, б, d — м, у, т, г, и, л, а, ч — ш, ф — х — э, ж, ц — ц — я, е — ю.*

Не все здесь сопоставимо. Более того, ни одна из сравниваемых совокупностей не адекватна другой. Оптимальным решением было бы иметь данные по говору, аналогичному нашему, но без русских слов в речевом потоке. Для русского словаря был бы сопоставим один из русских говорів желательного того же региона (Карагандинской области). И приводятся эти данные скорее как методический прием, который помог бы ответить на вопрос, что решает частоту иноязычного слова в речи билингва — частотный порядок в своем языке или тот же в языке чужом? Другими словами: почему слова на *n* представлены у наших русизмов так хорошо? «Виноват» ли в этом родной диалект, то, что *p* занимает в нем определенный процент, и нарушение доли в нем происходит из-за потери родных слов в прошлом и вынужденного заимствования чужих? Или причина находится в языке-источнике, в котором буква *n* имеет высокий удельный вес? Мы не смогли, к сожалению, найти определенный ответ на вопрос, но что он есть и что его искать нужно именно в этом направлении, в этом сомнения быть не может. Сказанное не означает, разумеется, отказа от общепринятого объяснения причин заимствования.

МАРКОВ В. М.

ОБ ОТРАЖЕНИИ ДИССИМИЛЯТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
В РАЗВИТИИ ФЛЕКТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

История номинативных образований на *-а* типа *леса, города* может считаться в настоящее время достаточно проясненной. Во всяком случае в лингвистической литературе (и в известных нам устных высказываниях языковедов) как будто бы отсутствуют какие бы то ни было сомнения по поводу реальности широкой тенденции к унификации флективного гласного, сопровождающей закрепление окончательного ударения в процессе акцентного противопоставления числовых парадигм. Эта тенденция так или иначе проявляла себя всякий раз, когда во множественном числе возникали отношения типа *леса — лесам, площади — площадям, головы — головам*, приводящие к появлению образований *лесá, площадя́, голова́*, из которых, как известно, лишь формы мужского рода в силу ряда специальных причин стали достоянием литературного употребления. Объединяясь с формами среднего рода типа *делá — делám, местá — местám*, образования типа *леса, города, паруса, года, луга, мастера* и под., т. е. образования, которым в единственном числе соответствовали формы с ударением на основе, достаточно последовательно воспринимались как норма, когда этому не препятствовали различные факторы вроде производности, неустойчивого ударения, зависимости слова от определенной стилистической организации речи и т. д.¹

Среди перечисленных факторов, как показали наблюдения последнего времени, обнаруживается еще одна любопытная зависимость или, точнее, одно ограничение, касающееся односложных основ: в случае наличия основного *-а*- окончание *-а* в именительном падеже, как правило, не принимается, несмотря на присутствие всех тех условий, которые способствовали возникновению нужных нам форм. Если не считать двух примеров *глаза* и *края*, связанных с представлением о двойственности и, следовательно, занимающих особое место в системе множественных образований, все остальные примеры, которые могут быть приведены, решительно подтверждают существование отмеченной закономерности. В интересующих нас образованиях перетяжка ударения на флексию не связана с усвоением гласного *-а*, в чем мы видим реакцию на характер основного звука. Речь, таким образом, идет об образованиях *альты, басы, валы, дары, зады, лады, пазы, пары, ряды, сады, тазы, часы, шаги, шары*, рассматриваемых на фоне других многочисленных образований типа *бега, борта, века, года, дома, корма, леса, луга, меха, сорта, стога, тока, тона, хлеба, цвета, шелка* и т. д. Если в начале века еще указывались как допустимые такие, например, образования, как *альта* или *баса*, то теперь их трудно было бы признать за принадлежность нормированной речи. То же касается и формы *раза*, которая, как указывает С. П. Обнорский, использовалась Л. Н. Толстым наряду с закрепившейся формой *разы*.

¹ Подробнее об этом сказано в кн.: В. М. Марков, Историческая грамматика русского языка. Именное склонение, М., 1974.

Своеобразным подтверждением основательности наших наблюдений являются встречающиеся в языке художественных (главным образом, поэтических) произведений XVIII—XIX вв. образования с неполногласием. Несмотря на их очевидную стилистическую окраску, они, находясь в параллели с соответствующими полногласными формами, могли, как показывает форма *брега* (ср. *берега*), воспринимать и окончание *-а*, нередко ассоциируемое с представлением о просторечности, разговорности и т. д. Тем не менее при наличии *-ла-* или *-ра-* эта возможность, как правило, не реализуется. Ср., например, у А. С. Пушкина: «О, скоро вас увижу вновь, *Брега* веселые» («Бахчисарайский фонтан»), «Поутру над ее *брегами* Теснился кучами народ» («Медный всадник»), но — «Вы черные *власы* на мрамор бледный Рассыплете» («Каменный гость») при обычной форме *волоса*: «Седые вяжет *волоса*» («Руслан и Людмила») и т. д., «*Власами*, свитыми в кольцо, Пустынный ветерок играет» (там же) и т. д. Более того, наличие в неполногласии гласного *-а-* может, по-видимому, поддерживать сохранение ранних образований с ударением на основе, которые в свою очередь способствуют закреплению основного ударения во всех образованиях множественной парадигмы. Так, форма *грады*, в отличие от образования *городá*, не только не знает параллели в виде теоретически возможного *градá*, но и способствует смещению акцента, обнаруживаемому при сравнении, например, показаний ломоносовских од и поэтических произведений первой половины XIX в.

Рассматривая отмеченную зависимость использования флексии *-а* от характера гласного основы, важно принять во внимание то обстоятельство, что литературному произношению свойственно неразличение безударных *а* : *о*, при котором тенденция к диссимиляции представляется особенно загадочной. Четкое противопоставление этих гласных является свидетельством того, что явление, отраженное в нормированной речи, пришло в нее из тех говоров, которым присуще так называемое «оканье», т. е. более или менее полное сохранение древних фонетических различий. Этот вывод находит себе подтверждение в наблюдениях С. П. Обнорского, отраженных в его исследовании «Именное склонение в современном русском языке» (вып. 2, Л., 1931). Говоря о характере распространения окончаний *-ы*, *-и*, С. П. Обнорский объединяет литературный язык и северновеликорусские говоры в их общем противопоставлении говорам южно-русским, в которых, судя по данным, содержащимся в книге, процесс распространения окончания *-а* проявлял себя более беспорядочно и узко: «В ряде случаев, в которых в литературном языке, как и в северновеликорусских говорах, оказываются нормальные формы именительного мн. на *-а*, в части южновеликорусских говоров выступают соответственные формы на ударяемые *-ы́*, *-и́*» (стр. 52). И дальше: «Отмеченную южновеликорусскую диалектическую черту, именно наличие форм им. мн. на ударяемые *-ы́*, *-и́* в соответствии с обычными в прочих районах русской речи формами на *-а*, необходимо поставить в связь с имеющимися указаниями наблюдателей, относящимися к этой же очерченной территории указаниями, подчеркивающими незначительность или даже полное отсутствие здесь форм на *-а*» (стр. 53, примеч. 1). Если принять во внимание сравнительно раннее распространение именно в северных, окающих говорах ударенных флексий *-ам*, *-ами*, *-ах*, а также ту связь, которая существует между этими окончаниями и развитием номинативного *-а*, то общее направление затронутого процесса окажется ясным: он шел с севера, передавая литературному языку определенный характер отношений, порождающих новые формы. В том, что этот процесс встречал в своем развитии целый ряд ограничений, виновата, таким образом, и фонетика, свойственная говорам, передающим древнейшие различия гласных.

Рассмотренное ограничение сферы использования номинативного окончания *-а* является, как нам кажется, не единственным примером зависимости употребления флективных именных новообразований от характера гласного основы. Аналогичная картина наблюдается и в формах предложного падежа с окончанием *-у*. Последнее, как известно, представлено в современном литературном языке, по преимуществу, в словах односложных, выступающих с предлогами *в* или *на*. В прошлом процесс распространения указанного окончания был осложнен целым рядом дополнительных факторов, о которых говорится в пособиях по исторической морфологии русского языка. Так, немалую роль в усвоении окончания *-у* сыграл характер конечного согласного основы, о чем свидетельствует обильный фактический материал, заставляющий выделить существенные с основой на заднеязычный. Несмотря на то, что в дальнейшем заднеязычный в основе утратил первоначальную значимость в качестве активизирующего момента, еще и теперь приходится учитывать известное своеобразие указанных имен, стоящих как бы в стороне от некоторых поздних тенденций. Особое место в интересующем нас отношении занимают и существительные, представленные в современном литературном языке с постоянным ударением на флексии, т. е. слова типа *стол*, *угол* и *под*. В них находящаяся под ударением флексия *-у*, соответствуя парадигме в целом, естественно, в какой-то степени противопоставляется ударенной флексии в словах, характеризующихся подвижным ударением на основе. Как известно, именно эти слова в процессе распространения указанного окончания сыграли особенно значительную роль, о чем писали С. П. Обнорский, В. И. Чернышев и др.

Сосредоточив внимание на словах отмеченного акцентного типа, мы видим несомненную реакцию флексии на наличие основного *-у*. Прежде всего она проявляется в том, что литературный язык (по крайней мере литературный язык XIX—XX вв.) вообще не принимает достаточно многочисленных образований, которые, в соответствии с общими закономерностями процесса, могли бы выступать с окончанием *-у*. Эта возможность подтверждается их наличием в говорах, на что указывал в своем исследовании «Именное склонение в современном русском языке» С. П. Обнорский, приводя такие предложные сочетания, как *на стулу*, *на брусу*, *в пруду*, *в грузу*, *в клубу*, *в сруб*, *в фунту* и др. Дело, однако, не только в таких диалектно-просторечных примерах. Дело в том, что материал литературного языка указанной поры сам по себе представляет достаточно яркие свидетельства особенно интенсивного отмирания образований на *-у* при наличии этого гласного в основе.

Обратимся к примерам. Так, форма *зубу*, насколько мы можем судить, была вполне допустимой еще во второй половине XIX в. В повести «Юность» Л. Н. Толстого читаем: «Дмитрий вернулся от Любовь Сергеевны с каплями *на зубу*». Более того, в своем известном сочинении «Правильность и чистота русской речи» («Избранные труды», I, М., 1970) В. И. Чернышев указывает формы *на зубу* (правда, с оговоркой: чаще *на зубе*) в перечне форм, которые характеризуются им в качестве вполне литературных. В современном литературном языке формы *в зубу* и *на зубу*, несомненно, несут на себе отпечаток нарушающего норму просторечья, и составители словаря-справочника «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» (Л., 1973), без сомнения, правы, указывая при сочетании *в зубе*: не *в зубу* (стр. 160). Слово *круп* в этом словаре вообще отсутствует, а между тем в литературном языке XIX в. оно нередко употреблялось с окончанием *-у*, которое находилось в чередовании с флексией *-е*, закрепившейся в настоящее время в качестве единственно возможной. Ср. у Л. Н. Толстого: «Маленький лейб-гусар

в узких рейтузах ехал галопом, согнувшись, как кот, *на крупу* из желания подражать англичанам» («Анна Каренина»), но — «(Драгун)..., обняв гусара, сидел *на крупе* его лошади» (там же). Важно подчеркнуть, что отмеченные два слова оказываются характерным исключением на фоне других наименований принадлежностей тела, которые в случае их отнесенности к определенной категории имен постоянно выступают с окончанием *-у*. Сравнить: *в глазу, на глазу, в носу, в зобу, на заду, на боку*, а также *во рту, на лбу* и т. д.

Невозможна в настоящее время и форма *в шуму* (ср. у Ломоносова: «в градском *шуму* и наедине»), а также нередкое еще в начале XIX в. образование *грунту*, окончательно вытесненное образованием *грунте*. За пределами отмеченных фактов остаются лишь сочетания *на дубу* и *в суну*, просторечный характер которых нам представляется несомненным. Во всяком случае есть все основания полагать, что последние два примера отражают все тот же процесс отмирания форм с окончанием *-у*, приближающийся к своему завершению. Общий вывод, таким образом, ясен: в современном русском литературном языке (не считая некоторых существительных с основой на заднеязычный) нет ни одного примера устойчивого сохранения окончания *-у* при подвижном ударении на основе и при наличии основного гласного *-у-*, определяющего возможность диссимиляции гласных.

Рассмотренные факты важны для нас как проявление специфики морфологических изменений, обусловленной присутствием определенных фонетических примет. При наличии соответствующих данных естественно допустить, что направление диссимилятивных воздействий могло быть различным, как могли быть различными и те морфологические категории, в сфере которых осуществлялось прохождение флективных замен. Эта общая постановка вопроса может, как мы думаем, послужить объяснению тех резких различий, которые характеризуют развитие родительного и дательного падежей членных форм прилагательных, поскольку последние, как известно, усваивали окончания *-ого* и *-ому*, свойственные склонению местоимений. В «Очерках исторической морфологии русского языка» П. С. Кузнецова (М., 1959) читаем: «При изучении форм единственного числа мужского и среднего рода бросается в глаза, что формы дательного падежа на *-оти* (*-ому*) были распространены шире и появились раньше, чем формы родительного падежа на *-ого* (*-ого*)... Формы же на *-ому*, *-ему* мы наблюдаем уже в памятниках XI в. ... Дательный падеж на *-ому* при родительном на *-аго* выступает и в позднейших церковно-книжных памятниках. Такова, например, норма, проводимая в Пандектах Никона Черногогорца 1296 г.» (стр. 149—150).

К сожалению, П. С. Кузнецов ничего не говорит о возможной причине наблюдаемых расхождений. А между тем ее поиски неизбежно приводят нас к необходимости задуматься над вопросом: а не играет ли какой-нибудь роли наличие одинаковых гласных в окончаниях форм типа *новуму*, *красьнуму* и под. Иными словами, нельзя ли говорить в данном случае все о тех же тенденциях, которые при возникновении и распространении повообразований определяли своеобразное «отталкивание» от звука соседнего слога, способствуя или препятствуя осуществлению определенных морфологических замен? Полагаем, что утвердительный ответ, при учете достаточного выразительных аналогий, здесь не был бы слишком смелым.

Разумеется, отводя известное место фонетическим моментам в развитии грамматических форм, мы имеем в виду лишь более или менее заметную частность, включающуюся в сложное взаимодействие различных сторон языка. Как известно, в истории флективных образований проявляют себя семантические, акцентологические, фразеологические и стилистиче-

ские начала, которые нам отчасти уже приходилось рассматривать в их отношении к собственно фонетическим фактам. Говоря об особенностях развития образований на *-ому* и *-ему*, мы также оказываемся перед необходимостью учитывать дополнительные аспекты, которые осложняли процесс замещения *-уму* на *-ому*, поддержанный, согласно нашему предположению, тенденцией к расподоблению гласных. В частности, речь здесь пойдет о стилистических различиях членных образований, которые использовались в книжных текстах древнейшей поры.

В «Очерках» П. С. Кузнецова, упоминаемых выше, есть между прочим следующее место: «...в древнейших памятниках, и даже оригинальных, мы встречаем и окончание дательного падежа, свойственное старославянскому языку. Ср., например, в записи Остромирова евангелия: *мънога же ль дароуи бѣ сът Ажъвъшюумоу еулиж се*. Здесь, собственно, причастие, но причастия склонялись так же, как прилагательные» (стр. 149). В том-то и дело, что в литературном языке XI в. прилагательные и причастия могут достаточно резко различаться, причем именно тем, что причастия менее охотно уступают необходимости принимать местоименное *-ому*. Взяв для примера «Изборник 1076 года» (М., 1965), мы устанавливаем следующее (примеры даются в упрощенной графике): форм дательного на *-ому* — 17: *безоумьномуу* (180), *благовѣръномуу* (148), *богатомуу* (41 об.), *божьствьномуу* (261 об.), *вышьнемоу*, (6,143 об.), *вѣчьномуу* (126 об.), *гѣрдомоу* (164), *земльномуу* (263), *земьномуу* (43 об.), *зимномуу* (39 об.), *небесьномуу* (5,263), *нетьльньномуу* (43), *нищемоу* (81,269), *послѣдьнемоу* (16). Как видим, среди них нет ни одной формы причастий, которые, таким образом, устойчиво сохраняют окончание *-уму* или *-ууму*. Ср.: *давѣшюмоу* (263 об.), *дакуштюмоу* (92 об.), *живоуцюмоу* (255 об.), *мокнуштюмоу* (39), *обязавѣшюмоу* (78 об.), *скрытаюцтюмоу ся* (39), а также — *глаголаюцоумоу* (238 об.), *давѣшюмоу* (264 об.), *желаяштюмоу* (34 об.), *закалаюцоумоу* (98 об.), *кльнуштюмоу* (80 об.), *обништавѣшюмоу* (43), *опечяливѣшюмоу* (92 об.), *просяштюмоу* (43), *сѣтворѣшюмоу* (154 об.), *оучяштюмоу* (95 об.), *хотяштюмоу* (74).

Обилие причастных образований с окончанием *-уму* (*-ууму*) делает несомненным особое восприятие причастий, подчеркивает ту характерную стилистическую установку, которая перекрывает живую тенденцию, одинаково возможную в отношении всех членных форм. То обстоятельство, что в «Изборнике 1076 года» причастия не знают окончания *-ому* (у прилагательных старые и новые окончания представлены приблизительно поровну), представляется весьма существенным с точки зрения истории формирования древнерусского книжного языка, тем более что, судя по примеру из приписки к «Остромирову евангелию», отмеченная закономерность не противоречит и данным деловых документов. Как бы то ни было, для нас в рамках данного сообщения, естественно, важен сам факт взаимодействия морфологии, фонетики и стилистики, который может усматриваться в совокупности показаний, касающихся различных грамматических категорий.

ГРИНБАУМ Н. С.

**ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК.
ИОНИЙСКИЙ ПЕРИОД
(VIII—VI вв. до н.э.)**

1. Колонизация греками Малой Азии, вызванная демографическими, экономическими и общественно-политическими причинами, продолжалась, начиная с XI в. до н. э., в течение нескольких столетий¹. В этом процессе участвовали жители различных областей материковой Греции, выходяцы из Фессалии, Аттики и Пелопоннеса²: целые роды, теснимые надвигавшимися на них пришельцами; лишённые земли крестьяне; родовая знать, потерявшая власть в результате социальных брожений; купцы, ремесленники и беднота. На территории, захваченной в нелегкой борьбе у местного населения, колонисты основывали свои поселения, осваивали плодородные участки, развивали ремесло. Пользуясь выгодным географическим положением прибрежной полосы и ее островов у выхода торговых путей к Эгейскому морю, они вели активную торговлю с Востоком, поддерживали оживленные сношения с метрополией. В IX—VIII вв. здесь происходит интенсивное образование греческих рабовладельческих городов (полисов), специфической формы античного государства. В результате острой классовой борьбы власть в полисах переходит к новому общественному слою — зажиточным горожанам и ремесленникам, быстро развиваются денежные отношения, расширяется использование рабского труда³.

В VII—VI вв. Малая Азия и особенно ее центральная часть — Иония — становятся наиболее передовой областью древней Греции. Здесь происходит — вторичный после микенского — подъем, а затем и расцвет греческой общественной и культурной жизни. Накопленные в предыдущий период и принесенные греками с материка духовные ценности продолжают развиваться в новых благоприятных условиях. Соприкосновение с цивилизацией рабовладельческого Востока способствует их быстрому умножению и обогащению. В прикладном искусстве, архитектуре, скульптуре и живописи «геометрический» стиль уступает постепенно место более реалистическому «архаическому»⁴. В Ионии впервые оформляется греческая литература, зарождаются наука и философия. Раньше, чем где-либо, здесь раздается критика в адрес греческой традиционной религиозно-мифологической системы.

2. Диалектная ситуация, сложившаяся на малоазийском побережье в начальный период греческой колонизации, отличалась большой неустойчивостью. Как уже указывалось, в ней принимали участие представители различных диалектных групп. Эолийские поселенцы

¹ Ср.: H. Gallet de Santerre, Notes sur la préhistoire et la protohistoire de l'Orient et de l'Égée, «Revue des études anciennes», 69, 1—2, 1967, стр. 110.

² U. v. Wilamowitz-Moellendorf, Über die ionische Wanderung, «Kleine Schriften», V, 1, Berlin, 1937, стр. 168.

³ К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч., 21, стр. 167.

⁴ См.: И. М. Тронский, История античной литературы, Л., 1957, стр. 33.

устремились в основном в северную часть прибрежной полосы, ионийцы захватили ее центральную часть, а дорийцы расположились на юге. Однако во многих случаях земледельческие общины, а затем и полисы создавались путем объединения переселенцев из различных местностей, говорящих на разных диалектах. К тому же определенное влияние на греческие диалекты оказывали местные языки Малой Азии, тем более, что греки нередко смешивались с ее автохтонным населением. Геродот передает, например, что афиняне, выселяясь в Ионию, не брали с собой женщин, а женились на кариянках (I.146). О сложности и раздробленности первоначальной диалектной картины греческих поселений в Малой Азии свидетельствует и сообщение Геродота, что только на территории Ионии насчитывались четыре диалектные разновидности греческого языка. Наречие жителей Милета, Миунта и Приены, нашедшихся на территории Карики, отличалось от наречия жителей лидийских городов Эфеса, Колофона, Теоса, Клазомен и т. д.; последнее в свою очередь не совпадало с наречием жителей острова Хиоса и города Эрифр, с одной, и острова Самоса, с другой стороны (I.142). Имели место и случаи захвата городов, населенных носителями того или иного древнегреческого диалекта, представителями другого диалекта, что приводило к накладыванию и смешению наречий. Примером может служить эолийский город Смирна, попавший под власть ионийцев (Гер., I.150); в его надписях под ионийским слоем сохранились отдельные следы эолийского⁵. Вместе с тем, оживленные и тесные связи между ионийскими городами, основание ими на мысе Микале общего святилища, названного Паниоием, где проводились периодические празднества, несомненно способствовало усилению общины их жителей⁶. На основе местных наречий начал складываться со временем деловой наддиалект, в котором стали преобладать их общие признаки.

Этот наддиалект, тесно связанный с городом Милетом, одним из наиболее крупных ионийских центров, впоследствии распространился по всей Ионии⁷. Его влияние, особенно в фонетическом и, отчасти, морфологическом плане, испытал на себе древний язык эпической поэзии. В еще большей степени этот наддиалект отразился на языке лирических жанров элегии и ямба. Он лежит в основе новых литературных жанров повествовательной и научно-философской прозы. И, наконец, на нем, хотя и с присутствием в той или иной степени местных элементов, составлено большое число ионийских надписей⁸.

3. VIII—VII вв. до н. э. принято считать началом возникновения греческой литературы. К этому времени относят обычно появление гомеровских поэм. Устное эпическое творчество получает блестящее воплощение в целостных в сюжетном и художественном плане произведениях — «Илиаде» и «Одиссее». Обе поэмы были созданы в Ионии, и ряд ее городов претендовал на почетное право называть себя родиной Гомера. Вместе с тем, совершенство грамматической структуры, богатство лексических, стилистических и просодических средств языка указывают на наличие длительной эпической поэтической традиции, которой воспользовался и которую

⁵ Ср.: J. M. Cook, R. V. Nicholls, J. K. Anderson, J. Boardman, *Old Smyrna 1948—1951*, «The Annals of the British School at Athens», 53—54, 1958—1959.

⁶ Вопрос о ионийских малоазийских городах подробно освещен в не потерявшей до сих пор своего значения книге: F. G. B i l a b e l, *Die ionische Kolonisation*, Leipzig, 1920.

⁷ О руководящей роли Милета в Ионии см.: J. M. Cook, *The Greeks in Ionia and the East*, London, 1962.

⁸ См. подробное описание ионийского диалекта в кн.: H. W. Smyth, *The Sounds and Inflections of the Greek Dialects. Ionic*, Oxford, 1894.

продолжил их автор⁹. Эта традиция давняя, значительно пополненная в предыдущую микенскую эпоху, была занесена греками в Малую Азию уже в ранний период колонизации. Анализ диалектной базы гомеровских поэм отчетливо подтверждает ее первоначальную связь с северо-восточной частью греческого материка, а именно с Фессалией¹⁰, где уже в микенское время существовал, по-видимому, древнейший греческий поэтический наддиалект¹¹.

Его основная ахейско-эолийско-протоионийская характеристика была легко воспринята на малоазийской почве, где бок о бок соседствовали, а кое-где жили совместно носители эолийского и ионийского диалектов. Изменения, которым подвергся в Ионии материковый поэтический наддиалект, были связаны, главным образом с теми фонетико-морфологическими особенностями, которые выработал протоионийский на более поздней стадии своего развития. К ним относились: переход общегреческого долгого *a* в долгое *e*, выпадение неслогового *z*, рост контракций, количественная метатеза и некот. др. Однако и эти особенности проникали в эпический язык весьма медленно. В целом же, в силу свойственного эпической поэзии консерватизма, ее язык сохранил и в гомеровских поэмах ненарушенными важнейшие грамматические параметры и лексические ресурсы поэтического наддиалекта. «Лингвистическая система древнегреческого эпоса, — указывает И. М. Тронский, — наддиалект, далеко отходящий от территориальных греческих говоров VIII—VII вв. до н. э. ..., даже от ионийского диалекта этого времени, и находящийся с ними в очень сложных взаимоотношениях»¹².

Вторым важнейшим жанром зарождающейся греческой литературы была лирика. Если эпос был целиком обращен в героическое полузабытое прошлое и, достигнув вершины в «Илиаде» и «Одиссее», терял постепенно свое значение, то лирическая поэзия, выйдя из фольклорных песен, быстро развивалась в условиях малоазийской действительности VII—VI вв. до н. э. Стихотворения небольшого размера — элегия и ямб — становятся основной формой идеологической и политической борьбы, превращаясь в устах поэтов, философов, видных деятелей в средство выражения ими своих чувств, мыслей и идей, отражающих их отношение к современной действительности и актуальным для того времени проблемам¹³. Хотя язык лирической поэзии близок к эпическому и восходит вместе с ним к поэтическому наддиалекту микенской эпохи, он испытал, естественно, значительно большее, чем эпический, влияние малоазийской диалектной среды и, в частности, ионийского наддиалекта. Это влияние сказалось, с одной стороны, на фонетико-морфологических особенностях, с другой, в еще большей степени, на лексике лирических стихотворений. Последняя включает целый пласт чуждых эпическому языку слов и выражений, многие из которых удается обнаружить у ионийских прозаиков и в эпиграфическом материале¹⁴.

⁹ На богатство гомеровского словаря, унаследованного от прошлых поколений певцов, указывает Боура, см.: С. М. Bowra, *Homer*, London, 1972, стр. 30.

¹⁰ Ср.: Р. W a t h e l e t, *Les traits éoliens dans la langue de l'épopée grecque*, Roma, 1970, стр. 376.

¹¹ Предположение о поэтическом койне микенской эпохи как одном из источников гомеровского языка и языка древнегреческой лирики было высказано И. М. Тронским в 1966 г., см.: «*Studia Museanae*», Brno, 1968, стр. 180, 197.

¹² И. М. Тронский, *Вопросы языкового развития в античном обществе*, Л., 1973, стр. 125.

¹³ Ср.: В. Н. Я р х о, К. П. П о л о н с к а я, *Античная лирика*, М., 1967, стр. 6—7.

¹⁴ Ср.: Н. С. Г р и н б а у м, С. Д. М и с ь к о, *Язык и стиль древнегреческих писателей (VI—V вв. до н. э.)*, Кишинев, 1973, стр. 15—30.

Третий созданный в VI в. до н. э. в Ионии жанр — жанр литературной прозы — возник как следствие развития научной, философской и познавательной мысли¹⁵. Критическое восприятие окружающей среды, крушение традиционных представлений о богах и природе, стремление узнать и осмыслить жизнь требовали новой, более удобной и свободной, не стесненной стихотворным размером формы изложения взглядов. Для этой цели была использована фольклорная традиция прозаического повествования, включающая бытовую и сказочный рассказ. Научно-философская и повествовательная проза, охватывающая историографию и басню, создается на ионийском наддиалекте не без некоторого участия, прежде всего в лексическом плане, делового наддиалекта предшествующей микенской эпохи.

На грани литературного жанра находился еще один вид малоазийской прозы — документальная¹⁶. Ее начало относят к VIII в. до н. э., когда на территории Малой Азии и островов появляются первые греческие прозаические надписи. Это были сначала короткие и несложные записи, списки жрецов и должностных лиц, а затем, в VII—VI вв. до н. э., полисные законы и декреты, договоры и постановления, отчеты и посвящения. Их язык в наибольшей степени отражает многообразие малоазийских греческих говоров, находясь как бы на полпути между живыми разговорными наречиями и формирующимся общеионийским наддиалектом.

4. Возрождение греческой письменности в Ионии VIII в. до н. э. на базе семитического алфавита имело далеко идущие последствия. Некоторые исследователи полагают, что уже «Илиада» и «Одиссея» могли быть записаны их создателями для позднейших поколений на оловянных табличках, как это имело место с гесиодовской поэмой «Труды и дни» (Павсаний, 9.31.4)¹⁷. Однако, даже если этого не случилось, наличие письменности в период возникновения гомеровской эпопеи не вызывает сомнений. Первоначально это были надписи на твердом материале (скалы, камни), а с половины VII в. до н. э., когда египетский царь Псаметих I открыл для греков доступ в устье Нила, в их распоряжение поступил и папирус. Наиболее важные документы принято было записывать на каменных плитах в назидание потомкам. Можно предположить, что на первых порах искусство письма было главным образом, привилегией жрецов и рапсодов¹⁸. По мере развития общественной и политической жизни его употребление стало распространяться. Этому способствовало несомненно и расширение экономических, торговых и культурных связей между греческими городами-государствами. Каждый полис стремится зафиксировать свои важнейшие решения на том или ином писчем материале. Большое количество сохранившихся малоазийских и островных греческих надписей, начиная с VI в. до н. э., свидетельствует о довольно широком развитии официальной письменности. Вместе с тем, поскольку записи делались для того, чтобы довести их до сведения граждан, есть основание думать, что кто-то был в состоянии их читать. У нас нет данных, позволяющих определить степень грамотности в греческих городах, и она несомненно не была везде одинаковой. Навыками письма могла владеть определенная часть свободного населения Малой Азии VII—VI вв., относящаяся к наиболее состоятельной и влиятельной верхушке полисных граждан, греческое жречество, а также писари городских советов, педагоги — на-

¹⁵ См.: И. М. Т р о н с к и й, История античной литературы, стр. 96—100.

¹⁶ Ср.: А. И. Д о в а т у р. Повествовательный и научный стиль Геродота. Л., 1957, стр. 13.

¹⁷ Ср.: Т. S i n k o, Literatura grecka, I. 1, Kraków, 1931, стр. 53—54.

¹⁸ Ср.: S. W i t k o w s k i, De carminibus Homeri scripturae ope ortis, «Charakteria K. Morawski», Kraków, 1922, стр. 15—24.

ставники молодежи, поэты, философы, логографы¹⁹. Хотя их число было все еще незначительным по сравнению с общим количеством жителей и за пределами грамотности оставались целые социальные группы (крестьянство, рабы, беднота), распространение письменности означало, что греческая культура архаического периода добилась серьезного общественного прогресса.

5. Несмотря на имевшиеся между ними различия, основные виды письменности Ионии VII—VI вв. являются наддиалектными. Эпическая поэзия тесно связана с поэтическим наддиалектом микенской эпохи, документальная проза с современным ей деловым. Для первой характерна эолийско-протоионийская, для второй — ионийская диалектная база. Вместе с тем и эпическая поэзия получила свое блестящее завершение лишь в ионийской диалектной среде. Характерной особенностью основных видов ионийской письменности этого периода является также отказ от узкодиалектных явлений; даже в документальной прозе, наиболее близкой к местным наречиям, они встречаются не столь уж часто. Что касается самого эпического языка, то «Илиада» и «Одиссея» убедительно подтверждают его лексическое богатство, стройность и четкость грамматической структуры. И. М. Тронский характеризует гомеровский язык как обширное местоположение разнодиалектных и разновременных словоформ и словосочетаний, сопряженных «в единую систему, упорядоченную в ее семантических и ритмико-просодических противопоставлениях»²⁰. Наличие непрерывной поэтической традиции, передававшейся из поколения в поколение, способствовало сохранению и совершенствованию выработанных языковых норм, а формульный стиль благоприятствовал стабильности разнодиалектной лексики и морфологии от микенских времен вплоть до VIII—VII вв.²¹ Для гомеровского языка характерна вместе с тем фонетическая и морфологическая вариантность, в том числе и диалектная: βουλή (с ионийской η) и θεῶν (с эолийской α), окончания род. п. -εω -ῆος -ου -οιο, дат. п. -οις -οιοι, -σι -εσσι, формы с аугментом (ἐθήκε) и без него (εῖθε) и ряд других. На строгость лексического отбора, связанного с высоким стилем, сюжетным содержанием и просодическими особенностями текста указывает сравнение с крито-микенскими табличками. Из значительного числа засвидетельствованных в них слов, относящихся к различным областям хозяйственной жизни микенского времени, лишь около сорока имеются у Гомера²².

Документальная проза, представленная эпиграфическим материалом, несмотря на свою близость к местным говорам, отличается также определенной степенью нормализации. В надписях мы встречаем застывшие архаические формулы, лексику, связанную с общественной, государственной и сакральной сферами полисной жизни. Однако в отличие от эпической поэзии мы не находим в них «последовательного консерватизма форм, связанности синтаксических построений, известной приподнятости общего тона и т. п.»²³.

Языки лирической поэзии и повествовательной прозы в определенной степени примыкают к эпическому и испытали на себе его влияние²⁴. В них, как языках письменных, продолжаются нормализационные про-

¹⁹ На доступность изучения алфавитного письма обращают внимание: A. J. W a s e, F. H. S t u b b i n g s, A Companion to Homer, London, 1962, стр. 554.

²⁰ См.: И. М. Т р о н с к и й, Вопросы. . ., стр. 125.

²¹ Там же, стр. 138—148.

²² Ср.: J. C h a d w i c k, Mycenaean Elements in the Homeric Dialect, в кн.: «Minoica. Festschrift zum 80. Geburtstag von J. Sundwall», Berlin, 1958, стр. 116—122.

²³ Б. В. Г о р н у н г, Греческий язык, в кн.: «История греческой литературы», I, М. — Л., 1946, стр. 36.

²⁴ Ср.: С. И. Р а д ц и г, История древнегреческой литературы, М., 1977, стр. 22.

цессы, закрепление стилистических норм и регламентация лексического материала, не препятствующие их обновлению и развитию в новых условиях по мере усложнения задач, стоящих перед каждым из этих жанров.

Итак, на территории малоазийской Ионии в VIII—VI вв. до н. э. впервые в истории Греции образуется древнегреческий литературный язык. Его предпосылки и компоненты складывались на протяжении многих столетий и восходили к микенской и домикенской эпохе. Важную роль в его формировании сыграло появление в этот период греческой письменности. Большой вклад в создание литературного языка внесли жанровые языки греческой литературы: гомеровского эпоса и лирической поэзии. Ионийская разновидность литературного языка включила в себя также и язык повествовательной прозы — философской, научной, исторической, описательной, бытового и сказочного рассказа. В нее вошел, кроме того, язык документальной прозы, представленной главным образом надписями. В состав ионийского литературного языка вошел и деловой наддиалект и разговорная речь различных слоев греческого населения Малой Азии, имевшего отношение к управлению общественными делами, культу и религии, просвещению и культуре, сношению с другими государствами²⁵.

Образование литературного языка стало возможным лишь на базе относительно высокого для того времени уровня общественного развития греческих рабовладельческих полисов и подъема греческой культуры, впитавшей в себя лучшие достижения предшествующего многовекового развития. Литературному языку VII—VI вв. присущи такие важные черты, как обработанность и регламентация языковых норм, стабильность, вариантность (в том числе и диалектная), лексический отбор и т. д.

Становление первой (ионийской) разновидности греческого литературного языка совпадает с архаическим периодом греческой литературы, и обозначение «архаический» может быть условно применено и к истории его развития. Однако на новом этапе изучения этого вопроса более приемлемым и удачным представляется определение «ионийский период». Оно точнее характеризует одновременно и место возникновения, и диалект, лежащий в основе этой первой разновидности древнегреческого литературного языка. Не следует вместе с тем сводить понятие литературного языка этого времени к языку художественной литературы, поскольку первый значительно шире по своему охвату и выполняемым им многообразным общественным функциям. Язык же художественной литературы составляет, хотя и весьма существенный, но не единственный компонент возникающего литературного языка.

Определяя начальный этап развития греческого литературного языка как его первую или ионийскую разновидность, автор желает подчеркнуть свое убеждение в том, что следует считаться с существованием в древней Греции одного и единого литературного языка, а не с несколькими различными, как это принято было постулировать до сих пор. Необходимо впредь более точно определять эпический (гомеровский язык) и видеть в нем не первый литературный греческий язык, а лишь первый жанровый язык зарождающейся греческой литературы.

Появление древнегреческого литературного языка стало возможным в результате длительного исторического развития греческих племен и их диалектов, с одной, и относительно высокого экономического и общественного уровня жизни, достигнутого греками в условиях Малой Азии VIII—VI вв. до н. э., с другой стороны.

²⁵ Ср.: М. М. Г у х м а н, Литературный язык, в кн.: «Общее языкознание», М., 1970, стр. 504: «... литературный язык включает не только язык художественной литературы, но также язык публицистики, науки и государственного управления, деловой язык и язык устного выступления, разговорную речь и т. д.»

ХОДОРКОВСКАЯ Б. Б.

ИТАЛИЙСКИЙ ДЕНТАЛЬНЫЙ ПРЕТЕРИТ И ПРОБЛЕМА
ЛАТИНСКОГО ИМПЕРФЕКТА

В италийских языках есть тип суффиксального перфекта на *-t-*, *-tt-*, происхождение которого и место в системе глагола остаются во многом неясными. Основной характеристикой его является то, что он образуется исключительно от основ на *-ā-*, большей частью отыменных, но и нескольких первичных. Такое жесткое ограничение в образовании не имеет параллелей в италийском глагольном формообразовании и остается необъясненным. Неясно и то, имеет ли перфект на *-t-*, *-tt-*, засвидетельствованный лишь в одной группе языков, в оскском, пелигнском, марруцинском и вольском, соответствие в других италийских языках. Этот вопрос получил сейчас особую остроту в связи с распространенной в современном языкознании теорией об отсутствии генетического единства италийских языков. Так, М. Билер утверждает, что одним из наиболее заметных расхождений между италийскими языками является полная перестройка системы перфекта в каждом отдельном языке, которая привела к тому, что можно назвать лишь один глагол, имеющий одинаковую форму перфекта в латинском и оскско-умбреком, это глагол «дать»: лат. *dedit*, оск. *dedet*, умб. *dede*¹. Так как, по его убеждению, такое радикальное преобразование глагольной структуры языка не могло произойти за 10—12 веков, отделяющих исторические италийские языки от предполагаемого протоиталийского, то возникают серьезные сомнения в их едином происхождении. Наконец, не решен также вопрос о том, связан ли оскско-сабелльский перфект на *-t-*, *-tt-* с дентальным претеритом в других западных индоевропейских языках, главным образом, в германских языках, есть ли общие структурные признаки, свойственные дентальным образованиям глагола в тех и других языках, или их следует считать новообразованием в каждой отдельной группе языков.

Для того чтобы оскско-сабелльский перфект на *-t-*, *-tt-* можно было сопоставлять с какими-то образованиями в других языках, необходимо прежде всего установить, какой из двух вариантов суффикса следует считать основным. Благодаря новым находкам оскских надписей, увеличившим число дошедших до нас форм этого типа перфекта, стало ясно, что в разных районах одни и те же словоформы пишутся различно: *famatted* (Ve 163)² в надписи из Мирабеллы Эклано, но *faamated* в Пьетраббондате и *αφαματετ* (RV-28), *αφαματεδ* (RV-17) в Россано ди Вальо³, *prufatted*, *prufattens* (Ve 8, 11, 13, 14, 19, 152, 153) в помпейских надписях и надписях из Калкателло, находящегося на месте древнего Бовиана, но *prufated* в Пьетраббондате и *πρωφατεδ* (RV-28) в Россано ди Вальо³. При этом,

¹ M. B e i l e r, The Interrelationships within Italic, «Ancient Indo-European Dialects», Berkeley — Los Angeles, 1966, стр. 57.

² E. V e t t e r, Handbuch der italischen Dialekte, Heidelberg, 1953.

³ «Studi etruschi, Rivista di epigrafia italica», 44, 1976, стр. 291, 283; M. L e j e - u n e, Phonologie osque et graphie grecque, «Revue des études anciennes», 74, 1972, стр. 10; его же, Réflexions sur la phonologie du vocalisme osque, BSL, 70, 1975, стр. 244.

однако, никакой последовательности в написании форм с простым или геминированным *-t-* в определенном районе нет; так, в ПьетраббондANTE *faamated* и *prufated* пишутся с простым *-t-*, но *seganatted* с двойным *-tt-*, то же в Бовиане: *duunated* (Ve 149) и *prufatted* (Ve 152, 153), лишь в помпейских надписях имеется тенденция к написанию форм с геминированным *-tt-*: *prufatted*, *prufattens*, *teremnattens*. Не связан тип написания и со временем составления надписи, поскольку в поздних надписях, когда геминация согласных уже была широко распространена, встречаются формы дентального перфекта с простым *-t-*, например, в Бантийском законе начала I в. до н.э. *lamatir*, *angetuzet*. Если учесть также, что формы с *-tt-* имеют место только в оскских надписях, причем так нерегулярно, и совсем не встречаются в других диалектах, то следует признать, что геминация суффиксального *-t-* в перфекте была факультативна и первоначальным суффиксом было простое *-t-*. Относительно функции удвоенного *-tt-* позволяет судить одна любопытная особенность оскского письма, состоящая в том, что удвоение согласного иногда комбинируется с интерпункцией внутри слова, например, в надписи на Абелльской колонне в формах перфекта *tribarakat. tins* и дважды *tribarakat. tuset* (Ve IB 13, 16), аналогичная комбинация встречается в надписях *ivvila* из Капуи в слове, называющем месяц, когда должна проводиться ритуальная церемония: *eiduis mamert. tiais* (Ve 86, 84, 92a, 92c). Интерпункция в итальянской эпиграфике использовалась не только как средство словораздела, но также для выделения отрезков текста, имеющих особое смысловое значение, — отдельных слов или словосочетаний или значимых частей слова (слога редупликации, преверба или суффикса). В оскском же письме наряду со срединной интерпункцией применялась как дублирующий прием геминация согласных на стыке морфем в выделительной функции, и иногда оба приема сочетались⁴. Графическая отмеченность словоформы с помощью интерпункции и неэтимологической геминации согласного соответствовала логическому выделению ее в тексте. Поэтому удвоенное *-tt-* можно рассматривать как экспрессивный вариант суффикса *-t-*. В некоторых районах распространения оскского языка, как в Помпеях, он получил преобладание и стал нормой.

Число дошедших до нас форм перфекта на *-t/tt-* очень невелико, из них несколько образованы от первичных глаголов, большая же часть от деноминативных. Отличительной особенностью первичных глаголов, имеющих перфект на *-t-*, является усложненность основы настоящего времени, включающей либо редупликацию, либо первичный суффикс *-ā-*, присоединяемый непосредственно к корню глагола. С наличием этих сублексем связана модификация лексического значения глагола.

Перфект на *-t-* имеет корневой глагол, содержащий и.-е. корень **stā-*. Это — форма *sistiatiens* «поставили» из архаичной вольской надписи начала III века до н. э. (Ve 222). Ее написание с дважды повторяющимся *-ti-* отражает диалектное мягкое произношение согласного *t*, и форму следует понимать как **sistātens*⁵. В итальянских языках редулицированная основа настоящего времени с каузативным значением «ставить» противостоит нередулицированной основе *stā-* со значением «стоять», так лат. *sistere* и *stāre*, умб. *sestu* «sisto» и оск. *stait* «stat». В сравнении с лат. *sistere* вольская основа настоящего времени *sistā-* сохраняет более древний тип основы, не подвергшийся тематизации, и имеет параллель в греч.

⁴ E. O. Wingo, Latin Punctuation in the Classical Age, The Hague-Paris, 1972; Б. Б. Ходорковская, Интерпункция и неэтимологическая геминация в итальянской письменности, «Acta antiqua» (в печати).

⁵ R. von Planta, Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, I, Strassburg, 1893, стр. 537; E. Pulgram, The Volscian Tabula Veliterna, «Glotta», 54, 1976.

ίστημι «ставлю». В образовании перфекта латинский и вольский глаголы полностью расходятся: у лат. *sistere* нет особой формы перфекта, но используется та же древняя форма с удвоением *steti*, которая служит перфектом к глаголу *stare*, т. е. различие основ настоящего времени — с редупликацией и без нее и их значений «ставить» и «стоять» — на перфект не переносится, и перфект представляет собой самостоятельное корневое образование с присущим только ему значением. Вольская же форма *sistiatiens* «поставили» образована непосредственно от основы настоящего времени с помощью суффикса *-t-*. Вместе с основой настоящего времени сохраняется и свойственное ей значение «ставить», так что функция суффикса состоит лишь в отнесении действия в прошлое. Таким образом, по типу образования и грамматическому значению вольское *sistiatiens* соответствует не и.-е. перфекту, но имперфекту, т. е. представляет собой форму прошедшего времени по отношению к настоящему времени.

Другие первичные глаголы, имеющие перфект на *-t-*, относятся к классу итеративно-интенсивных глаголов. К их числу принадлежит оск. *dadikatted* «посвятил» (Ve 151). Как и лат. *dedicāre* «посвящать», этот глагол имеет ряд формальных примет, отличающих его от соответствующего корневого глагола оск. *deikum* «говорить», лат. *dicere*: 1) основу настоящего времени с исходом на суффиксальное *-ā-* в отличие от тематической основы корневого глагола; 2) нулевую ступень вокализма в противоположность полной ступени у корневого глагола; 3) преверб, который у многих глаголов этого класса является обязательным компонентом формы (ср. такое же соотношение, как оск. *dadikatted*: *deikum* и лат. *dedicāre*: *dicere*, у латинских глаголов *educāre* «воспитывать»: *dūcere* «вести» и с меньшим числом противопоставленных признаков — *occupāre* «захватывать»: *capere* «брать, хватать» и т. д.). Работы Кс. Миньо и К. Уоткинса показали, что итальянские итеративно-интенсивные глаголы на *-ā-* имеют соответствие в других и.-е. языках, в частности в хеттском, и могут быть отнесены к древней и.-е. формальной категории итеративов, показателем которой является суффикс **-āje-* и нулевой вокализм корня ⁶. Помимо формальных признаков, отличие оск. *dadikatted* от корневого *deikum* состоит в специализации лексического значения: не «говорить» вообще, но «торжественно сообщать, посвящать богу, т. е. с торжественными ритуальными словами передавать богу». Морфологическому и семантическому различию основ настоящего времени этих глаголов соответствует также различие форм перфекта: простой глагол *deikum* имеет корневой перфект, его основу показывают формы перфективного будущего оск. *dicust*, умб. *dersicust* < **dedicust*, тогда как у глагола с интенсивным значением перфект (претерит) образуется от основы настоящего времени *dadikatted*.

К тому же классу итеративно-интенсивных глаголов относятся еще два глагола, имеющие формы претерита на *-t-*. Это *amatens* (Ve 218) из архаичной марруцинской надписи середины III века до н. э., содержащей текст закона. Традиционно марр. *amatens* сопоставляется с лат. *amāre* и считается, что марруцинский глагол употреблен в тексте закона не в значении «любить», но во вторичном значении «хотеть» или «быть довольным, соглашаться». В. Пизани предложил и позднее И. Кноблех обосновал другую этимологию ⁷, по которой марр. *amatens* на основании сопоставления с лат. *ampla* «ручка», *amplus* «охватывающий, обширный», возможно,

⁶ X. Mignot, Les verbes dénominatifs latins, Paris, 1969, стр. 262; C. Watkins, Vertretung der Laryngale in den indogermanischen Sprachen Anatoliens, «Flexion und Wortbildung», Wiesbaden, 1975, стр. 374.

⁷ V. Pisani, Le lingue dell'Italia antica oltre il latino, Torino, 1964, стр. 121; J. Knobloch, Lateinisch, *amare* und die Bronzetafel von Rapino, «Die Sprache», 13, 1967.

также с фалиск. *pramed* «пусть возьмет» рассматривается как интенсив с основой *am-ā-* (**m-āje-*) «хватать, принимать», находящийся в таком же соотношении с глаголом *emere* «брать, покупать», как оск. *dadikatted: deikum* и лат. *dēdicāre: dīcere*. Отрезок текста *eituam amatens uenalinam* И. Кноблох переводит «взяли деньги, вырученные от продажи», а В. Пизани «приняли (решение) относительно денег».

Второй глагол представлен формой *fundatid* из архаичной латинской надписи из Люцерии с текстом закона о священной роще (Ve 228i). Язык надписи латинский, но со следами значительного влияния со стороны оскского языка, сказавшегося и на форме *fundatid*, имеющей оскский формант конъюнктива перфекта *-tid* (ср. оск. *tribarakattins*). Употребление этой словоформы в тексте показывает характерное для нее интенсивирующее значение: *in hoc loucarid stircus ne [qu]is fundatid* «в этой роще пусть никто кала не наваливает». В этом значении основа *fundā-* противопоставлена тематической основе глагола *fundere* «лить, высыпать, бросать» (ср. такое же соотношение у глаголов *aspernārī* «отбрасывать»: *spernere* «отстранять», *cōnsternāre* «повергать в страх»: *sternere* «расстилать», т. е. соотношение интенсива и простого глагола).

Итак, первичные глаголы, имеющие претерит на *-t/tt-*, относятся к двум типам образования, это глаголы итеративно-интенсивные с первичным суффиксом *-ā-* < **-āje-* или корневые (корень с исходом на *-ā-*) с редупликацией и каузативным значением. Претерит на *-t/tt-*, сохраняя основу настоящего времени, сохраняет и свойственное ей специализированное значение, относя лишь действие в прошлое, т. е. имеет функцию и.-е. имперфекта.

Остальные глаголы, имеющие претерит на *-t/tt-*, отыменные: оск. *duunated* «подарил», *seguanatted* «обозначил», *famatted* «приказал», *prufatted* «одобрил», *teremnattens* «ограничили», пелигн. *coisatens* «позаботились», *locatin* «отдали в подряд», конъюнктив перфекта оск. *lamatir* «пусть будет растерзан», *tribarakattins* «пусть (не) строят». Большая часть их имеет факитивное значение, например, *duunated* «подарил = сделал подарок», *seguanatted* «обозначил = сделал знак». Надо думать, что тот факт, что в классе глаголов, имеющих претерит на *-t-*, объединены отыменные глаголы с факитивным значением и итеративно-интенсивные глаголы, не случаен и показывает относительную однородность этого класса, основанную на сходстве суффикса **-āje-* у тех и других глаголов и транзитивном, подчеркнуто активном их значении. По характеру значения к ним примыкает корневой редулицированный глагол *sistiatiens* с каузативным значением «ставить».

С морфологической точки зрения оскско-сабелльскому перфекту на *-t-* соответствует в умбрском перфект на *-f-*, который также образуется от первичных и отыменных глаголов с вокалическим исходом основы, и образование происходит непосредственно от основы настоящего времени. Общим признаком является и то, что у первичных глаголов основа настоящего времени усложнена, как и у глаголов с перфектом на *-t-*, но не морфологически — путем редупликации или первичной суффиксации, а синтаксически — путем сочетания с превербом. Известно, что каково бы ни было положение преверба по отношению к глаголу, и.-е. глагол образует с превербом одно «семантическое» слово⁸. В умбрском языке семантическая спаянность преверба с глаголом обнаруживается в том, что некоторые префиксальные глаголы, получая благодаря превербу но-

⁸ C. Watkins., Preliminaries to the Reconstruction of Indo-European Sentence Structure, «Proceedings of the IX International Congress of Linguists», London, 1964, стр. 1037.

вое значение, имеют перфект с суффиксом *-f-* в отличие от однокорневых простых глаголов, имеющих корневой перфект.

Так глагол «дать» имеет в италийских языках корневой перфект с удвоенным: оск. *dedet*, умб. *dede*, фалиск. *dedet*, пренест. *dedit*, лат. *dedit*. Структура его презентной основы не совсем ясна, так как форма индикатива презенса представлена лишь вестин. *didet* «dat», не считая латинских форм. Большинство исследователей считает, что в италийских языках презентная основа подверглась тематизации⁹, но некоторые ученые полагают, что в отдельных формах (умб. императив *titu, dirstu* «dato», конъюнктив презенса *dirsa* «det») сохранилась атематическая основа **di-də-* от и.-е. корня **dō-/*dā-*¹⁰. Атематическую основу, но без редупликации, показывают и формы настоящего времени латинского глагола *dā-mus* (**dā-mos*), *dā-tis*. Этот глагол «дать» с превербом *an-* < *amb-* «вокруг. с обеих сторон» употребляется в умбромском в специальном значении «дать круг, окружить, очистить», обозначая ритуальное действие, при котором жрец обходит город, замыкая его в круг с целью очистить народ и защитить его от опасностей. Он представлен формами перфективного будущего *andirsafust, atefafust*, в которых выделяются презентная основа *an-dirsa-* и суффикс перфекта *-f-*. Презентная основа легко интерпретируется как корневая атематическая основа **an-di-dā*, конечное *ā* которой восходит к и.-е. *ə* (**an-di-də*, вид и.-е. корня **dā-*), как и в латинских формах *dā-mus, dā-bō*, арх. *reddībō*. От этой презентной основы с помощью суффикса *-f-* образована основа перфекта *an-dirsa-f-*, сохраняющая вместе с презентной основой и ее специализированное значение. Можно думать, что различное соотношение основ презенса и перфекта у простого глагола «дать», где обе основы представляют собой корневые образования (**di-də-* или **di-de/o-*: *de-d-*), и у того же глагола с превербом, где вторая основа связана непосредственно с основой настоящего времени (*an-dirsa-* < **an-di-dā* : /*an-dirsa-f-*), отражает древнее различие форм претерита, из которых одна восходит к и.-е. перфекту, а другая к имперфекту.

Аналогичное соотношение форм — корневой перфект у простого глагола, претерит на *-f-* у префиксального — имеет место в формах глагола «идти». Основе корневого презенса *ei-* простого глагола (ср. императив пелигн. *eite* «ite», умб. *eetu* < **ei-tōd*) соответствует корневой перфект с основой *i-* (ср. перф. буд. умб. *i-ust* «ierit», лат. перфект *i-ī*), но тот же глагол с превербом *ambr-* «вокруг» (ср. императив умб. *ampr-ehetu* «ambito») имеет претерит на *-f-*, образованный непосредственно от основы настоящего времени (ср. перф. буд. *ampr-e-f-<u>us* «ambieris», *ambr-e-f-urent* «ambierint»). Как и *andirsafust*, этот глагол относится к обрядовой лексике и используется при описании обряда очищения для обозначения конкретного действия жреца, когда тот обходит город с жертвенными животными и огнем, в отличие от форм простого глагола «идти», которые встречаются в различных контекстах.

Таким образом, функция претерита на *-f-* состоит в том, чтобы, сохранив специализированное значение презентной основы, показать отнесенность этого действия к прошлому. Следует думать, что формирование типа претерита на *-f-* должно относиться к тому периоду, когда корневой перфект сохранял еще свое древнее вневременное значение или, получив уже значение претерита, имел функцию, отличную от имперфекта. В исторический период истории италийских языков корневой перфект и претерит

⁹ C. D. Buck, A Grammar of Oscan and Umbrian, New York, 1974, стр. 163; J. W. Poulton, The Bronze Tables of Iguvium, Baltimore, 1959, стр. 128; G. Bottiglioni, Manuale dei dialetti italiani, Bologna, 1954, стр. 133.

¹⁰ V. Pisani, указ. соч., стр. 161; H. Beneditktsen, The Vowel Syncope in Oscan-Umbrian, NTS, 19, 1960, стр. 189.

на *-f-* относятся к одной и той же системе перфекта, о чем свидетельствует одинаковое образование временных и модальных форм, связанных с основной перфекта, а именно перфективного будущего (например, умб. *an-dirsaf-ust*, как и *teř-ust* < **ded-ust*) и конъюнктива перфекта (например, умб. *herif-i*, как и оск. *fefac-id*).

Помимо чисто морфологических корреляций, которые заставляют видеть в формах перфекта на *-f-* древний имперфект, сохранились следы функционального различия между этим типом и другими образованиями перфекта, обнаруживаемые, однако, не в формах индикатива, а конъюнктива.

До нашего времени дошли две умбрские формы конъюнктива перфекта пассивного залога, это форма первичного глагола *herifi(r)* «коротерит, следует» (и.-е. корень **gher-* «желать») и форма отыменного глагола *pihafi(r)* «*piatum sit*, да очистится» (ср. лат. *piare* «очищать, искупать, чтить»). По своей морфологической структуре и синтаксической функции они идентичны оскским формам конъюнктива перфекта пассивного залога *sakrafir* «*sacratog*, пусть будет освящено» (ср. лат. *sacrare* «освящать, посвящать») и *lamatir* «*secetur*, пусть будет растерзан». Оск. *lamatir* дважды встречается в надписях: в заклании (Ve 6.4 *svai neip dadid lamatir akrid eiseis dunte* «если не передаст, пусть будет растерзана жестоко его зубами») и в тексте Бантийского закона (Ve 2, 21) — и оба раза в юссивной функции.

В менее категоричном значении употребляется оск. *sakrafir*, которое, будучи в тексте надписи противопоставлено герундиву того же глагола, в отличие от него отмечает не обязательность действия, но лишь желательность и допустимость: Ve 86... *iivilas sakrannas eiduis mamerttiais... sakriss sakrafir* «священные обряды (*iivilas*) должны быть исполнены в мартовские Иды... да будет совершено жертвоприношение». Э. Феттер дает в комментариях немецкий перевод «ein Opfer möge dargebracht werden». Та же функция выражения желательности действия свойственна умбрской форме *pihafi(r)*. Она употребляется в тексте молитвы (Т. Ig. VIa 26—29), в той ее части, где в форме условных предложений перечисляется возможная в городе скверна: если возник огонь, если забыты обязательные ритуалы и т. д., и цепь условных предложений заканчивается словами *esu bue peracrei pihacclu pihafei* «да будет очищение (= да очистится) очистительной жертвой, этим тучным быком» (ср. перевод Дж. Поултнея: «with this perfect ox as a propitiatory offering may purification be made»). В этом значении желательности и потенциальности действия конъюнктив *pihafei* противостоит ряду следующих за ним императивов: *pihatu* «очисти», *futu fos* «будь благосклонным», *seritu* «храни», прямо называющих требуемое действие.

Больше трудностей представляет толкование второй умбрской формы конъюнктива перфекта на *-fi*: *herifi*. Эта форма (ἀπαξ λεγόμενον) имеет такое же безличное употребление в значении «следует», как и другая форма пассивного залога того же глагола *herter* (настоящее время индикатива), отличающаяся этим значением от форм активного залога, обозначающих желание определенного лица. Поэтому можно ожидать, что синтаксическая конструкция с *herifi* должна быть такой же, какая характерна для *herter*, а именно паратактическое сочетание с глаголом в форме конъюнктива, обозначающим необходимое для выполнения действие, например, Т. Ig. III, 1 *esunu fuia herter* «следует совершить жертвоприношение», Vb 8 *clauerniur dirsas herti fratrus* «следует, чтобы клавернцы дали братьям». Тогда предложение, в котором употреблено *herifi*, следует понимать так: Vb3 *panta muta fratru atiefiu mestru karu... aferture eru pepurkurent herifi etantu mutu aferture si* «какой штраф потребует большая часть братьев... чтобы был (назначен) фламину, следует, чтобы такой штраф был». В отличие от

herter побуждение к действию здесь выражается дважды, не только лексически, но также использованием формы конъюнктива в юссивной функции (ср. употребление конъюнктива *debeat, oporteat* «следует» вместо индикатива *debet, oportet* в латинской эпиграфике). Этой избыточности средств выражения отвечает также положение *herifi* в препозиции к конъюнктиву *si* вместо обычного для *herter* постпозитивного положения.

Однако употребление форм конъюнктива перфекта в значении побуждения к действию или допустимости и желательности действия выходит за границы обычного употребления конъюнктива перфекта в италийских языках, используемого, как правило, для выражения запрещения. Впервые К. Ольдша обратил внимание на то, что имеется противоречие между обычным объяснением форм на *-fi(r)* как форм конъюнктива перфекта и их синтаксическим использованием в юссивной функции, не свойственной конъюнктиву перфекта¹¹. Утверждая, что синтаксическое значение этих форм совпадает со значением конъюнктива презенса, К. Ольдша пытался доказать, что и морфологически умбрские формы на *-fi* представляют собой конъюнктив презенса. Однако Р. Гусмани показал несостоятельность этой гипотезы¹². Сам Р. Гусмани предложил новую интерпретацию умбрских форм на *-fi* как форм специфически умбрского инфинитива, поскольку в италийских языках синтаксические конструкции с инфинитивом часто синонимичны конструкциям с конъюнктивом. Эта интерпретация недавно была поддержана Г. Риксом¹³. Однако это объяснение наталкивается на ряд трудностей. Во-первых, умбрские формы на *-fi* оказываются оторванными от оскской формы *sakrafir*, которая, будучи в морфологическом и синтаксическом отношениях подобной умбрским образованиям, сама, бесспорно, является финитной формой. Во-вторых, если принять, что формы на *-fi* являются инфинитивом, то этот инфинитив не имеет соответствия ни в одном италийском языке. Г. Рикс сравнивает окончание умбрского инфинитива *-fi*, которое он интерпретирует как *[-fiē]*, с окончанием ведийского инфинитива *-dhyai*, авест. *-diiāi*, и.-е. **-dhyōi*. Но эта реконструкция и.-е. архетипа не является общепризнанной. Так, Р. Джефферс, сопоставляя с ведийской и авестийской формами также греческий инфинитив на *-σαι*, указывает и.-е. праформу **-dhyāi*¹⁴. В этом случае отражение в виде умб. *-fi* невозможно.

Следует указать, что в юссивной функции используется в италийских языках не только конъюнктив презенса, но также конъюнктив имперфекта. Такое употребление конъюнктива имперфекта широко представлено в архаичной латыни, известно оно и в оскском языке; например, в тексте договора между городами Абеллой и Нолой: *Ve IB 23 thesavrum ... pūn patensins mūīnikad tanginūd patensins inīm ... altr[us] flerrins* «когда будут открывать клад, пусть открывают с общего согласия и... пусть возьмут и те и другие». Используется конъюнктив имперфекта наряду с конъюнктивом презенса и для выражения пожелания, особенно в архаичной латыни, например: *Plt. Asin. 418 utinam nunc stimulus in manu mihi sit* «был бы у меня сейчас кол в руках» и *Asin. 589 nimis vellem habere perticam* «очень хотел бы я иметь палку». Поскольку италийский материал дает основание считать, что оба перфекта (на *-f-* и на *-t-*) генетически представляют собой древний имперфект, то возможно, что соответствующие формы конъюнктива на *-fi(r)* и *-tir* могли сохранить некоторые древнейшие функции, выпол-

¹¹ К. О l z s c h a, Das *f*-Perfektum im Oskisch-Umbrischen, «Glotta», 41, 1963.

¹² Р. G u s m a n i, Umbrisch *pihaf* und Verwandtes, IF, 71, 1966.

¹³ Н. R i x, Subjonctif et infinitif dans les completives de l'ombrien, BSLP, 71, 1976.

¹⁴ Р. J e f f e r s, Remarks on Indo-European, Infinitives «Language», 11, 1975, стр. 134.

няемые конъюнктивом имперфекта в итальянских языках, и, таким образом, противоречие, указанное К. Ольцшей между формой конъюнктива перфекта и его функцией, не свойственной конъюнктиву перфекта, исчезает.

Формы перфекта на *-f-* есть не только в умбрском языке, но и в оскском, который оказывается единственным из итальянских языков, где представлены оба типа перфекта: на *-t-* и на *-f-*. Из немногих имеющих форм оскского перфекта на *-f-* одна образована от первичного глагола, это форма индикатива перфекта *fufens* «*fuerunt*, были» от корня **fu-* (и.-е. корень **bhū-*). Были попытки объяснить *fufens* как форму редуцированного перфекта от и.-е. корня **bhū-* или как претерит с суффиксом *-ā-* от корня **bheudh-*, **bhudh-*, но они не были приняты, и большинство лингвистов по-прежнему считают эту форму суффиксальным перфектом на *-f-*, хотя происхождение этого суффикса остается спорным.

Для классического латинского языка характерно супплетивное соединение корней **fū-* и **es-* в одной парадигме, и лишь в архаичной латыни имеются следы употребления корня **fū-* вне системы перфекта (ср. конъюнктив *fuat*, инфинитив *fore*, причастие *futūrus*). В оскско-умбрском же соотношении этих корней другое, имеется ряд форм, как императив *futu*, конъюнктив имперфекта оск. *fusid*, будущее оск. и умб. *just*, которые показывают, что корень **fu-* достаточно широко использовался и в системе перфекта. Анализ употребления этих форм показывает, что в некоторых случаях они имеют значение, отличное от значения основы *es-* «*быть*»; так, в умбрском императив *futu* встречается в значении «*стань*» (Ср. Т. Ig. VIa 30). Логично предположить, что оск. *fufens* образовано от этой презентной основы *fu-* и что аналогично умбрским формам перфекта на *-f-* первоначально это была форма имперфекта с чисто претеритальным значением. Образованию специальной формы имперфекта от презентной основы *fu-* способствовала сложная семантическая структура этой основы, объединявшая более древнее значение «*становиться*» и более позднее значение «*быть*», появившееся у корня **fu-* в результате супплетивного соединения его с корнем **es-* в одной парадигме. Интерпретация *fufens* как формы имперфекта подтверждается тем, что в оскском языке наряду с этой формой имеется еще корневой перфект (ср. конъюнктив перфекта *fu-i-d*, совпадающий в основе с латинским перфектом *fu-ī*) и соотношение основ суффиксального и корневого перфекта такое же, как в умбрском в формах глагола «*идти*» (оск. *fu-id* : *fu-f-ens* = умб. *i-ust* : (*ampr*)-*e-f-uus*), где корневое образование восходит к и.-е. перфекту (или аористу, ср. греч. ἔφυ, др.-инд. *abhūt*), а суффиксальное к имперфекту.

Но формой имперфекта принято считать оскскую форму *fufans* «*erant*, были», в которой традиционно выделяется суффикс *-fa-*, идентичный суффиксу латинского имперфекта *-bā-*. Однако в научной литературе имеются и другие высказывания; так, М. Лежен указывал, что оск. *fufans* может рассматриваться с равной степенью вероятности либо как форма имперфекта с суффиксом *-fa-*, либо как форма претерита, образованная с помощью суффикса *-ā-* от основы перфекта *fuf-ens* (тип латинского плюсквамперфекта)¹⁵. Р. Амбросини отмечал, что в оск. *fufans* ясна претеритальная функция суффикса *-ā-*, но совершенно неизвестно происхождение *-f-*¹⁶. Если еще учесть, что точной параллели в латинском к оск. *fufans* нет, так как именно глагол «*быть*» является единственным в латинском языке, который не имеет имперфекта на *-bā-*, то возникают серьезные сомнения в древности

¹⁵ M. Lejeune, *Osque fufans*, BSLP, 59, 1964, стр. 82.

¹⁶ R. Ambrosini, *Concordanze nella struttura formale delle categorie verbali indoeropei*, «Studi e saggi linguistici», II, 1962, стр. 60.

этой оскской формы. Вероятнее, форма *fufans* возникла позже, чем *fufens*, и на ее основе, и связано это было с перестройкой оскско-умбрской глагольной системы, в процессе которой исчезло первоначальное различие между корневым перфектом и суффиксальным имперфектом на *-f-*.

Тип перфекта на *-f-* представлен в оскском также несколькими формами отыменных глаголов, это *sakrafír* и *manafum* «*mandavi*, поручил», *aamanaf-fed* «*mandavit*» (написание, принятое в Помпеях, но *aamanafed* в ПьетрабондANTE). С латинским глаголом *mandāre* оскский глагол совпадает лишь частично, это касается, как формы, поскольку *aamanaf(f)ed* пишется всегда с простым *-n-*, между тем лат. *-nd-* в оскском соответствует двойное *-nn-*, например, оск. *sakrannas* «*sacrandae*», так и особенности функционирования, поскольку употребление оск. *aamanaf(f)ed* в строительных надписях в значении «поручил, приказал» чуждо лат. *mandāre*. Поэтому представляется более правильным считать *manafum*, *aamanaf(f)ed* формами суффиксального перфекта от депоминативного глагола, образованного от консонатной в исходе основы существительного *man-* «рука» (ср. умб. *manf* «руки», лат. *man-sues* «прирученный»). Значение «поручать, приказывать» восходит, вероятно, к более древнему интранзитивному значению «быть силой, обладать властью», отражая семантическое изменение, свойственное производящей основе «рука → сила, власть» (ср. хетт. *maniḫahh-* «направлять, указывать»).

Итак, сходство двух типов претерита на *-f-* и на *-t-* очевидно: 1) оба образуются от вокалической основы настоящего времени первичных и отыменных глаголов; 2) основа настоящего времени первичных глаголов характеризуется усложненностью своей морфологической и семантической структуры. Суффиксальный претерит, сохраняя вместе с презентной основой ее специализированное значение, указывает на отнесенность действия в прошлое и своей функцией имперфекта (без имперфективного значения) первоначально огличается от корневого перфекта. Но при большом сходстве обоих типов претерита есть и различие: претерит на *-f-* образуется от основ на *-ā-* и *-ǎ-*, *-i-*, *-ē-* < **ei-*, *-u-*, тогда как претерит на *-t-* только от основ на *-ā-*. С этим ограничением связана и семантическая детерминированность глаголов, образующих претерит на *-t-*: это итеративно-интенсивные глаголы, каузативные или отыменные с факитивным значением. Общей семантической характеристикой их является подчеркнутая активность. Среди же глаголов, образующих претерит на *-f-*, есть глаголы состояния (ср. оск. *fufens* «были») и глаголы с первоначальным интранзитивным значением (ср. оск. *aamanaffed* «быть силой → приказывать»). Таким образом, класс глаголов, образующих претерит на *-f-*, значительно шире и не имеет тех ограничивающих рамок, которые отличают глаголы с претеритом на *-t-*.

Структурное и функциональное сходство типов претерита на *-t-* и на *-f-* позволяет видеть в них параллельные образования с исходными дентальными суффиксами **-t-* и **-dh-*. Параллельные суффиксальные формации известны в и.-е. формообразовании. Так, на соотношении тех же согласных **-t-* и **-dh-* построены две серии именных словообразовательных суффиксов с одинаковым значением орудия или места действия: **-tro-*, **-trā-*, **-tlo-*, **-tlā-* и **-dhro-*, **-dhrā-*, **-dhlo-*, **-dhlā-*. Со стороны фонологии ничто не препятствует рассматривать оск. -умб. *-f-* как рефлекс и.-е. **-dh-*.

Однако наукой давно установлена принадлежность претерита на *-f-* к группе италийских времен, экспонентом которых является суффикс *-f/b-*, это латинский имперфект на *-bam* типа *amābam*, *vidēbam* и латинофалисское будущее на *-bōl-fo*, как лат. *amābō*, *vidēbō*, фал. *pirāfo*, *carefo*. По отношению ко всем этим формациям принята этимология, предложен-

ная Ф. Боппом, по которой они рассматриваются как перифрастические образования, второй член которых представляет собой определенную финитную форму глагола «быть». Вот, например, как объясняют латинский имперфект Мейе и Вандриес: «в инфекте претерит всегда образуется путем соположения (juxtaposition). Второй член — это претерит на *-ā-* от корня **bhewā-*, **bhū-*. т. е. **bhw-ā-*, редуцированное в *-bā-*»¹⁷. Хотя в обосновании этой теории больше всего внимания обращалось на объяснение формы первого члена, не удававшееся по причине фонетических или морфологических трудностей, форма же второго члена представлялась большинству лингвистов ясной¹⁸, но были скептические высказывания и по поводу второго члена. Так, М. Лойман с сомнением относился к возможности фонетического развития и.-е. группы **-bhū-* > лат. *-b-*, указывая, что и.-е. *-ū-* чаще всего сохраняется в латинском в положении после согласного¹⁹.

Еще менее ясен вопрос об условиях появления формы *-bam* < **-bhūām* рядом с другой формой того же глагола и того же образования, конъюнктивом *fuam* < **bhūām*, т. е., иначе говоря, вопрос об условиях появления в языке двух вариантов корня, имеющих слоговой и неслоговой характер. Обычно считают *-bam* фонетическим вариантом свободной формы *fuam*, обусловленным его энклитическим положением в качестве второго члена сочетания. Более подробное объяснение дает К. Бругман²⁰. Разбирая случаи редукции корневого вокализма, связанные с конечным положением корня в композитах, он рассматривает и тот случай, когда происходит потеря корнем типа *seŕ* слогового характера в позиции перед гласным. Он приводит ряд примеров: греч. $\nu\epsilon\omicron-\gamma\nu-\acute{\epsilon}\varsigma$ «новорожденный», др.-инд. *bī-bhū-ur* «боялись» рядом с причастием *bhūyānā-*, др.-инд. *ā-bhū-a-* «огромный» рядом с *bhūvana-*, лат. *amā-bam* (< **-bhū-ā-m*) рядом с *fuam* и т. д. В полной мере были определены условия этой редукции Е. Куриловичем²¹. Анализируя тот же случай утраты корнем типа *seŕ* слоговости в срединных слогах композиционных структур в позиции перед гласным, он указывает, что решающее значение здесь имеет закон Зиверса, т. е. редукция $\text{R} + \text{V} > \text{R} + \text{V}$ происходит только после легкого слога. Среди примеров, которые он приводит (др.-инд. *ā-bhū-a-*, *pa-pr-i-*, др.-греч. $\nu\epsilon\omicron-\gamma\nu-\acute{\epsilon}\varsigma$, $\gamma\iota-\gamma\nu-\omicron\mu\alpha\iota$, лат. *beni-gn-us* и т. д.), лат. *-bam* нет. Известно, что закон Зиверса определяет правило присоединения полугласных к согласным в связи со структурой слогов. Исследования последних лет Э. Зеебольда и Е. Куриловича, посвященные закону Зиверса, показали, что для праиндийского и индоевропейского закон Зиверса формулируется следующим образом: после тяжелого слога обязательна слоговая реализация полугласного (типы *-āTīya-*, *-āTTīya-*), после легкого слога допускается как неслоговая, так и слоговая реализация (типы *-āTya-* и *-āTTīya-*)²². Но именно этому правилу противоречит структура форм латинского имперфекта, рассматриваемых с точки зрения композиционной теории, поскольку слог, предшествующий морфеме *-bam*, всегда долгий: *amā-bam*, *vidē-bam*, арх. *ī-bam* и т. д. (единственное исключение *dā-bam*). Следовательно, или надо признать, что этимология *-v̄-bam* < **-v̄-bhūām* ошибочна, поскольку она

¹⁷ A. Meillet — J. Vendryes, *Traité de grammaire comparée des langues classiques*, Paris, 1948, стр. 292.

¹⁸ P. Baldi, *The Latin Imperfect in *-bā-*, «Language», 52, 1976.

¹⁹ M. Leumann, *Lateinische Laut- und Formenlehre*, München, 1963, стр. 111.

²⁰ K. Brugmann, *Grundriss*, I², 1, Strassburg, 1897, стр. 500.

²¹ J. Kuryłowicz, *Indogermanische Grammatik*, II, Heidelberg, 1968, стр. 213.

²² E. Seebold, *Das System der indogermanischen Halbvokale*, Heidelberg, 1972, J. Kuryłowicz, *Zwei junggrammatische Lautgesetze im Altindischen. Studien zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft*, Jena, 1976.

противоречит закону Зиверса, или надо доказать, что действие закона Зиверса не распространялось на латинский язык (что противоречит фактам, свидетельствующим о рефлексгах его в латинском), и принять, что корень **bheuz-*, **bhū-* при неизвестных условиях получил статус конститутивной морфемы имперфекта **-bhū-ā-* > лат. *-bā-*.

Но латинский имперфект можно рассматривать как изначально суффиксальное образование, суффикс которого *-bā-* возник в результате конглютинации двух претеритальных суффиксов, используемых в италийских языках: *-b-* < **-dh-* (ср. оскско-умбрский претерит на *-f-* < **-dh-*) и *-ā-* (ср. лат. *er-a-m*). Что касается фонетического аспекта, то эта интерпретация не должна вызывать возражения после исследования Г. Серба, доказавшего, что основным репрезентантом и.е. **-dh-* в латинском языке в позиции между звонкими фонемами является лабиальный смычный *-b-*, отражение же в виде *-d-* связано с особым фонетическим контекстом (рядом с *n* или *i*), способствующим сохранению согласным своего прежнего места артикуляции²³.

С морфологической точки зрения структуры, включающие два изофункциональных форманта, не представляют собой чего-то необычного. Комбинация двух суффиксов с претеритальным значением *b + ā* в латинском имперфекте объясняется тем, что в латинском и фалисском языке один из этих суффиксов *-b/f-* (< **-dh-*) имеет значение не прошедшего времени, как в оскском и умбрском, но значение будущего времени, например, *amābō*, фал. *ripafo*. Но основы оскско-умбрского претерита на *-f-* и латино-фалисского будущего на *-b/f-* тождественны [ср. оск. *sakra-f-ir* : лат. *sacrā-b-it*, умб. (*ampr*)-*e-f-uus* (< **ei-f-*) : лат. *ī-b-it* (< **ei-b-*)]. Таким образом, в италийских языках использовались одинаковые суффиксальные основы для обозначения прошедшего в одной группе языков и будущего времени в другой. Возможно, этот факт можно объяснить таким образом, что в италийских языках сохранился след того состояния, когда грамматической категории настоящего времени противопоставлялась категория не-настоящего времени, показателем которой был суффикс **-dh-*, присоединяемый к основе настоящего времени и интерпретируемый в одних языках как показатель прошедшего времени, а в других как показатель будущего времени. Можно думать, что в противопоставлении категорий настоящего времени и не-настоящего отразилось представление о времени как о движении по кругу, где понятию о «теперь» как о реально существе, противостояло понятие о предшествующем и последующем как о чем-то едином в их противоположности понятию «теперь». В этом случае материал италийских языков подтверждает высказанное К. Штрунком положение, что древнейшей индоевропейской глагольной системе была чужда языковая реализация представления о времени как о линии, продолжающейся из прошлого через настоящее в будущее²⁴.

Поскольку в латинском языке суффикс *-b-* стал показателем будущего времени, то для обозначения прошедшего времени к нему был присоединен суффикс *-ā-* с претеритальным значением, который в сочетании с *-b-* образовал морфему имперфекта *-bā-*. Характерно, что формы имперфекта на *-bam* параллельны формам будущего времени на *-bō* (ср. *amābam* : *amābo*, арх. *ībam* : *ībō* и т. д.). Следует думать, что параллелизм форм будущего времени на *-bō* и имперфекта на *-bam* привел к тому, что у глаголов, формы будущего времени которых образуются с помощью суффикса конъюнктива

²³ G. S e r b a t, Indo-European **-dh-*, latin *-b/-d-*, «Revue de philologie, de littérature, d'histoire anciennes», 42, 1968.

²⁴ K. S t r u n k, Zeit und Tempus in altindogermanischen Sprachen, 1F, 73, 1968, стр. 306.

-ē-, этот формант был также включен в состав суффикса имперфекта *-ē-bā-* (например, *feret : ferēbat, capiet : capiēbat*).

Сравнение латинского имперфекта на *-bā-* (*-ēbā-*) с оскско-умбрским претеритом на *-f-* (< **-dh-*) и находящимся в корреспонденции с ним оскско-сабелльским претеритом на *-t-* показывает, что при сходстве морфологических структур и основного грамматического значения этих образований есть и различие между ними: 1) итальянский претерит на *-f-* и на *-t-* образуется, если оставить в стороне деноминативные глаголы, от глаголов с усложненным или специализированным значением, шло ли это усложнение параллельно усложнению морфологической структуры основы за счет редупликации или первичной суффиксации, как у итеративно-интенсивных и каузативных глаголов, или за счет сочетания с превербами, т. е. это был претерит глаголов семантически и формально маркированных, тогда как латинский имперфект на *-bā-* (*-ēbā-*) образуется от любого глагола; 2) итальянский претерит на *-f-* и на *-t-* имеет чисто временное значение прошедшего времени в противопоставлении настоящему времени, тогда как латинский имперфект дополнительно характеризуется видовым значением незавершенности действия, будучи противопоставлен не только настоящему времени, но и перфекту. Таким образом, в итальянских языках сохранились следы нескольких этапов развития имперфекта, начиная с того времени, когда это был претерит отдельных семантически маркированных глаголов и групп глаголов, и кончая тем периодом, когда имперфект стал формой прошедшего незаконченного времени, образующегося от любого глагола.

Некоторые факты позволяют считать, что претерит на **-t-* и **-dh-* не был чисто итальянским образованием, но что ему соответствовал дентальный претерит в германских языках. Многообразные алломорфы дентального суффикса германского слабого претерита *t, þ, ð, d, s* могут быть сведены к двум исходным формам **-t-* и **-dh-*²⁵, совпадающим с формантами итальянского дентального претерита. Хотя в германских языках соотношение между презентными основами глаголов и претеритальными часто затемнено из-за синкопы срединных слогов и аналогизирующих тенденций, тем не менее в ряде случаев очевидно, что дентальный суффикс присоединялся не к корню, а к основе настоящего времени, как и в итальянском дентальном претерите. Так, в готском языке, за исключением небольшой группы глаголов с исходом корня на *-k-* типа *waurkjan* «делать», где выпадение *-i-* в претерите представляет собой явление, общее для всех германских языков²⁶, все классы глаголов сохраняют в претеритальной основе рефлексы словообразующего суффикса, например, *lag-i-da* «положил» (I класс), *salb-ō-da* «мазал» (II класс), *hab-ai-da* «имел» (III класс)²⁷. Сближает итальянский и германский претерит также сходство в сфере его распространения, охватывающей главным образом производные глаголы, но также и некоторое число первичных глаголов. Можно думать, что общности основных структурных характеристик итальянского и германского дентального претерита соответствует сходство морфологической функции того и другого. И здесь особый интерес вызывает гипотеза Е. Куриловича о древнейшем функциональном различии германского сильного и слабого претерита, который занимал в общегерманском позицию индоевропейского имперфекта в отличие от сильного претерита, восходящего к

²⁵ Этим исходным формам суффикса соответствуют две группы теорий происхождения германского дентального претерита: композиционные теории, которые возводят суффикс **-dh-* к п. е. корню **-dhē-*, и *t-*теории.

²⁶ В. М. Ж и р м у н с к и й, История немецкого языка, М., 1956, стр. 258.

²⁷ М. М. Г у х м а н, Сравнительная грамматика германских языков, IV, М., 1966, стр. 403.

индоевропейскому перфекту²⁸. Сопоставление германского материала с италийским придает теории Е. Куриловича большую убедительность и позволяет предполагать, что в западных индоевропейских языках, италийских, германских, и, возможно, кельтских (если, следуя А. Мейе²⁹, видеть в древнеирландском претерите на *-t-* образование с исконным суффиксом **-t-*), древнейший претерит характеризовался суффиксальной основой на **-t-* или **-dh-* в отличие от претерита в восточных индоевропейских языках, отмеченного окончаниями и факультативно аугментом.

²⁸ J. Kuryłowicz, *The Inflectional Categories of Indo-European*, Heidelberg, 1964, стр. 127.

²⁹ A. Meillet, *Remarques sur l'étymologie de quelques mots grecs*, BSLP, 26, 1925, стр. 6.

СХОТТ Х. Г.

К ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ГЛАГОЛЬНУЮ СИСТЕМУ СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Лингвисты, интересующиеся проблемой глагольного вида и способов действия в неславянских языках, в области французского языка изучают обычно прошедшие времена глагола. Иногда, как например, в книге М. Гревиса, наблюдается полное смешение грамматического вида с лексическими способами выражения видовых значений¹, что неизбежно ведет к увеличению числа глагольных видов во французском языке. И все же именно оппозиция «аорист (*passé simple*) — имперфект», как и отношение каждого из членов этой оппозиции к перфекту (*passé composé*), находятся в центре интересов французской аспектологии, если вообще можно употреблять этот термин по отношению к тому немногому, что сделано в этой области. Если и нельзя сказать, что специалисты, изучающие французский глагол, сходным образом интерпретируют факты, то сами факты по крайней мере хорошо известны. Иначе обстоит дело с конструкциями *aller + инфинитив*, *venir de + инфинитив*, *être en train de + инфинитив*, которые обычно трактуются в грамматиках очень поверхностно. Именно поэтому мы ставим перед собой задачу подробно исследовать функционирование этих трех конструкций для того, чтобы выяснить, можно ли сделать какие-нибудь выводы — положительные или отрицательные, это не имеет принципиального значения — относительно их аспектуального статуса в рамках глагольной системы.

Следует прежде всего обосновать выбор именно этих трех конструкций перед тем, как говорить о их возможной аспектологической значимости. Вопрос о глаголах и глагольных конструкциях, выступающих в функции вспомогательных глаголов и тем самым теряющих свою лексическую самостоятельность, остается открытым, несмотря на то, что в грамматиках² вводятся такие категории, как полувспомогательные глаголы и модальные вспомогательные глаголы, для того чтобы обозначить промежуточную область между чисто временными вспомогательными глаголами и полнозначными глаголами. М. Джос, основываясь на чисто формальных критериях, включает в число вспомогательных весьма ограниченный набор глаголов из числа тех, за которыми может следовать инфинитив³. М. Джос включает сюда глаголы, не имеющие инфинитива с *to*, которые также не сочетаются с вспомогательным глаголом *to do*. Хотя последний критерий не всегда действителен в разговорном языке (*you did not ought to* и др.), сочетание двух критериев образует достаточно прочное основание для

¹ M. G r e v i s s e, *Le bon usage*, 9-e éd., Paris — Gembloux, 1970.

² «Grammaire Larousse du XX^e siècle», Paris, s. a.; R. W a g n e r, J. P i n c h o n, *Grammaire du français moderne et classique*, Paris, 1962; W. v o n W a r t b u r g, P. Z u m t h o r, *Précis de syntaxe du français contemporain*, 2-e éd., Berne, 1958.

³ M. J o o s, *The English Verb, Form and Meanings*, Madison and Milwaukee, 1964.

разграничения того, что Джос приемлет, и того, что он отвергает. К сожалению, во французском языке нет таких четких показателей, как в английском: во французском нет вспомогательного глагола, функционально сравнимого с *to do*, и нет глаголов, не имеющих формы инфинитива, типа английских *shall, will, can, may* и т. д. Как же найти критерий разграничения? Для того чтобы избежать критерия ослабления собственного лексического значения — критерия, который неизбежно открывает дверь субъективизму, мы предлагаем критерий неполной парадигмы. Так как этот критерий малоупотребителен и так как, видимо, не сразу становится ясным, что в этом случае имеется в виду, полезно привести несколько конкретных примеров, прежде чем продолжать изложение.

Во французском языке (и в этом отношении он не отличается от других языков Западной Европы) имеется практически неограниченное число глаголов и глагольных конструкций, которые сочетаются с инфинитивом: *commencer à chanter, cesser de chanter, se mettre à chanter, aller chanter, venir de chanter, être en train de chanter, être sur le point de chanter, être capable de chanter*. Если поочередно употребить эти конструкции во всех формах французского глагола (*il commençait, il commença, il commencera, il a commencé — à chanter*), то можно заметить, что для конструкций *aller, venir de* и *être en train de* характерны некоторые ограничения, в то время как все остальные конструкции имеют полную парадигму. Именно в этом смысле представляется допустимым изучать различия, существующие между этими тремя конструкциями, с одной стороны, и традиционными глагольными временами, с другой. Если же, напротив, парадигма полная, безусловно, не следует менять места этих конструкций в системе (речь идет о *commencer à, cesser de, se mettre à* и др.) и отделять их от всех других глаголов с полной парадигмой; в противном случае каждая конструкция представляла бы собой новый вид, значение которого зависело бы исключительно от лексической семантики глагола.

После того, как мы попытались таким образом включить в систему глагола наши три конструкции, посмотрим, какие новые оппозиции возникают в результате такого включения. Это вводит нас в более известную область, так как эти оппозиции встречаются в грамматиках, хотя часто не сопровождаются комментариями. В большинстве случаев подчеркивается прямая связь конструкций *aller* и *venir de* с моментом речи. При описании конструкции *être en train de* грамматисты обычно довольствуются констатацией того факта, что здесь в центре внимания процесс протекания действия.

Таким образом, конструкция *aller* + инфинитив в настоящем времени выполняет функции ближайшего будущего (*futur immédiat*), которое противопоставлено простому будущему (*futur simple*). Таким образом, речь идет о чисто временной оппозиции: ближайшее будущее помещает действие между простым будущим и настоящим. Морфологически связь с презенсом выражается в том, что глагол *aller* употребляется в форме настоящего времени.

То же примерно относится и к *venir de* в настоящем времени: непосредственная связь между ближайшим прошедшим (*passé immédiat*) и настоящим находит свое морфологическое выражение в том, что глагол *venir* употребляется в настоящем времени. По поводу оппозиции, которая при этом создается, французская грамматика высказывается менее определенно, чем по поводу оппозиции «простое будущее/ ближайшее будущее». Ближайшее прошедшее включается в систему прошедших времен и не имеет при этом противопоставленного ему партнера. Далее мы увидим, что более или менее отчетливо оно противопоставлено только перфекту (*passé composé*), но почти все грамматики обходят этот вопрос молчаливо.

Конструкция *être en train de* + инфинитив занимает наиболее маргинальное положение: лишь в редких случаях встречается оппозиция, одним из членов которой является *être en train de* + инфинитив. Иногда в этой связи упоминается презенс и имперфект. Перейдем теперь к обзору фактов, наиболее существенных для каждой из трех конструкций.

I. *aller* + инфинитив. По сравнению с простым будущим, будущее, образуемое сочетанием *aller* с инфинитивом, функционирует в более ограниченной сфере. Эта ограниченность только частично связана с «ближайшим» характером аналитического будущего. Предложение типа *Je vais prendre l'anglais l'année prochaine comme langue étrangère* совершенно правильно, хотя речь и не идет в нем о моменте, чрезвычайно приближенном к настоящему. Исходя из этого, может быть сто́ит заменить термин «ближайшее» (*immédiat* или *prochain*) на «инхоативное», так как именно начинательный характер нового будущего отличает его от простого будущего. Именно оттенок начинательности не позволяет употребить конструкцию с *aller* в предложении: *Où est Jean? — Je ne sais pas. Il sera à Paris, je pense.* Другой ответ: *Je ne sais pas. Il va être à Paris, je pense.* Это ответ совсем иной и должен быть интерпретирован следующим образом: «Я не знаю, где он в настоящий момент, но я думаю, что он будет в Париже в недалеком будущем».

Именно оттенок начинательности не позволяет произвести замены в предложениях, выражающих вечные истины: *L'homme ne pensera qu'à soi; Quoi que tu fasses, la terre tournera (toujours) autour du soleil.* Благодаря начинательному будущему можно выявить особенность простого будущего, по вопросу о котором было много споров в 50—60-е годы. В этот период многие лингвисты поставили перед собой задачу выяснить, имеют ли французские времена аспектуальное значение, сравнимое со значением славянского глагола. *Passé simple* и *passé composé* определялись при этом как перфективные, имперфект и презенс как имперфективные; оставалось лишь определить характер будущего. Обращаясь к теории Г. Гийома ⁴, такие исследователи, как К. Тогебу ⁵ и Г. Вебер ⁶, устанавливают следующий параллелизм: имперфект относится к *passé simple* так же, как *conditionnel* к будущему. Этот параллелизм, который морфологически выражается наличием суффиксов *-ais, -ais, -ait*, с одной стороны, и *-ai, -as, -a*, с другой, с определенностью помещает будущее в категорию перфективности. Американец Г. Гарэй ⁷ другим путем приходит к тому же заключению. Решающим для него является то обстоятельство, что предельный глагол в форме будущего предполагает законченность действия: *se noyer — il se noiera*. Следует отметить, однако, что Тогебу и Вебер (и до них Гийом) учитывают только те окончания, которые их устраивают. Ведь параллелизм между *passé simple* и будущим весьма ограниченный: спряжения на *-ir* и *-re* не имеют и следа морфологического параллелизма, а для спряжения на *-er* он ограничивается формами единственного числа, множественное же число имеет окончания *-âmes, -âtes, -èrent* для *passé simple* и *-r-onts, -r-ez, -r-ont* для будущего. Что же касается Гарэя, то он основывается исключительно на лексической аспектуальности специальной группы глаголов и не упоминает о неопределенных глаголах. Такие глаголы в форме будущего могут выражать действие, которое находится в процессе протекания: *Je sais d'avance comment les choses se passeront: il lira quand*

⁴ G. Guillaume, *Temps et verbe*, Paris, 1929.

⁵ K. Togeby, *Structure immanente de la langue française*, Copenhagen, 1951.

⁶ H. Weber, *Das Tempussystem des Deutschen und des Französischen*, Bern, 1954.

⁷ H. Garey, *Verbal Aspect in French*, «Language», XXXIII, 2, 1957 (русск. пер. в сб. «Вопросы глагольного вида», М., 1962).

j'entrerai et il ne lèvera la tête qu'au bout de cinq minutes. Здесь форма *lira* соответствует форме (*il*) *lisait* в прошедшем: *Il lisait quand j'entraï (je suis entré) et il ne leva (n'a levé) la tête qu'au bout de cinq minutes.* Интерпретация значения формы будущего очень часто зависит от контекста: *Je suis curieux de savoir dans quel état nous la trouverons. — Oh, elle pleurera; Je suis curieux de savoir quelle sera sa réaction. — Oh, elle pleurera.* В первом примере речь идет о действии в процессе протекания, в то время как второй пример содержит действие, для которого указан начальный момент. Таким образом, в первом случае абсолютно невозможно заменить *pleurera* на *va pleurer*. К сожалению, во втором примере замена хотя и возможна, но наталкивается на трудность, которую создает связь с настоящим: трудно начать действие, выраженное конструкцией *aller* + инфинитив в момент, который сам уже находится в будущем, если только намерение совершить действие не существует уже в момент речи. Предложение *Il va prendre l'anglais l'année prochaine* не вызывает сомнений. Но предложение *Quand tu le verras l'année prochaine, il va te raconter tout lui-même* кажется странным. Ситуация отчасти напоминает то, что писали о *passé composé* грамматисты прошлого века: результат действия длится еще в момент речи, или же временной отрезок, обозначенный обстоятельством времени, является частью настоящего: *Il a fini ses études; Il a nagé ce matin, но Il nagea hier.* Однако во французском языке больше нет этого ограничения и ничто не мешает французу сказать: *Il a nagé hier, l'année passée* и т. д. Не исключено, что то же ослабление связи с настоящим происходит и в значении конструкции *aller* + инфинитив.

В настоящее время все еще существует это ограничение для *aller* + инфинитив, хотя действие его ослаблено. Поэтому личная форма глагола употребляется в двух временах, которые выражают связь с настоящим — либо непосредственную (презентс индикатива), либо перенесенную в план прошлого (имперфект индикатива). Когда *aller* функционирует в другом времени, он сохраняет самостоятельное лексическое значение: *Il alla chercher du lait; Il ira faire des courses en ville demain.* При употреблении презенса или имперфекта интерпретация значения формы зависит от контекста или от лексического значения инфинитива. В примере *Où va-t-il? — Il va ouvrir la porte* контекст позволяет выявить значение конструкции, в то время как в следующем примере этому способствует лексическое содержание инфинитива: *Je vais rester tranquillement chez moi pour lire un peu.* В первом примере *aller* употребляется в полном лексическом значении, в то время как во втором примере *je vais rester* не может быть не чем иным, как формой начинательного будущего.

Когда начинательное будущее употребляется в прошедшем времени, только контекст или экстралингвистическая ситуация позволяют судить о том, совершилось или не совершилось действие. Предложение *J'allais partir quand mon ami est arrivé* может быть продолжено двояко: 1) *... de sorte que je ne l'ai vu que quelques instants;* 2) *... et alors j'ai remis mon départ.* Так как реализация действия в любом случае следует за моментом наступления факта, невозможно здесь употребить форму будущего в прошедшем (*partirais*).

Другой случай, когда форма простого будущего не может быть употреблена вместо начинательного будущего, представлен в следующем примере: *Quand il va pleuvoir, j'ai des rhumatismes.* Имеется в виду время, предшествующее началу дождя. В такого рода предложениях речь всегда идет о повторяющихся действиях, а не о единичном событии.

II. *venir de* + инфинитив. Для *venir de* связь с моментом речи значительно более очевидна, чем в случае с *aller*. Так как *passé composé* обладает лишь факультативной связью с моментом речи, *venir de* является маркиро-

ванным членом этой оппозиции, а *passé composé* — немаркированным. Оппозиция с имперфектом и *passé simple* носит эквиполентный характер, так как в этих оппозициях трудно выделить маркированный член или дифференциальный признак. В противоположность тому, что было сказано о начальном будущем, *venir de* не сочетается с обстоятельством времени: *Il vient de partir hier* невозможно, если только не сделать паузу перед *hier*. В сочетании *Il vient de partir, hier* обстоятельство времени добавляется как обособленное уточнение. Поэтому довольно немногочисленны такие случаи, когда *passé composé* может быть заменен на *venir de*. Из трех предложений: *Les Allemands ont occupé Paris*; *Les Allemands ont occupé Paris le 14 juin 1940*; *Les Allemands ont occupé Paris du 14 juin 1940 jusqu'au 25 août 1944* — только в первом примере возможна замена, в том случае если действие имело место в очень недалеком прошлом. Пятнадцатого, шестнадцатого или семнадцатого июня 1940 г. можно было сказать *viennent d'occuper*, теперь же замена на *viennent de* невозможна. Во втором предложении следовало бы отделить обстоятельство времени от остального предложения (так же, как мы сделали в предложении *il vient de partir, hier*); кроме того, в силе остаются ограничения, введенные нами для первого примера в отношении недавнего прошлого. Третий пример вовсе не допускает замены, так как оккупация рассматривается как нечто цельное, имеющее статический характер. Таким образом, мы видим, что для конструкции *venir de* + инфинитив характерны более строгие лексические ограничения, чем для *aller* + инфинитив. Объясняя проект сооружения дороги, инженер мог бы сказать ... *et cette route va mener à Fontainebleau*, хотя *mènera* было бы более употребительно, но *... *et cette route vient de mener à Fontainebleau* невозможно ни в какой ситуации. Таким же образом можно сказать: *Est-ce qu'il possède cette maison?* — *Non, mais il va la posséder, le contrat est déjà signé*, но невозможно **Est-ce qu'il possède cette maison?* — *Non, mais il vient de la posséder, il l'a vendue hier*. Сочетание с *venir de* возможно только в том случае, если глагол *posséder* тождествен глаголу *tromper*: *il ne s'est aperçu de rien, mais Jean vient de le posséder*. Когда *venir* употребляется в форме имперфекта, временная точка, по отношению к которой конструкция *venir de* + инфинитив выражает ближайшее прошедшее, сама находится в прошлом. В отличие от того, что было отмечено для этой конструкции в настоящем времени, в прошедшем времени она сочетается с обстоятельствами времени: *Quand je suis arrivé hier, il venait de partir, donc je ne l'ai pas vu*. Конструкция *venir de* + инфинитив образует здесь оппозицию с плюсквамперфектом и можно было бы даже говорить о ближайшем плюсквамперфекте (*plusqueparfait immédiat*).

До сих пор мы говорили только о случаях употребления *aller* и *venir* в презенсе или в имперфекте индикатива. Встает вопрос о том, функционируют ли рассматриваемые нами конструкции в субжонктиве. Мы уже видели, что в других временах индикатива *aller* сохраняет полное лексическое значение, но это невозможно для *venir de*, так как у него полного лексического значения вообще нет. Таким образом, еще приходится рассмотреть, как обстоит дело с *venir de* в других временах индикатива. Свидетельства грамматистов по этому поводу отличаются неполнотой и нерегулярностью. Гревис указывает на то, что *venir de* служит для передачи завершеного в недалеком прошлом действия. Он не отмечает ограничений в употреблении, однако для *aller* он отмечает, что субжонктив и *conditionnel* не употребительны. И хотя Гревис не говорит об этом явно, для *venir de* характерны те же ограничения, что и для *aller*. Х. Стен цитирует в своей книге⁸ следующее предложение Ж. Ромэна: *S'il s'agissait de battre*

⁸ H. S t e n, *Les temps du verbe fini (indicatif) en français moderne*, Copenhague, 1952.

des positions que nous viendrions nous-mêmes d'abandonner, on comprendrait qu'ils hésitent. К. Хегер, однако, отмечает эту конструкцию звездочкой⁹. С другой стороны, Хегер приводит пример, взятый из романа М. Бютора, в то время как Стен не отмечает возможности такого употребления: *Vous boirez lentement.. un café-latte mousseux... lisant les quotidiens que vous viendrez d'acheter au moment même où le cycliste les aura livrés.* В обоих случаях мы имеем дело с маркированным литературным стилем и, безусловно, речь идет о маргинальных явлениях, принадлежащих к идиолекту этих двух авторов.

Я не нашел ни одного примера на употребление субжонктива, и это не удивительно. С одной стороны, мы имеем конструкции, которые выражают связь глагольного действия с определенным моментом, чаще всего моментом речи, с другой — наклонение, настоящее время которого часто определяется как вневременное (*atemporel*). (Гийом уже обратил внимание на отсутствие у субжонктива четких временных характеристик.) Я оставляю в стороне имперфект субжонктива, который постепенно становится все более неполноценной формой и который часто заменяется презенсом субжонктива; тем самым подчеркивается вневременной характер последнего: *Je suis heureux qu'il vienne (le voilà qui vient); Je suis heureux qu'il vienne la semaine prochaine; J'étais heureux qu'il vienne, tout en sachant qu'il était un peu malade.* Любопытно отметить, что в то время как нормативная грамматика дает очень точные описания употребления субжонктива, неточностью характеризуются лишь правила употребления в субжонктиве конструкций с *aller* и с *venir de*. Так, француз, у которого спрашивают, можно ли сказать *Je suis heureux que tu ailles lire le journal ici sans sortir* или *Je suis content que tu viennes de terminer ton travail*, не может обратиться к предписанным правилам, к тщательно выделенным и заученным в школе запретам. Возможно, он ответит: «Я не знаю. А впрочем, почему и нет». И вместе с тем, он сам с легкостью никогда не употребит подобного рода конструкцию.

III. *être en train de* + инфинитив. Сфера употребления *être en train de* + инфинитив более подробно изучена, чем сфера употребления конструкций, которые мы только что рассмотрели. Так как эта конструкция выражает действие в процессе его протекания, времена, которые предполагают завершенность действия, не сочетаются с этой конструкцией: **Il fut en train de boire* (*passé simple*); **Il a été en train de boire* (*passé composé*); **Il aura été en train de boire* (*futur antérieur*); **Il eut été en train de boire* (*passé antérieur*); **Il avait été en train de boire* (*plusqueparfait*). Конструкция *être en train de* + инфинитив функционирует преимущественно в презенсе и в имперфекте, а также в будущем (что может служить аргументом против Тогебу, Вебера, Гарэя и Гийома). Предложения *Tu ne vois pas que je suis en train de travailler? Laisse-moi tranquille!* и *Quand je l'ai vu hier, il était en train de travailler* показывают, что в центре внимания здесь конкретное протекание действия. Здесь можно даже говорить об оппозиции между формами *travaillait* и *était en train de travailler*, как в следующих примерах: *Quand je lui ai parlé, il travaillait*, т. е. у него было место (работа), он не был безработным; *Quand je lui ai parlé, il était en train de travailler*, т. е. в тот момент он был занят работой. В первом примере не известно, как интерпретировать форму *travaillait*, в то время как *était en train de travailler* может иметь только одно значение. Оппозиция становится еще более отчетливой при употреблении будущего. Сравните следующие предложения: *Je boirai un verre de vin* и *Je serai en train de boire un verre de vin* (это вам позволит легко меня найти, если в кафе будет много народа). Так как протекание не

⁹ К. H e g e r, Die Bezeichnung temporal-deiktischer Begriffskategorien im französischen und spanischen Konjugationssystem, Tübingen, 1963.

предполагает точной точки отсчета, конструкция может быть употреблена в сложноподчинительном предложении: *Crois-tu qu'il soit en train de faire des bêtises?* Так называемый *imparfait pittoresque*, который употребляется чаще всего для фиксации внимания читателя в начале рассказа, не может быть заменен конструкцией *être en train de* + инфинитив: *Chateaubriand naissait à Saint-Malo le 4 septembre 1768*; **Chateaubriand était en train de naître à Saint-Malo le 4 septembre 1768*. Второе предложение возможно в том случае, если к нему присоединить придаточное времени: *Chateaubriand naissait (était en train de naître) le 4 septembre 1768, quand...*, но в таком случае это уже не *imparfait pittoresque*.

Что же касается лексических ограничений, следует отметить, что *être en train de* не сочетается с глаголами состояния: *Cette route mène à Amsterdam*; **Cette route est en train de mener à Amsterdam*. И, с другой стороны, *être en train de* не сочетается с глаголами точечного характера, если речь идет об единичном действии: **La mine était en train d'éclater*. При употреблении множественного числа речь может идти о следующих друг за другом действиях: *Des mines étaient en train d'éclater partout, quand il entra dans la ville*. Я никогда не встречался с употреблением, подобным английскому: *He is silly — He is being silly (Il est bête — Il fait l'idiot)*, и я не знаю, возможно ли предложение *Il est en train d'être malheureux* в смысле «*Il est activement occupé à être (à montrer qu'il est) malheureux*».

Если мы будем считать только что рассмотренные нами три конструкции членами парадигмы французского глагола, то они будут маркированными членами целого ряда новых оппозиций. Так как французский язык в ходе своего развития утратил соответствие между глагольной формой и лексическим видом и так как все французские времена сочетаются с любыми лексическими видами, лексические ограничения, отмеченные нами для трех конструкций, вновь вводят во французскую грамматику элемент, давно из нее исчезнувший. До сего дня романисты не уделяли этому элементу внимания, которого он заслуживает. Следует, однако, сделать исключение для некоторых лингвистов: мы имеем в виду В. Поллака, Г.-Х. Христманна и Х. Клайна в ФРГ, Я. Шабршулу в Чехословакии, Е. А. Реферовскую в Ленинграде. Во Франции М. Голиан, сотрудник парижского университета им. Декарта, в 1977 г. защитил специальную диссертацию¹⁰. Голиан отмечает, что только начинательное будущее может сравниться по частотности употребления с другими «временами». Мы также видели, что именно в случае сочетания *aller* с инфинитивом происходит ослабление конкретного значения. Впрочем низкая или высокая частотность употребления не может служить решающим аргументом за или против включения наших конструкций в систему французского глагола. Р. Зандворт отказывает оппозиции прогрессив / непрогрессив в аспектологической значимости на основании редкой употребительности формы прогрессива¹¹. В связи с тем, что Зандворт сравнивал ситуацию в английском языке с ситуацией в славянских языках, и особенно потому, что он считал опасным употреблять один и тот же термин «вид» для двух столь различных систем, он пришел к отрицательному ответу на вопрос, поставленный в заглавии статьи. Мы придерживаемся более позитивной точки зрения, сознавая при этом, что ситуация, наблюдаемая во французском языке, имеет мало общего с отчетливой грамматикализованностью славянского вида. Больше, чем при изучении славянских языков, исследователи

¹⁰ M. G o l i a n, L'aspect verbal en français? Thèse de 3^e cycle non publiée, soutenue en 1977 à Paris V, René Descartes.

¹¹ R. Z a n d v o o r t, Is «Aspect» an English Verbal Category?, Gotheburg Studies, No 14. Contributions to English Syntax and Philology, Göteborg, 1962.

французского языка должны обнаруживать и изучать скрытые категории, о которых пишет Б. Л. Уорф¹². Эти категории, хотя и не имеют доступного прямому наблюдению морфологического выражения, играют в языке не менее важную роль.

В настоящей статье я не касался конструкций *devoir*, *vouloir* и *pouvoir* + инфинитив, не остановился на теоретических выводах из того факта, что в определенных случаях маркированная форма начинательного будущего является единственно допустимой. Но начало уже положено и даже если еще не существует таких схем, используя которые можно было бы получить ответы на все вопросы, следует продолжать исследования в такой интересной области, какой является французский глагол.

¹² B. L. W h o r f, Language, Thought and Reality, Cambridge (Mass), 1956.

ЯКУБАЙТИС Т. А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Автоматизация научных исследований стала насущной необходимостью сегодняшнего дня. Возможность передать машине наиболее трудоемкие и рутинные задачи позволяет значительно сократить сроки выполнения теоретических и прикладных разработок, что открывает реальную перспективу перехода научных исследований на качественно новый уровень.

Вполне закономерно, что и вопросы, связанные с различными аспектами использования ЭВМ в лингвистике, стали предметом серьезного и делового обсуждения¹. В ходе этого обсуждения вырисовывается большой класс задач теоретического и прикладного характера, где применение ЭВМ целесообразно и жизненно необходимо. Важно добавить, что в отличие от других наук проблема автоматизации лингвистических исследований актуальна не только для самой науки о языке. Она смыкается с решением задачи обеспечения диалога человека и машины в целом.

Известный опыт применения ЭВМ накоплен во многих коллективах языковедов нашей страны. Так, в лаборатории математической лингвистики Института языка и литературы АН ЛатвССР с помощью ЭВМ выполнена работа по статистическому описанию лексики, словообразования и морфологии современного латышского языка. В результате впервые для латышского языка получены разнообразные статистические данные. Они широко используются для решения прикладных задач лингвистического и нелингвистического характера.

В лаборатории на базе этих данных разрабатывается теория количественного варьирования языковых единиц в речи. Именно эта проблема определила принципы формирования выборочной совокупности текстов. Она составлялась таким образом, чтобы охватить основные жанры современной латышской письменной речи. Все тексты разделены на три группы: научные, газетно-журнальные и художественные. Каждая из этих групп подвергалась дальнейшей градации, соответствующей специфике данной сферы функционирования языка. Совокупность текстов с такой сложной многоступенчатой композицией позволяет, по мнению авторов, избежать влияния авторской индивидуальности и преобладания текстов одной тематики и получить наиболее «усредненные» характеристики. Вместе с тем исследователь имеет возможность комбинировать тексты в нужной для его целей пропорции, поскольку в публикациях Лаборатории отражены данные как по всей совокупности, так и по каждому типу текстов.

Общий объем текстов составляет один миллион двести тысяч словоупотреблений. Структурная и хронологическая однотипность совокупности обеспечивает корректность сравнения данных и позволяет не от-

¹ Эти вопросы, например, рассматривались в сентябре 1977 г. на бюро Отделения языка и литературы АН СССР. См. также публикации журн. «Вопросы языкознания» за 1976 и 1977 гг. и др.

носить выявленные расхождения за счет разницы в методике обработки текстов.

Результатом статистического описания лексики явился четырехтомный «Частотный словарь латышского языка»². Каждый том содержит списки алфавитно-частотный, включающий все зафиксированные в массиве текстов слова, собственно частотный и частотные списки подязыков данного тома. Во введении³ описана методика подбора и обработки текстов, приведены результаты первичной статистической обработки материала (длина словника и средняя повторяемость слов, лексический спектр, оценка эффективности словаря и др.), дана сравнительная характеристика лексики подязыков.

На базе сводного алфавитно-частотного списка был составлен и опубликован отдельной книгой «Обратный частотный словарь латышского языка»⁴. Словарь предваряется статистическим описанием суффиксов существительных, прилагательных и глаголов. Для каждого суффикса указана его суммарная частота и ее распределение по типам и подтипам текстов, что позволяет судить о степени варибельности суффиксов. Оказалось, что в этом отношении именные и глагольные суффиксы обнаружили существенные различия. Именные суффиксы довольно чувствительны к типу текста, в то время как глагольные суффиксы проявили значительную стабильность: их ранги практически одинаковы во всех типах текстов. Для всех суффиксов были рассчитаны основные статистические характеристики. Различия между именными и глагольными суффиксами проявились и здесь. Так, все именные суффиксы имеют асимметричное распределение, значительно отличающееся от нормального. Распределение же глагольных суффиксов достаточно хорошо аппроксимируется нормальной кривой.

Статистическому описанию подверглись также части речи, их основные категории и формы⁵. Для каждой части речи определен ее удельный вес во всех типах текстов (см. табл.).

Расчитаны также основные статистические параметры частей речи и произведено их сравнение, в результате чего выявлены некоторые стабильные характеристики. Например, во всех типах текстов около половины словоупотреблений составляют существительные и глаголы. Все части речи имеют один и тот же вид распределения (нормальный); что же касается наиболее существенных различий, то в этом отношении вся обследованная совокупность текстов достаточно четко может быть разделена на две части: тексты художественные и нехудожественные. И так как наиболее заметны различия именно у тех частей речи, которые дифференцируют разговорную и неразговорную речь, то можно предположить, что водораздел проходит скорее по линии книжности — разговорности. Показателен, например, такой факт: только в единственном типе текстов, а именно драматургических, доля глаголов больше доли существительных. Подробно описаны также категории и формы каждой части речи.

Обработка текстов проходила в два этапа. Сначала каждое текстовое слово возводилось к исходной (словарной) форме и ему приписывалась подробная морфологическая информация. Подготовленный таким образом массив вводился затем в память машины, и все последующие опера-

² «Latviešu valodas biežuma vārdnīca 4 sējums», Rīga, 1966—1976

³ В каждом томе имеется перевод «Введения» на русский язык

⁴ «Обратный частотный словарь латышского языка», Рига, 1976

⁵ Соответствующие данные отражены в двух книгах по грамматической статистике и сборнике статей «Статистика и функциональные стили языка», Рига, 1977.

Части речи	Их доля (в %) в текстах ¹			
	технических	газетно журнальных	художественных	научных
Существительные	46,4	43,8	28,1	43,1
Глаголы	17,6	17,4	23,1	17,7
Прилагательные	8,7	7,1	5,4	8,7
Наречия	4,7	6,4	10,0	5,5
Числительные	1,3	1,7	1,2	1,5
Местоимения	5,7	8,5	14,6	6,7
Союзы	6,5	7,0	7,3	7,6
Предлоги	7,0	5,2	5,1	6,2
Частицы	1,1	1,9	4,6	1,5
Междометия	0,0	0,0	0,6	0,0
Аббревиатуры	1,0	1,0	0,0	1,5

¹ Длина каждого типа текстов — 300 тыс. словупотребления

ции ⁶ (сжатие массива и его упорядочение по любому признаку, поиск слов по всему массиву или его части, получение необходимых статистических характеристик и др.) выполнялись с помощью ЭВМ. С печатающего устройства получили списки, которые после обычного редактирования были пригодны для отправки в типографию.

В ходе работы лаборатория пользовалась сначала ЭВМ второго поколения (Минск-23 и Минск-32), затем получила возможность перейти к машинам третьего и четвертого поколения. Трудности, связанные с использованием в лингвистике ЭВМ второго поколения, общеизвестны. Они объясняются в основном тем, что машины этого класса предназначались более для выполнения расчетов, чем для информационно-логических операций. ЭВМ третьего и особенно четвертого поколения меняют возможности и характер взаимодействия исследователя и машины.

Современные ЭВМ отличаются от предыдущих не только увеличением быстродействия и объема памяти, но и усложнением функций, оснащением большим набором пакетов стандартных программ и комплексом различных аппаратов и устройств. Эти особенности новых ЭВМ позволяют устранить или значительно уменьшить многие трудности, с которыми сталкиваются языковеды, обращаясь к помощи машин. Прежде всего это относится к возможности усовершенствовать методику ввода — вывода и коррекции информации, поиска и исправления ошибок, контроля и редактирования результатов обработки материала. Для этих целей наиболее удобным устройством оказался терминальный комплекс, снабженный дисплеем. Он позволяет непосредственно видеть на экране вводимую информацию, вносить любые изменения и коррективы, которые автоматически записываются в память ЭВМ, соединенной с этим терминалом.

В АН ЛатвССР на новых ЭВМ (ЕС-1030 и Ванг-2200) реализован диалоговый режим работы с группой дисплеев. Использование интерактивных методов значительно увеличивает оперативность общения с машиной и тем самым расширяет класс задач, для решения которых целесообразно к ней обращаться, поскольку можно получить на запрос немедленный ответ в печати или на экране дисплея. Это облегчает всякого рода проверочные работы, поиск слов или форм по всему массиву или его части, получение списков слов с определенным признаком и т. д. Например, так выглядит ответ, полученный на дисплее, а затем на твердой печати, на

⁶ Эта часть работы выполнялась совместно с Институтом электроники и вычислительной техники АН ЛатвССР.

запрос «найти адрес слова *Kredits*», которое в массиве из 300 тыс. словоупотреблений встретилось всего три раза:

ФОРМА РАСПЕЧАТКИ ЗАПИСИ УДОВЛ. ЗАПРОСУ				
№ ПОДЪЯЗЫКА	№ ВЫБ.	СЛОВО	ГРАММАТИКА	ЧАСТОТА
3	93	KRED ĪTS	S M SG GN PR	1
3	95	KRED ĪTS	S M SG GN PR	1
3	93	KRED ĪTS	S M PL AK PR	1

Но, пожалуй, наиболее характерная черта современного этапа развития вычислительной техники — возникновение многомашинных систем и сетей, объединяющих работу машин города, страны или ряда стран ⁷. Это позволяет намного увеличить надежность, быстродействие, экономическую целесообразность ЭВМ, осуществлять обмен данными и совместное решение задач.

Вычислительные сети и системы не только открывают новые перспективы и возможности для автоматизации лингвистических работ, но и ставят перед языковедами ответственные и сложные задачи. Одна из первых задач — создание банка данных и программ, предусматривающих их многократное и многоаспектное использование. Возможность обмена данными между машинами, входящими в систему или сеть, позволит сравнивать характеристики разных языков для решения теоретических и прикладных задач не только языкознания, но и других наук.

Однако успех автоматизации лингвистических исследований зависит не только от совершенствования вычислительной техники, но и от того, насколько решены связанные с автоматизацией теоретические проблемы. Так, например, сейчас усилия многих лингвистов-прикладников направлены на решение конкретных вопросов лингвистического обеспечения ЭВМ. Для большинства из них необходимы многообразные статистические характеристики, ценность и доказательная сила которых определяется их надежностью и достоверностью. Однако лингвостатистика пока не располагает достаточно убедительными критериями для подобной оценки. Несмотря на значительный опыт составления автоматических словарей и практику использования математической статистики для обработки экспериментальных данных, теория лингвостатистики находится в неудовлетворительном состоянии. Как известно, основной аппарат математической статистики был разработан в основном в ее технических и биологических приложениях. Поэтому перенесение этого аппарата на такой неизмеримо более сложный объект, как язык, требует тщательных предварительных исследований. Прежде всего следует соотнести фундаментальные понятия математической статистики с лингвистическими данными, проверить, насколько применимы к языковому материалу ее исходные посылы, на которых базируется основной статистический аппарат. Эти утверждения представляются самоочевидными, однако далеко не всегда они принимаются во внимание в конкретных работах. Например, авторы ряда лингвостатистических работ считают возможным при вероятностно-статистическом моделировании текста исходить из гипотезы независимости появления в нем языковых элементов. В лаборатории была проведена серия экспериментов, в которых вычислялись некоторые статистические параметры частей речи в разных по длине отрезках связного, т. е. реального текста. Оказалось, что изменение параметров, обусловленное

⁷ Первая у нас в стране вычислительная система с многоуровневой иерархией протоколов создается в Латвийской Академии наук.

увеличением длины текста, носит иной и значительно более сложный характер, чем в случае независимости событий⁸. Результаты этих экспериментов показывают, что необходимо внести определенные коррективы в статистические методики, опирающиеся на постулат о независимости событий.

Решение многих проблем лингвостатистики упирается в необходимость экспериментов и сложных расчетов. Следовательно, это еще один класс лингвистических задач, настоятельно требующих применения вычислительной техники.

⁸ См.: Т. А. Якубайтис, К. Н. Скляревич, А. Т. Бахарев, О некоторых аспектах автоматизации лингвистических исследований, «Автоматика и вычислительная техника», 1978, 2.

ФЕДОРОВА М. В.

О ТИПАХ НОМИНАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В большинстве современных языков главным средством создания и закрепления мысли-понятия является слово, поэтому слово — важнейший компонент предложения в акте общения. Вместе с тем в процессе познания окружающего мира мышление каждого коллектива опирается на накопленный понятийный запас, связанный с соответствующими вербальными средствами, поэтому во всех языках, обладающих словами, как *названия*, точнее — *средства номинации*, используются не только отдельные слова, но и определенные группы слов. Этим мотивируется необходимость изучения всех средств номинации в языке — в их индивидуальных качествах, их совокупности и их взаимодействии. Важность подобного исследования для каждого языка отмечена учеными Пражского лингвистического кружка¹, для русского языка — В. В. Виноградовым.

Изучение номинативных средств русского языка пока еще находится в начальной стадии. Проблемы номинации в связи с общими вопросами ономазиологии в русистике последних десятилетий рассматриваются рядом авторов, из работ которых наиболее интересными нам представляются исследования И. С. Торопцева, В. Н. Мигирова, В. И. Кодухова². Наша статья связана с результатами наблюдения над фактами современной русской номинации³, позволяющими говорить — хотя бы в рабочем порядке — о критериях выявления номинативных единиц русского языка (номинант).

Несколько уточняя ранее принимавшуюся нами классификацию средств русской номинации, выделяем три основных типа номинант: 1) однословные, или *монологемные*, 2) *комплексные* с разграничением в их составе *бинарных* (из двух знаменательных слов) и *собственно комплексных* (из большего числа слов), 3) *описательные*. В предлагаемой статье рассматриваются бинарные номинанты на фоне монологемных номинант. В общем рассмотрении

¹ Сам факт наличия описательных средств в языке был известен еще в античный период: «Не обязательно всегда требовать, чтобы термины выражались одним только словом, ибо часто встречаются понятия, которые не могут быть выражены одним только словом» (Аристотель, Аналитики Первая и вторая, Л., 1952, стр. 95). Возможность выражения в одном языке описательным оборотом того, что в другом языке выражено одним словом, была и в поле зрения В. Гумбольдта.

² Из опубликованного в последнее время гыделим сб. «Язык вые значения» (Л., 1976), в котором представлены результаты исследования проблемной группы, работающей под руководством В. И. Кодухова.

³ Из более ранних работ см.: М. В. Федорова, Лексико-грамматические очерки по истории русских местоимений, Воронеж, 1965, стр. 27 и сл. (лексическая и синтаксическая номинация); е е же, О лексических единицах и номинативных средствах, сб. «Актуальные проблемы лексикологии», Новосибирск, 1967; е е же, Номинативные и лексические средства языка, сб. «Актуальные проблемы лексикологии», Минск, 1970.

этим фактам номинации соответствуют два из трех типов значений⁴, выделяемых И. С. Торощевым: значения единое и целостное.

Целостное значение обычно принадлежит фактам монолексемной номинации: *сосна, день, юность*.

Рассмотрим качества слова *юность* в тексте *На заре туманной юности Всей душой любил я милую* (А. Кольцов). Это слово имеет однопредметную отнесенность и поэтому свое отдельное лексическое значение. Оно характеризуется или может характеризоваться одностепенной отнесенностью⁵ к действительности, ср.: *Юность моя давно прошла*. В силу предыдущих качеств это слово является отдельным членом предложения и позволяет отдельный логический вопрос. Это слово входит как отдельное звено в иерархическую связь знаменательных слов в пределах предложения: зависит от *на заре*, имеет зависимое *туманной*. Следовательно, оно обладает сочетаемостью, равной единице⁶. Наконец, это слово сопровождается постпаузой и допускает препозитивную паузу (препаузу) или введение на ее месте знаменательного слова (*моей* или другого). Обладающие совокупностью подобных качеств слова и являются монолексемными номинантами.

В тексте *И пращ, и стрела, и лукавый кинжал Шадят победителя годы* выделенные слова связаны не иерархической, а линейной (сочинительной) связью, обладая остальными шестью признаками монолексемных номинантов каждое. Таким образом, для однословных номинативных средств типичны шесть признаков постоянных и один переменный (линейная/иерархическая связь). Эти признаки и обуславливают такое значение номинанты, которое И. С. Торощев называет целостным. Эти признаки мы используем в качестве опорных при рассмотрении других средств русской номинации, в частности — бинарных номинантов.

Объединения из двух знаменательных слов в русском языке разнообразны: начнем с рассмотрения сочетаний, именуемых свободными. В сочетании *туманной юности* прилагательное употреблено метафорически: «далекая, а поэтому вспоминаемая неясно», но это не лишает его своей однопредметной отнесенности: слово говорит не о признаке юности, а о качестве воспоминаний говорящего. Поскольку же *туманной* грамматически со словом *я* не связано, оно имеет хотя факультативную, но одностепенную отнесенность к действительности⁷. Наличие двух этих

⁴ О разграничении значений целостных, единых и общих см.: И. С. Торощев, О природе отношений компонентов в фразеологизме и свободном сочетании, «Совещание лингвистов Юга России и Северного Кавказа по вопросу связи слов в словосочетании и предложении» (Тезисы докладов), Ростов-на-Дону, 1961, стр. 46; его же, Лексическая мотивированность (На материале современного русского литературного языка), «Уч. зап. Орловск. гос. пед. ин-та», XXII, 1964, стр. 40.

⁵ Об одностепенности и двустепенности отнесения мысли к действительности см.: П. В. Чесноков, О связи слов в предложении, «Совещание лингвистов Юга России и Северного Кавказа по вопросу о членах предложения» (Тезисы докладов), Ростов-на-Дону, 1959, стр. 23 (и более поздние работы этого автора).

⁶ «Всеобщим определяющим признаком несвободных сочетаний является номинативно-коммуникативная целостность, сущность которой состоит в том, что компонент несвободного сочетания в данном семантическом качестве способен осуществить коммуникацию только в составе данного сочетания. Все сочетания с этим признаком характеризуются сочетаемостью, равной единице» (В. М. Никитевич, Несвободные сочетания, их соотношение со свободными сочетаниями и отдельным словом, ФН, 1964 2, стр. 43).

⁷ В семантико-синтаксическом аспекте такие прилагательные отличаются от именованных собственных признаков определяемого (типа *зеленая трава*). Эти отличия позволяют разграничить — соответственно — контреральные и интереральные определения, но об этом мы говорим особо. Здесь ограничимся одним примером контрерального определения. В предложении *Это моя третья жена* определение, формально указывающее признак определяемого слова, реально характеризует говорящего (грубо — «неоднобрачный мужчина»).

и пяти других признаков позволяет слово *туманный* отнести к числу монолексемных номинант. Обращаясь к словам *я* и *любил* в этом же тексте, видим, что каждое из них обладает указанной совокупностью признаков, причем пауза между ними возможна более длительная (сказуемая пауза) при данном порядке слов и еще более длительная — при обычном (*я любил*).

Каждое из двух слов в представляемых ниже двусловных объединениях не обладает всей совокупностью признаков, типичных для монолексемных номинант, но оба слова вместе этими признаками обладают. Это дает нам основания выделять б и н а р н ы е н о м и н а н т ы, представленные четырьмя группами фактов.

Первую группу образуют номинанты, имеющие большую древность и представленные параллельными им во всех индоевропейских языках. В этом случае объединяются первое местоименное и второе неместоименное слова, причем первое представляет обобщенно-родовое понятие, второе — признак его, стабильный или мобильный. Это н о м и н а т и в н ы е г р у п п ы (НГ) с постоянным расположением компонентов во всех индоевропейских языках: *qui tacet, consentit — к т о м о л ч и т, соглашается — м о л ч а щ и й соглашается*⁸.

В НГ славянских и русских в роли второго компонента могут выступать знаменательные слова разных частей речи: *к т о б е д е н, тот тебе не пара; не щ и, ч т о н е т в о е; перепиши, к т о з д е с ь* и т. п. Однако чаще всего — и опять-таки во всех индоевропейских языках — в качестве второго компонента выступают глагольные слова. На этом основании сейчас говорят о глагольной номинации⁹. В наших работах, опубликованных до 1968 г., уже были показаны принципиальные качества членов НГ и глагольных слов в их составе. Здесь качества глагольных слов отражают древнюю близость между именами и глаголами, а а поэтому глаголы в НГ имеют не сказуемостно-глагольную, а атрибутивную, качественно-определительную семантику. Компоненты НГ по отдельности не разрешают использования логических вопросов, ибо связь между ними не является ни линейной, ни иерархической. Сравнивая НГ как одно целое с однословными номинативными средствами, видим, что НГ: 1) имеют однопредметную отнесенность, 2) обладают сочетаемостью, равной единице, 3) характеризуются связью между компонентами, подобной связи между морфемами в словах типа *водовоз*¹⁰, 4) не имеют сказуемостной паузы и не допускают ее, 5) характеризуются одностепенной отнесенностью к действительности, 6) содержат глагольное слово со стертым временным значением, 7) выполняют функцию одного члена предложения, 8) следовательно, не являются придаточными в составе сложных предложений («придаточные подлежащие»), 9) обладают значением, близ-

⁸ Соответствие между *к т о вспыхив* и *вспыхивый, ч т о полезно* и *полезное* отмечал еще Ф. И. Буслаев. См.: Ф. И. Б у с л а е в, Историческая грамматика русского языка, М., 1959, стр. 279.

Рассматривая подобные конструкции в немецком языке, Е. В. Гулыга видит здесь сложноподчиненные предложения «равновесия», а о соответствующих им с однословным субстантивом говорит как о функционально-синтаксических синонимах к первым. См.: Е. В. Г у л ы г а, Сложноподчиненное предложение (на материале современного немецкого языка). АДД, М., 1962, стр. 37.

⁹ См.: «Русская разговорная речь», под ред. Е. А. Земскои, М., 1973, стр. 438 и сл. В сноске сказано о том, что «впервые об этих конструкциях как о номинативных средствах языка написала Е. А. Земская» (стр. 439) и указывается ее «Перспект» (Е. А. З е м с к а я, Русская разговорная речь. Перспект, М., 1968).

¹⁰ В таких словах нельзя определить, что важнее: «то, что это человек, который „возит“, или то, что он возит „воду“, а не иное что» (С. К а р ц е в с к и и, Еще раз к вопросу об учебниках А. М. Пешковского, «Родной язык и литература в трудовой школе», 1928, 1, стр. 42).

ким к значению отдельного слова, но это значение не целостное, а е д и н о е ¹¹.

На всем протяжении истории русского языка НГ являются прежде всего номинативными средствами субстантивного качества, почему и занимают в предложении обычно позиции подлежащего и дополнения. Этим же объясняется и древняя, и современная «препозиция» так называемых придаточных подлежащих: первое место в предложении — нормальная позиция подлежащего для стилистически не окрашенного синтаксиса: *К т о л ю б и т работу, долго живет — Л ю б я щ и й работу долго живет*. Введение соотносительного слова в такие предложения приносит в них элемент экспрессивности, но не превращает их в сложные. Такие предложения остаются о д н о с у б ъ е к т н ы м и, т. е. содержат о д и н предмет речи-мысли, название которого в виде НГ занимает чаще всего позицию подлежащего ¹². Номинанты в виде НГ имеют или могут иметь однословные параллели как в синхронном, так и в историческом плане. НГ — общенародное и универсальное средство номинации, которое часто используется в качестве компенсатора моноксемных номинаций, особенно иноязычного происхождения ¹³.

Вторую группу образуют факты, которые вычлениваются рядом исследователей из общей массы относимых к фразеологическим, но отличаются от последних нулевой экспрессивностью и нулевой (в том числе и утраченной) метафоричностью. Это общеизвестные пары ¹⁴ слов типа *железная дорога, магнитный железняк, грудная жаба*. Называем их вслед за А. А. Реформатским лексикализованными сочетаниями (ЛС). Лексикализация подобных сочетаний могла быть данной уже в процессе создания их (*удельный вес*), могла быть вторичной при утрате первоначальной мотивированности через семантику составляющих (*железная дорога*) или живописующее качество (*грудная жаба*).

Компоненты ЛС перекликаются с компонентами НГ в том отношении, что здесь ни один компонент не играет ведущей роли: одинаково важно, что минерал содержит железо и что он обладает магнитными свойствами. Иначе говоря, это семантически двусвязные пары (условно — схема *водовоз*). То, что они играют роль одного члена предложения, известно; в этом тоже черта сходства ЛС с НГ. Отличие состоит в том, что НГ содержит обязательный местоименный компонент, ЛС не содержит его. Соотносительность с однословными номинантами здесь оказывается весьма разнообразной, ср.: *грудная жаба — астма, железная дорога — железка и дорога, паровоздушная смесь — смесь* и др.

Третья группа — это числовые формулы (ЧФ) количественного характера: *двадцать один, сто пятьдесят два* и т. п. Независимо

¹¹ Эти черты НГ показаны нами и в связи с материалом XVIII в. См.: М. В. Федорова, Лексическая дублетность в текстах XVIII века (Материалы для изучения типов русской номинации), ФН, 1976, 5, стр. 65.

¹² Иную роль играет введение второго местоименного слова в предложения истинно сложные, с разными субъектами в независимой грамматически форме для каждой части сложного предложения: здесь с помощью соотносительных слов или создается ранее отсутствовавшая граница между частями сложного предложения, особенно при сочленении предложений (см.: М. В. Федорова, Русские вопросительно-относительные местоимения, ФН, 1965, 1), или эта граница делается более зримой; ср.: *Не вижу — с кем Сергей работал* и *Не вижу того, с кем Сергей работал*.

¹³ «Абонент (кто абонирует)», «гравер (кто гравировает)» и под. См.: Д. Н. Ушаков и С. Е. Крючков, Орфографический словарь для начальной и средней школы, 12-е изд., стр. 33 и 66.

¹⁴ В пределах ЛС русский язык (особенно XX в.) обладает и поликомпонентными образованиями, чаще всего трехкомпонентными, но здесь мы их характеристики не касаемся. См. о них: Д. С. Лотте, Образование и правописание трехэлементных научно-технических терминов, М., 1969.

от особой парадигмы для каждого компонента (*двадцати одного, двадцати одному* и т. д.) ЧФ семантически сопряжена с одним понятием отвлеченного числа или количества. Для существования этого понятия одинаково необходимы и компонент *двадцать*, и компонент *один* (схема *водовоз*). Функционирование ЧФ как одного члена предложения известно: *С т о п я т ь д е с я т ь д в а о т н я т ь п я т ь д е с я т т р и б у д е т д е в я н о с т ь о д е в я т ь*¹⁵. Семантическая законченность ЧФ и обуславливает устойчивую тенденцию к утрате падежных форм в их составе, что хорошо видно во всех видах и сферах реализации современного русского языка. Каждый из компонентов ЧФ обладает всеми признаками моноксемной (однословной) номинанты, но лишь вместе они дают новое значение с однопредметной понятийной отнесенностью. Таким образом, числовые формулы — особый вид бинарных и комплексных номинант, в обоих случаях обладающих единым значением.

Четвертую группу образуют парные сочетания знаменательных слов именного или отглагольного качества, которые отличаются от предыдущих групп семантикой и реального качества (ИК). В сочетаниях ИК представлено объединение смысла прямого в слове грамматически зависимом и смысла «отсутствующей данности» в слове грамматически независимом. В результате этого семантика целого в группе ИК оказывается связанной с фиксацией не данного вида /состояния/ качества предмета, а его прошлого состояния/качества, былой предметности, которой в момент говорения соответствует предметность иная, часто прямо противоположная смыслу грамматически свободного слова. Рассматривая предметную отнесенность каждого слова в парах *разбитая чашка, расстриженный поп, брошенная жена, зашитая дыра*, видим, что чашки уже нет, а есть осколки; лишенный духовного сана человек уже не может называться попом; оставленная мужем женщина уже не является женой; дыра, если она зашита, практически отсутствует. Наличие таких словесных объединений в русском языке обуславливается, видимо, именно необходимостью показать предыдущее качество или состояние предмета/лица, но в плане, синхронном с моментом речи, это номинанты ИК.

В морфологическом отношении обязательным синтаксически зависимым компонентом ИК являются причастия страдательные прошедшего времени или отглагольные прилагательные с суффиксами *-л-*, *-т-*, *-н-*. В семантическом отношении компоненты ИК равноценны (схема *водовоз*), в процессе устного общения — при данности объекта речи в ситуации или общем знании участников диалога — более важным семантически является определяющий компонент, на базе которого и создаются обычно однословные номинанты, не всегда допускаемые литературной нормой: *брошенка, расстрига* и под.¹⁶ Семантическое единство пар ИК для нас бесспорно: при отдельном рассмотрении каждого слова в плане номинации мы так же грубо нарушим логико-семантические связи, как и при отдельном рассмотрении слов в ЛС *железная дорога*. Однако вопрос о собственно синтаксической квалификации отношений компонентов ИК пока оставляем открытым.

Изложенное позволяет сделать следующие выводы.

1. Моноксемные (однословные) номинанты в русском языке обладают шестью стабильными и одним переменным признаком, что и делает их номинативными единицами.

¹⁵ Сочетаний количественных числительных с именами существительными здесь не касаемся.

¹⁶ Именно наличие в языке параллельных к ИК однословных номинаций служит одним из оснований выделения ИК.

2. Для того чтобы объединение двух знаменательных слов могло квалифицироваться как свободное, нужно наличие этих семи признаков у каждого слова. Если же эти признаки присущи только бинарному объединению в целом, то имеет место бинарная номинанта.

3. Бинарные номинанты в современном нам языке представлены четырьмя группами фактов, которые объединяются тем, что их компоненты двусвязны, т. е. ни один из них не является семантическим стержнем номинации.

4. Бинарные номинанты всех четырех групп четко противопоставляются свободным сочетаниям слов типа *белый снег, зеленая трава*.

5. НГ, ЛС и ЧФ играют роль одного члена предложения; едва ли справедливо считать разными членами предложения и компоненты номинант ИК, однако их изучение следует продолжить.

6. В пределах НГ глагольные слова играют не глагольно-сказуемостьную, а атрибутивную роль, поэтому ошибочно говорить о глагольных номинациях. Возможно, целесообразнее называть глаголы в НГ глагольными атрибутивами или как-то иначе, но их и названием нужно отделить от глаголов в качестве моноксемных номинант.

Наш подход к характеристике НГ на основе признаков моноксемных номинант позволяет говорить о том, что понятие фразовой номинации, под которое подводятся и наши НГ, и более широкие объединения слов¹⁷, является не вполне мотивированным.

7. Односубъектные предложения с НГ без второго (соотносительного) местоимения и при его наличии являются простыми предложениями; их нельзя рассматривать как сложноподчиненные предложения.

¹⁷ См., в частности: Г. Б о й ч е н к о, Принципы выбора фразовых наименований для обозначения пространственно-ограниченных объектов, «Уч. зап. Бельцск. пед. ин-та (филологические науки)», 14, 1970.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

К. С. Горбачевич. Вариантность слова и языковая норма. На материале современного русского языка. — Л., ЛО изд-ва «Наука», 1978. 239 стр.

Не так давно, лет 20—25 тому назад, нередко как в устных, так и в печатных выступлениях раздавались совершенно справедливые сетования по поводу недостаточной разработки проблем культуры речи. Сейчас мы с удовлетворением можем отметить, что в последние десятилетия в языковедческой науке стало уделяться значительно больше внимания изучению этой проблематики.

Одним из недавних исследований в данной области является рецензируемая книга К. С. Горбачевича, посвященная рассмотрению весьма актуальных вопросов, а именно функционально-историческому анализу акцентологических, фонематических и морфологических вариантов слова, а также определению их нормативной и стилистической значимости. Изучение конкуренции вариантов представляет собою важное условие в деле установления основных тенденций развития литературного языка и создания динамической теории нормы.

Среди многочисленных работ о языковой норме и проблемах нормализации литературного языка монография К. С. Горбачевича занимает особое место. Высокий теоретический уровень этой работы, в которой учтены достижения современной лингвистической мысли, обобщающие выводы, смелые поиски новых решений и прогнозы относительно ближайшего языкового будущего соединяются здесь с богатейшей и объективной фактической основой — материалом современной речи (в ее разных формах) и данными социологического обследования.

Объектом своего исследования автор избрал варианты формы слова, справедливо считая, что именно колебания в выборе и оценке таких модификаций и создают в первую очередь острую проблему языковой нормы. Но функционально-исторический анализ формальных вариантов слова и определение их нормативной и стилистической значимости — это лишь одна из задач книги. Изучение конкурен-

ции вариантов, по мысли автора, — необходимое звено в установлении основных тенденций развития русского литературного языка и создании динамической теории нормы. Наблюдения и выводы исследования в этом плане представляют собой несомненную ценность для осмысления исторического развития русского языка. В соответствии с этими общими задачами книги в качестве основного метода исследования автором выбирается функционально-динамическое и структурно-сопоставительное исследование вариантовых пар.

Рецензируемая книга охватывает весьма широкий круг актуальных вопросов, касающихся как общих признаков вариантов слова и теории языковой нормы, так и конкретных сложных и нередко спорных фактов современной речи.

Весьма важной в общетеоретическом плане представляется I глава («Вариантность слова как лексико-грамматическое явление»). Особенно существенно и плодотворно, на наш взгляд, оригинальное и достаточно убедительное рассмотрение условий, позволяющих идентифицировать языковые единицы в качестве вариантов одного и того же слова, и определение предела варьирования при сохранении тождества слова. Исходя из необходимости комплексного подхода к решению этого вопроса, автор в основу своих рассуждений кладет все же формально-генетическую общность сопоставляемых фактов, закономерно полагая, что «предел формального варьирования при сохранении тождества слова может быть найден лишь в самой форме» (стр. 13), что «все другие признаки языковых единиц с одинаковым содержанием (стилистическое различие, особенности в сочетаемости и т. д.) факультативны и уже поэтому не могут являться классифицирующими» (там же). Учитывая формальные (акцентологические и фонематические) ограничения варьирования (см. стр. 12—14) и последовательно соблюдая принцип тождества

морфологической структуры, автор добивается разграничения весьма сходных языковых единиц. Для вариантов слова, по его мнению, характерно звуковое преобразование генетически общих морфем «внутри» данного слова; например: *обёртка* и *обвёртка*, *поднимать* и *подымать*, *разноименный* и *разноимённый*, *бивак* и *бивуак* и т. п. В тех же случаях, где различие в словообразовательном аффиксе не обусловлено фонетическими причинами, налицо разные слова, а не вариант одного и того же слова; например: *волчица* и *волчица*, *остричь* и *обстричь*, *нормализовать* и *нормализировать* и т. п. Такое суженное понимание варьирования в пределах тождества слова позволяет сохранить варианты слова как объект лексикологии и нормативной лексикографии, а также отграничить их от функционально сходного явления синонимии¹.

Свежий и богатый материал, снабженный убедительным анализом, дается в четырех последующих главах книги. Новым и весьма важным для науки представляются сопоставительные наблюдения над особенностями варьирования слова на разных языковых уровнях (фонетическом, фонематическом, акцентологическом, морфологическом). Автор справедливо считает, что отрицание некоторых причин, порождавших формальное варьирование, а также стихийное стремление носителей языка и сознательные усилия нормализаторской деятельности, направленные к устранению функционально не загруженных вариантов, приводят к постепенному убыванию вариантности в языке. Однако эти процессы происходят обычно медленно и, как показывает исследование К. С. Горбачевича, осуществляются неравномерно на разных языковых уровнях: быстрее — на фонематическом уровне, медленнее — на акцентологическом и морфологическом. При этом выдвигается новое понимание роли и места семантической дифференциации вариантов на современном этапе развития русского литературного языка, которая, по мысли автора, не является сейчас основным способом преодоления парадигматической избыточности. «Стремление к смысловому распределению, — говорится в книге, — чаще отстает перед автоматизмом унифицирующего воздействия продуктивного варианта, хотя тяготение традиционной формы к отвлеченным значениям может продолжаться значительное время, что определяется как формально-структурными, так

и семантико-коннотативными свойствами лексемы. В целом же для современного языка характерно преодоление избыточности путем функционального, а не смыслового размежевания» (стр. 208).

Отмечая различия в характере вариантности на разных языковых уровнях, автор более подробно рассматривает акцентные, морфонологические и морфологические варианты слова. Здесь, по его мнению, воздействие древних акцентологических и морфологических преобразований совмещается с живыми и регулярными процессами, которые часто не только поддерживают, удлиняют сроки варьирования и конкуренции форм, но и порождают новые вариантные пары.

Отличительной и несомненно выигрышной особенностью рецензируемой книги является постоянное стремление автора прощукнуть в глубинную причинно-следственную связь языковых явлений, определить перспективность и нормативную значимость конкретных вариантных форм на фоне общих процессов развития русского литературного языка. К истолкованию причин, порождающих варьирование, автор обращается постоянно, анализируя ход конкуренции вариантов. В книге делается попытка наметить и общие (внешние и внутренние) причины варьирования. Отвергая социальную стратификацию современного общества как исходный генетический импульс вариантности (социально-профессиональные различия служат «почвой», «питательной средой» вариантных форм) и указывая на угасание воздействия причин внешнего характера (территориальные диалекты, контакты с другими языками), автор концентрирует внимание на внутрисистемных причинах актуального варьирования. К ним, с его точки зрения, принадлежат: а) действие фактора аналогии (парадигматической и синтагматической), б) неэквивалентность формы и содержания, возникающая в результате неравномерного развития этих категорий; в) многообразие структурных потенций языковой системы; г) тенденция к экономии (материальной или мыслительной); д) стремление к реализации полезных дифференциальных признаков фонем и тенденция к облегчению произношения.

В книге постоянно подчеркивается, что вариантность слова — это не просто следствие языкового развития. Как правило, варьирование формы возникает в результате борьбы противоборствующих притягательных сил (например, осознанная традиция и автоматизм речевого стандарта, деривационно-смысловые связи и структурно-формальная аналогия, грамматическая унификация и тенденция к облегчению произношения отдельного слова). Конституируя на конкретных примерах эту вечную борьбу противостоящих устремлений живого языка, автор указывает на преобладание общих, категори-

¹ Хочется обратить внимание на одну деталь. В лингвистической литературе, по нашим наблюдениям, существует разнобой в употреблении слов *однокоренной* — *однокорневой*. У К. С. Горбачевича дважды (на стр. 4 и 26) говорится об «однокоренных синонимах», хотя, на наш взгляд, здесь речь идет об *однокорневых* синонимах.

альных аналогий над частными, словопроизводными. Так, на стр. 60 и др. говорится о том, как структурно-акцентологическое уподобление отодвигает на второй план словообразовательную зависимость ударения у производных слов, даже при наличии баритонированных производящих основ. Например: *вы́хрился* (от *вы́хрь*) и вторичное — *выхри́лся* (по аналогии с *кружи́лся*, *ви́лся*, *ка́тился*, *носи́лся*, *змеи́лся* и т. п.). «Борьба между деривационными отношениями и формально-структурной аналогией, — заключает автор, — сейчас чаще решается в пользу последней» (стр. 60).

Весьма интересны в этом плане и наблюдения над возникновением родовой вариантности в современном языке у неологизмов (*цунами*, *липчи*, *авеню* и др.) и аббревиатур (*ТАСС*, *ЖЭК*, *роно*, *роз* и др.). Колебания в грамматическом роде здесь также появляются в результате общего и абсолютного в своем проявлении противоречия между формой и содержанием. Автор полагает, что немотивированность («бессодержательность») категории рода и принципиальная независимость формы от содержания проявляется в чистом виде при атомистическом подходе, при рассмотрении изолированного слова в его отношении к денотату. Но категория рода оказывается содержательно мотивированной косвенно, с точки зрения смысловых и деривационных связей между словами; ср. подведение под родовое понятие (*цунами* > *волна*) или соотнесение с производящей основой (*холодина* > *холод*). Эта косвенная (содержательная или деривационная) мотивация и служит причиной варьирования в грамматическом роде.

Наблюдения над процессом конкуренции вариантов слов осуществляются в книге на богатейшем фактическом материале. Причем в отличие от нормативно-исторических исследований В. И. Чернышева, С. П. Обнорского, Л. А. Булаховского и др., опиравшихся преимущественно на классическую литературу XIX в., материальную основу рецензируемой работы составляет главным образом словоупотребление современных авторов. Помимо письменной речи, в монографию К. С. Горбачевича вовлечены данные социолингвистических обследований, мнения известных ученых, писателей, артистов и даже наблюдения над живым словоупотреблением известных филологов (В. В. Виноградова, В. М. Жирмунского, Б. А. Ларина и др.)

Отдельная глава посвящена изложению теории языковой нормы в динамическом аспекте. Хотя автору и удалось рассмотреть основные признаки сложного (и во многом еще спорного) понятия «языковой нормы», эта часть книги написана, как нам представляется, чересчур конспективно и могла бы быть развернута и детализирована последующим описанием конкретных

фактов варьирования. Слишком бегло, например, рассматривается своеобразное и бесспорно интересное понимание принципа коммуникативной целесообразности как преимущества внутрисистемного порядка в отличие от его ситуативного истолкования в статье В. Г. Костомарова и А. А. Леонтьева. Правда, в последующих главах смысл целесообразности в этом ином понимании раскрывается достаточно четко. Однако его общая трактовка (стр. 47—48) нуждается в большей конкретизации.

Нормативные рекомендации автора в целом достаточно корректны, осторожны и подкреплены добротным материалом современного словоупотребления. И все же некоторые из них расходятся с общераспространенным указанием нормативных словарей. Правда, в «Заключении» автор отмечает, что «соображения, высказанные относительно перспективности тех или иных вариантов, не следует рассматривать как окончательные нормативные рекомендации» (стр. 209). Вероятно, следовало бы еще во «Введении» оговорить научно-исследовательский, а не дидактический подход к анализируемому материалу.

Содержание книги К. С. Горбачевича оказалось значительно шире проблемы вариантности и нормы. В ней затрагиваются и оригинально (хотя, может быть, кое-где и еще несколько смело) репаются весьма широкие лингвистические проблемы. Соотношение формы и содержания, связь и взаимозависимость разных уровней языковой структуры (например, фонетики и грамматики), взаимодействие парадигматики и синтагматики с непрерывным учетом формально-количественных показателей — эти и другие вопросы общетеоретического характера получили в рецензируемой монографии нестандартное решение и истолкование применительно к объекту исследования.

Следует отметить также четкую логическую композицию книги, изящно-лаконичный стиль изложения и весьма экономичный и рациональный прием библиографирования, позволивший автору на относительно небольшой типографской площади рассмотреть многие научные концепции и гипотезы. В этой части хочется все же высказать одно пожелание: было бы чрезвычайно полезно и интересно увидеть в исследовании научную оценку взглядов и утверждений, содержащихся в изданиях ряда писателей — Б. Тимофеева, К. Чуковского, А. Югова и др., проявивших большую активность в обсуждении вопросов речевой и нормализаторской деятельности.

Книга К. С. Горбачевича, помимо теоретической значимости, будет весьма полезной для практической нормализаторской деятельности (при составлении нормативных словарей, стилистических пособий и т. п.). Думается, что своеобраз-

ная трактовка многих острых лингвистических вопросов и свежий, актуальный материал современной речи привлекут внимание преподавателей вузов, студентов-филологов, аспирантов, учителей и всех тех, кто углубленно изучает живые процессы современного русского языка. Тем самым это исследование К. С. Горба-

чевича сослужит добрую службу и педагогической практике. Хорошо было бы, в случае переиздания книги, снабдить ее указателем слов, рассмотренных на страницах монографии, что, безусловно, облегчит пользование этой ценной книгой.

Протченко И. Ф.

Л. С. Паламарчук. Українська радянська лексикографія. (Питання історії, теорії та практики). — Київ, «Наукова думка», 1978. 204 стр.

Особое место, занимаемое лексикографией среди остальных филологических дисциплин, обусловлено прежде всего важной общественной ролью ее научной продукции — большой практической значимостью лексикографических трудов для культурной жизни общества и связанной с этим их ориентацией на самые широкие массы носителей языка. Этим же объясняется и то значительное усиление внимания и повышение требований к лексикографии со стороны общества, которое наблюдается на современном этапе, особенно в социалистических странах. Языковеды Советского Союза, представители многочисленных языков народов нашей страны отвечают на эти возросшие требования активным трудом, направленным на создание фундаментальных общезыковых — толковых и переводных, — а также многочисленных специальных словарей. В этих условиях, когда основные силы лексикографов поглощаются научно-практической работой по составлению словарей, задачи теоретического обобщения и обоснования этой важной работы решаются в целом недостаточно интенсивно. Наши языковеды до сих пор не подготовили специальной монографии по общей теории лексикографии, а изданная в 1958 г. в русском переводе книга (собственно, сборник статей и докладов) испанского ученого Х. Касареса «Введение в современную лексикографию» основывается на широко распространенном в зарубежной литературе понимании лексикографии как искусства или техники составления словарей, т. е. фактически на отрицании самостоятельной научной сущности лексикографии.

Монографическая работа Л. С. Паламарчука, заведующего отделом лексикологии и лексикографии Института языковедения им. А. А. Потебни АН УССР, содержит научное обобщение богатого личного лексикографического опыта автора и опыта руководимого им большого коллектива лексикографов в области составления ряда фундаментальных лексикографических трудов, в том числе таких, как «Русско-украинский словарь» в 3 томах, «Украинско-русский словарь» в 6 томах и «Словарь украинского языка» (толковый) в 11 томах (по времени завер-

шения работы вышло из печати 8 томов). Выполненная на такой основе работа не может не вызвать благожелательного приема и самого пристального внимания широкой филологической общественности.

Работа состоит из «Введения» (стр. 3—15), трех основных глав (стр. 16—197) и краткого заключения (стр. 198—202). Содержание «Введения» сводится в основном к освещению большой общественной важности различных типов словарей на современном этапе, обоснованию правильного понимания научного характера лексикографической работы, особенно в нынешних условиях, когда крупные лексикографические труды создаются большими коллективами научных работников в соответствии с предварительно разработанными принципами, и, наконец, к краткому обзору научных работ украинских лингвистов по теории и истории лексикографии. Свои убедительно аргументируемые положения о научно-прикладном характере лексикографии Л. С. Паламарчук удачно подкрепляет соответствующими высказываниями таких выдающихся ученых, как А. А. Потебня, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, Ф. П. Филин и М. Ф. Рильский.

Первая основная глава монографии посвящена вопросу «Развития словарного состава украинского языка в послеоктябрьское время» (стр. 16—61). Поскольку непосредственной задачей автора является анализ основных достижений украинской лексикографии, приходящихся именно на советский (и главным образом послевоенный) период, краткое рассмотрение в работе общих процессов развития лексики в этот период, подлежавших отражению в словарях, представляется вполне обоснованным. В монографии не могла быть поставлена задача подробного исследования указанных процессов, так как объем такого исследования во много раз превзошел бы рамки одной главы. Эта работа в значительной степени уже проделана в ряде публикаций других авторов и самого Л. С. Паламарчука, хотя синтетического труда по этим вопросам в украинистике до сих пор еще нет. В рассматриваемой главе, наряду с констатацией отмирания в словарном составе

украинского языка послеоктябрьского периода ряда тематических категорий лексики, дается обзор основных путей и способов интенсивного пополнения лексического состава украинского языка в этот период за счет собственных ресурсов (словообразование, в том числе аффиксация, словосложение и аббревиация, семантические изменения) и за счет заимствований из других языков (в первую очередь из русского), а также характеристика основных сфер языка, в которых наблюдается наиболее интенсивное пополнение (особенно сферы терминологии, собственных названий населенных пунктов, предприятий, учреждений, транспортных средств и других объектов общественного значения). Все рассмотренные в этой главе категории новой лексики представляют несомненный интерес для лексикографа, поскольку каждая из них может оказаться вовлеченной в сферу лексикографической обработки, — если не в общеязыковом, то в каком-либо специальном словаре или справочнике.

В рассматриваемой главе всесторонне представлена общая картина происшедших за послеоктябрьский период изменений в словарном составе украинского языка, даны четкие характеристики различных явлений, имевших место в этом общем процессе. Правильно определена ведущая роль словообразования в происходящих изменениях, подчеркнуто важное значение заимствований из других языков, в частности из русского. Несколько менее определенно сказано в этой главе о сущности и месте калькирования среди различных процессов пополнения лексики. На стр. 26 калькирование называется наряду с заимствованием как один из способов обогащения украинского языка при помощи русского. Дальше, на стр. 30, о калькировании говорится как о своеобразном виде заимствований. Объединение калькирования с заимствованием имеет под собой известное основание, поскольку в обоих случаях речь идет о влиянии одного языка на другой. Но, кроме иноязычного влияния, процесс калькирования характеризуется и другой стороной — использованием собственных словообразовательных ресурсов для создания новых слов, причем влияние другого языка может иногда сводиться лишь к едва уловимому или частичному стимулированию, так что провести четкую границу между всеми случаями калькирования и независимого словообразования практически невозможно. Ввиду этого имело бы, пожалуй, все основания рассмотрение калькирования как особого процесса пополнения лексики наряду с независимым словообразованием и заимствованием.

На стр. 22 говорится о составных именах существительных, образованных путем простого сложения двух слов типа *гата-лабораторія, шахта-гігант*. Здесь было бы желательно провести различие

между двумя категориями таких формально одинаковых образований, — а именно, устойчивыми составными словами, обозначающими единое понятие, например: *марксизм-ленінізм, революціонер-беженократ, хата-лабораторія, фабрика-кухня, верстат-автомат, ракета-носій, меч-риба*, и сложениями окказионального характера, приближающимися по своему содержанию к синтаксическим сочетаниям определения и определяемого, например: *шахта-гігант, завод-ветеран, місто-трудівник, горе-раціоналізатор, мова-першоджерело* и др.

По-видимому, стилистическим недостатком объясняется фактическая неточность утверждения о том, будто «аббревиация, собственно говоря, нового слова не порождает» (стр. 23), поскольку сам факт рассмотрения аббревиатур в монографии уже говорит о том, что и автор монографии признает их словами, и притом вовсе не тождественными тем словосочетаниям, из которых они образованы.

Вторая глава монографии — «Основные работы и главные этапы в истории украинской советской лексикографии» (стр. 62—145) — представляет собой наиболее обстоятельное и полное на данное время изложение истории украинской советской лексикографии, написанное непосредственным участником и руководителем важнейших лексикографических работ, выполнявших на Украине в течение последних 20 лет. В главе рассматривается ряд принципиальных вопросов, касающихся истории украинской лексикографии в советский период, общих тенденций ее развития, научной и идеологической оценки различных опубликованных в этот период словарей. Заслуживает безоговорочного одобрения предложенное Л. С. Паламарчуком решение вопроса о периодизации истории советской лексикографии: в отличие от попыток предшествующих авторов (И. Н. Кириченко, П. И. Горещкого), деливших довоенную украинскую советскую лексикографию на два периода, Л. С. Паламарчук, вслед за И. К. Белодедом, объединяет всю довоенную украинскую лексикографию в один общий период, рассматривая его в качестве подготовительного по отношению к послевоенному периоду, когда появились все фундаментальные лексикографические труды по украинскому языку (стр. 73—75).

Основные украинские лексикографические труды послевоенного времени (за исключением «Русско-украинского словаря» 1948 г. и первых томов шеститомного «Украинско-русского словаря») рассматриваются в работе Л. С. Паламарчука с исторической точки зрения впервые. Наряду с освещением ряда важных моментов научно-организационного характера, связанных с созданием крупнейших современных словарей украинского языка, автор

обстоятельно характеризует научные и методологические принципы, которыми руководствовались составители этих словарей, и анализирует способы воплощения этих принципов в опубликованных словарях. Поскольку большинство рассматриваемых в монографии послевоенных словарей украинского языка принадлежит к числу последних по времени работ этого типа, функционирующих и в настоящее время в качестве основных лексикографических справочников по украинскому языку, а одиннадцатитомный «Словарь украинского языка» еще даже окончательно не вышел из стадии публикации, рассматриваемая глава представляет собой не только исторический обзор украинской послевоенной лексикографии, но и в значительной степени характеристику методологических основ и научных принципов современной украинской лексикографии в целом. Рассматриваемая в этом плане глава представляет собой хороший образец научного изложения истории национальной лексикографии, развивающейся в условиях активного взаимодействия культур социалистических наций СССР.

В третьей главе, озаглавленной «История теории и практики современной украинской лексикографии» (стр. 146—197), рассматривается несколько относящихся сюда вопросов, именно таких, которые, по мнению автора, до сих пор разрабатывались меньше, чем другие, или представляются особенно актуальными как раз применительно к практике украинской лексикографии. В частности, здесь освещается роль и характер лексических источников, используемых при создании словарей, определяются критерии отбора лексического материала для формирования словника, зависящие в первую очередь от типа и назначения словаря, формулируются принципы включения в словник словаря лексических единиц, не принадлежащих к общеупотребительной лексике, причем особое внимание уделяется вопросам отражения в словарях терминологической лексики, обсуждаются вопросы целесообразности и масштабов подачи в словарях иллюстративного материала, рассматриваются некоторые вопросы технического оформления словарей, имеющие непосредственное отноше-

ние к их общему научному уровню. Предлагаемые в монографии решения этих вопросов непосредственно опираются на многолетний положительный опыт работы автора и других украинских лексикографов, и в этом заключается одно из главных достоинств рассматриваемой главы.

При чтении третьей главы особенно отчетливо прослеживается связь рассматриваемых в ней вопросов теории и практики лексикографии с историей украинской советской лексикографии, изложенной во второй главе. В целом это придает теоретическим положениям третьей главы особую основательность и убедительность. Но временами связь третьей главы со второй оказывается настолько тесной и неразрывной, что автору не удается избежать отдельных повторений. Так, например, на стр. 157—158 аргументируется необходимость использования при составлении словарей лексических материалов переводной литературы, о чем говорилось уже (правда, более сжато) на стр. 127.

Отмеченные здесь отдельные недосмотры или неточности никоим образом не отражаются на общем уровне рецензируемой работы. Монография Л. С. Паламарчука представляет собой фундаментальное научное исследование, четко освещающее историю и научные принципы украинской советской лексикографии того периода, на который приходится ее наиболее значительные успехи. В работе глубоко анализируются научные основы различных сторон лексикографической практики украинских лингвистов, вносящих в настоящее время существенный вклад в развитие советской лексикографии. Автор убедительно обосновывает ряд принципиальных положений, получивших наиболее последовательное осуществление именно в практике украинской советской лексикографии или же оставшихся до настоящего времени недостаточно разработанными в теоретическом плане. Работа Л. С. Паламарчука имеет важное значение как для дальнейшего развития общей теории советской лексикографии, так и для лексикографической практики.

Мельничук А. С.

Ю. Н. Марр. Материалы для персидско-русского словаря. Подготовка архивного материала к печати, предисловие, примечания и исследование Т. А. Чавчавадзе. Ред. Дж. Ш. Гунашвили. — Тбилиси, «Мецниереба», 1974. 342 стр.

Прошло более полувека с тех пор, как один из наиболее ярких и талантливых иранистов, рано скончавшийся Юрий Николаевич Марр (1893—1935) приступил к составлению персидско-русского словаря. Незадолго до его кончины был издан первый выпуск задуманного словаря¹. В этот выпуск вошли слова на букву «алеф» (с несколько нарушенным порядком алфавита) и первые два слова на букву «бэ». Это был не совсем обычный словарь (в дальнейшем — «Документированный словарь»). Он охватывал лексику разговорной речи, собранную Ю. Н. Марром в Иране, где он с женой, своей неизменной помощницей С. М. Марр, находился в научной командировке в 1925—1926 гг. Эти слова многократно проверялись у различных лиц. В картотеку Ю. Н. Марр включал и многие слова, не отраженные в имевшихся тогда персидских словарях и тоже проверявшиеся у различных лиц.

Ю. Н. Марр и С. М. Марр привезли из Ирана богатейшие этнографические и культовые коллекции, ныне хранящиеся в фондах и выставленные в экспозиции в Музее антропологии и этнографии АН СССР в Ленинграде². При сборе коллекций ученые одновременно фиксировали и названия предметов.

Нельзя не одобрить инициативу Института востоковедения АН Грузинской ССР, осуществившего, хотя и выборочное, издание словаря Ю. Н. Марра. В особенности следует отметить громадную и кропотливую работу Т. А. Чавчавадзе, проделанную по подготовке картотеки Ю. Н. Марра к изданию. Перед Т. А. Чавчавадзе стояло множество трудностей и по отбору самой лексики, по ее проверке, по организации словарной статьи. В целом она с этими трудностями справилась успешно. Большую помощь

в подготовке данного издания к печати оказала С. М. Марр, которой принадлежит заслуга приведения в порядок обширного архива Ю. Н. Марра³, предварительное его описание и помощь в публикации ряда оставшихся в рукописях ценных исследований и писем⁴.

Рецензируемый словарь, или «Материалы для персидско-русского словаря» (в дальнейшем — «Материалы»), Ю. Н. Марра включает свыше 1500 (точнее: 1561) словарных статей. Особенность подбора слов и перевода значений состоит в том, что и сам составитель и издатели «Материалов» включили в корпус «Материалов» главным образом лексические единицы и значения, не отмеченные ни известными персидскими толковыми словарями, ни европейскими, в том числе и персидско-русскими. Но не следует думать, что слова, вошедшие в «Материалы», представляют собой раритеты или вообще неуотребительны. Находясь в научной командировке в Иране, Ю. Н. Марр продолжал пополнять словарную картотеку как путем росписи различных письменных источников, так и расспросным методом, проверяя лексику по словарям. В 1929 г. с помощью Посольства СССР в Иране Ю. Н. Марр разослал во все города, где имелись представительства СССР, специальные таблицы красок художникам, красильщикам, преподавателям рисования с просьбой дать персидские названия различных красок и их оттенков. Это были 25 листов с закрашенными полями. Ответы были получены от различных ремесленников, включены с соответствующей

¹ Ю. Н. Марр, Документированный персидско-русский словарь, вып. I от «алеф» до «бэ», ред. акад. Н. Я. Марр, изд-во Закавказского филиала АН СССР, Тифлис, 1934, 144 стр. Литограф. изд., тираж 550 экз.; был подготовлен к печати и вып. II, который не был издан.

² На основании этих коллекций написан ряд статей: С. М. Марр, Мохаррам (Шиитские мистерии как пережиток древних переднеазиатских культов), «Сб. Музея антропологии и этнографии», XXVI — Традиционная культура народов Передней и Средней Азии, Л., 1970; Ф. Д. Ляшкевич, Одежда жителей центрального и юго-западных районов Ирана первой четверти XX в., там же; Е. П. Николаичева, Описание коллекционных предметов по шиитскому культу, там же.

³ Н. В. Елисеева, Архив ираниста Ю. Н. Марра (1893—1935), «Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Тезисы докладов II научной сессии ЛО ИНА: март 1966», Л., 1966; е е же, Архив ираниста Ю. Н. Марра (1893—1935), «История, культура, языки народов Востока», М., 1970.

⁴ Ю. Н. Марр, Добавление к статье «Тегеранские литературные впечатления», «Труды [Тбилисск. гос. ун-та]», 99, серия востоковедение, III, 1962, стр. 41—60; е г о же, О романе Хосреви «Шемс и Тогра», «Труды [Тбилисск. гос. ун-та]», 108, серия востоковедение, IV, 1964, стр. 105—217; Ю. Н. Марр, К. И. Чайкин, Хакани — Незами — Руставели, II, сост. сборника, ред. текстов, предисл. и примеч. С. М. Марр и А. А. Гвахария, Тбилиси, 1966; Ю. Н. Марр, К. И. Чайкин, Письма о персидской литературе, сост. сборника, ред. текста, предисл. и примеч. С. М. Марр и А. А. Гвахария, Тбилиси, 1976.

щими ссылками в словарную картотеку и частично вошли в «Материалы». Для акцентирования Ю. Н. Марр использовал различные издания того времени (художественную литературу, научные сочинения, учебники, современные ему периодические издания), сопоставляя выбранную лексику со словами и значениями, отмеченными в различных словарях. Многие ссылки на старые словари попали во вновь изданные «Материалы», что представляется нам не всегда оправданным, так как они касаются чаще всего архаичной лексики.

Будучи тяжело больным, Ю. Н. Марр связывался с сотрудниками советских учреждений в Иране и всеми доступными ему способами старался пополнять и выверять свою словарную картотеку. Много вопросов, касающихся неясных или спорных значений, содержится в очень интересной переписке Ю. Н. Марра и большого знатока персидского языка и литературы К. И. Чайкина.

О характере источников словаря может дать представление список сокращений, который в «Материалах» занимает 32 стр. (стр. 40—71). Уже сам этот список сокращений содержит много информации, в том числе и касающейся мало известных в настоящее время лиц и произведений персидских авторов, а иногда и русской периодики. Многие сокращения, имевшиеся в словарной картотеке, помогла расшифровать С. М. Марр, и все же около 70 сокращений, принятых Ю. Н. Марром, остались нераскрытыми, хотя число их составляет незначительный процент.

В предисловии, и особенно во вводной статье «Ю. Н. Марр как лексикограф» (стр. 13—19) достаточно подробно рассмотрены взгляды Ю. Н. Марра на принципы составления словарей, на типы словарей. Свои взгляды Ю. Н. Марр изложил в предисловии к словарю физических терминов⁵ — первому персидско-русскому словарю из задуманной им серии, в ряде своих статей и докладов, в письмах к отцу, к акад. С. Ф. Ольденбургу, К. И. Чайкину и другим лицам. В предисловии к «Материалам» Т. А. Чавчавадзе пишет: «С. М. Марр заботливо выбрала высказывания Ю. Н. Марра по вопросу составления персидско-русского словаря из частных писем, неопубликованных статей и докладов» (стр. 12). Эти высказывания собраны С. М. Марр в двух папках и в тетради «Словарь по письмам».

Как уже говорилось, в словарной картотеке фиксировались главным образом слова и значения слов, устойчивые словосочетания, фразеологизмы, не отме-

ченные другими словарями, большое число подтвердительных цитат, ссылки на различные персидские словари. По-видимому, из-за ограниченных возможностей картотека Ю. Н. Марра была использована лишь частично. Так, в «Документированном словаре» букве «алеф» отведено 138 стр. Каждая словарная статья содержит множество разнообразных сведений, фразеологизмов, устойчивых словосочетаний, грамматический и фонетический комментарий, ссылки на словари классической литературы и многочисленные условные сокращения. Например, словарная статья *отаг* «комната» занимает девять страниц, приводятся семь схем-планов с соответствующей терминологией.

В новое издание «Материалов» слово *отаг* вообще не вошло, а вместо 138 страниц на букву «алеф» отведено всего девять. Вполне естественно, что при современном уровне лексикологии и лексикографии трудно было бы целиком использовать весь словарный материал и комментарий из словарной картотеки.

За прошедшие пятьдесят лет таджикская и персидская лексикография сделала большие успехи, издано большое число новых терминологических словарей по различным отраслям знаний, общих, в которые вошла разнообразная лексика как из таджикско-персидской классической литературы, так и современная таджикская и персидская лексика. Исходя из этого, издатель «Материалов» вполне сознательно не включила слова, которые зафиксированы в изданных словарях. Правда, при этом в книгу не вошло много интересных и оригинальных наблюдений Ю. Н. Марра, содержащихся в его картотеке. Например, в корпусе словаря справедливо не использованы «экскурсы палеонтологического анализа слов», а также «диалектологические экскурсии, как не отвечающие задачам издаваемых „Материалов“» (стр. 7). Вот об этом последнем сокращении нельзя не пожалеть, учитывая недостаточную разработанность персидской диалектологии и отсутствие специальных диалектологических словарей персидского языка. Плохо изучено и персидское просторечие. Отметим, кстати, что язык современной персидской художественной литературы за последние полстолетия значительно обогатился за счет использования просторечия и диалектизмов. Приведу один пример. В современном персидском языке для обозначения мест поклонения, особенно почитаемых жителями, культовых сооружений — надгробий, мавзолеев, могил местных патროнов — «святых», священных деревьев существует ряд терминов, среди которых наиболее употребительны *эмам-зада* и наряду с ним в живом языке — *пир* (букв. «старый; старик, старец; старейшина; духовный наставник»). В своем «Документирован-

⁵ А. К. Арендс, Персидско-русский словарь физических терминов, Л., 1934. Ред. и автор краткого вступления акад. С. Ф. Ольденбург.

ном словаре» Ю. Н. Марр подробно рассматривает эволюцию значения этих терминов, переход значений. Если первое из этих слов зафиксировано в большинстве персидских словарей, то второе — *nir* в значении культового сооружения отмечает лишь Ю. Н. Марр в «Документированном словаре» под словом *эмам-задэ*⁶. Слово *nir* с переводом «культовое место» включено и в «Материалы» со ссылкой на *эмам-задэ*, которое в «Материалах» не попало. Также и в ряде других случаев при отсылке на другие слова с пометой «ср.» или «см.» сами эти слова отсутствуют (стр. 104, 215, 257 и др.). Некоторые из этих слов имеются в «Документированном словаре», но этот словарь стал библиографической редкостью, ссылки даны и на другие редкие издания, например, читатель отсылается к персидским романам, изданным в Тегеране, и др. В то же время отдельные словарные статьи — «гнезда» перегружены, как нам представляется, избыточной информацией, почерпнутой из словарной картотеки Ю. Н. Марра, например, см. обширную цитату из книги Зарудного «Птицы восточной Персии» (1903); в приводимой цитате говорится о легенде, связанной с названием одной из птиц, записанной у белуджей (стр. 191). Подобные сведения, взятые Ю. Н. Марром на заметку, имеют характер избыточной информации, что нужно было учесть при отборе фактов, которые следовало включить в «Материалы». Это относится и к ссылкам на работы М. С. Андреева, М. Ф. Гаврилова, тем более, что эти авторы писали о Средней Азии. В некоторых случаях в русской части «Материалов» в качестве перевода или толкования

приводятся русские диалектизмы, не вошедшие в русский литературный язык. Например, слово *бар* поясняется русскими словами «борошень, борошня» (тряпье, отрепье) — слова, отсутствующие в словарях русского литературного языка, но отмеченные Далем как областные.

В словарной картотеке Ю. Н. Марра и в «Материалах» нашли отражение разносторонние интересы Ю. Н. Марра, в том числе и этнографические. Богато представлена терминология, касающаяся стрельбы из лука (этим вопросом Ю. Н. Марр специально интересовался, посвятив ему одну из своих статей⁷), охоты, терминология, связанная с ковроделием, красками, бабей и банными принадлежностями, свадьбой и всеми предметами и действиями, относящимися к свадебному обряду. Так, словарная статья *аруси* «свадьба» занимает три страницы (стр. 257—260). В «Материалах» вошли термины, относящиеся к драгоценным камням, жемчугу, их свойствам, цветовым оттенкам и др.

Выход в свет «Материалов для персидско-русского словаря» Ю. Н. Марра, несмотря на некоторую субъективность в подборе лексики из словарной картотеки Ю. Н. Марра для включения в данное издание и отдельные просчеты, несомненно следует расценивать как положительное явление. Эта книга является данью памяти самобытного ученого, ираниста-лексикографа, отдавшего много сил для сбора персидской лексики всеми доступными ему средствами.

Розенфельд А. З.

⁶ Ю. Н. Марр, Документированный словарь, стр. 105. Здесь Ю. Н. Марр указывает, что это последнее значение употребительно в Азербайджане.

⁷ Ю. Н. Марр, Сборник трактатов о стрельбе из лука, «Доклады АН, В, апрель—июнь 1925 г.», Л., 1925, стр. 35—38, а также: «Трактат о стрельбе из лука» (не опубликовано).

«Турецко-русский словарь». 48 000 слов. — М., «Русский язык», 1977. 968 стр.

Авторы: А. Н. Баскаков, Н. П. Голубева, А. А. Кямилаева, К. М. Любимов, Ф. А. Салимзянова, Р. Р. Юсилова. Редакторы: Э. М.-Э. Мустафаев и Л. Н. Старостов.

Рецензируемый словарь разрабатывался группой сотрудников ИВАН СССР с конца 50-х годов. Уже к тому времени с момента выхода в свет второго издания превосходного для своего времени турецко-русского словаря Д. А. Магазаника¹ прошло около пятнадцати лет, и он давно сошел с полок книжных магазинов. Таким образом, потребность

в новом словаре была значительной. В то же время налицо были также и предпосылки для выпуска значительно усовершенствованного издания турецко-русского словаря, поскольку, с одной стороны, за истекшую четверть столетия словарный фонд турецкого языка пополнился очень большим количеством новых слов и терминов, игнорировать которые было бы неразумно; с другой стороны, работу коллектива облегчало то обстоятельство, что в 50—60-е годы лексикографическая работа в Турции получила исключительно широкий размах: много-

¹ «Турецко-русский словарь», сост. Д. А. Магазаник, под ред. В. А. Гордлевского, 40 000 слов и выражений, М., 1945 (далее — Маг-45).

кратно издавались «Толковый словарь турецкого языка»², словари исконно турецких слов, турецкого арго, пословиц и фразеологизмов и др. Исключительную ценность представляет трехтомный словарь «Океан», охватывающий свыше 300 тыс. слов и, кроме того, огромное количество фразеологизмов, составных терминов, пословиц и поговорок³. Правда, обилие лексикографических источников создавало для авторов и дополнительные трудности, во многом усложняя отбор словника, рубрикацию лексических значений полисемантических единиц, точный подбор эквивалентов турецких слов и особенно огромного количества идиоматизмов. Так или иначе, стоявшие перед авторским коллективом задачи в целом оказались решены вполне успешно. Этому, как пишут сами авторы, «во многом способствовал плодотворный опыт составления тюркско-русских и, в частности, турецко-русских словарей...» (стр. 8).

Следуя в своей работе принципам составления двуязычных словарей, авторы, тем не менее, смогли внести и ряд существенных нововведений (по сравнению с упомянутым словарем Д. А. Магазаника). Рассмотрим некоторые из них: 1) многочисленные составные глаголы (на *etmek, olmak* и др.) не выделяются каждый раз в отдельную словарную статью, а, по примеру турецких толковых словарей, даются в гнезде первого (именного) компонента, например: *inkâr* «отрицание»... □-i ~ *etmek* «отрицать»...; 2) устойчивые словосочетания, пословицы и поговорки приводятся не в статье «ключевого» слова (выявить которое подчас бывает не так-то просто), а в статье первого слова словосочетания или пословицы. Например, пословица *her horoz kendi çöplüğünde öter* «всяк кулик в своем болоте велик» в Маг-45 приведена в гнезде слова *çöplük*; в рецензируемом же словаре (с несколько иным переводом) в гнезде слова *her* «всякий», что, безусловно, удачнее (тот же принцип подачи фразеологизмов и пословиц используют все турецкие лексикографы); 3) в турецких словах указано ударение (если оно не падает на последний слог); 4) во всех случаях дается управление глаголов, что чрезвычайно важно для пользующихся словарем; 5) арабо-персидские заимствования с помощью пометы «ср.» соотношены с их эквивалентами турецкого происхождения, появившимися в языке в последние десятилетия (например:

«*neden... 2. причина; ср. *seber*»); аналогичная отсылка имеется и в гнезде слова *seber*).*

К сожалению, не совсем четко решен в словаре вопрос об устойчивых словосочетаниях терминологического типа (что было характерно и для словаря Д. А. Магазаника). Где их давать — на 1 или 2-й компонент? В рецензируемом словаре терминологические словосочетания чаще всего даются в обеих статьях — определения и определяемого слова, — что ведет к увеличению объема и без того громоздкого словаря (ср. выражения *ağır sanayi* «тяжелая промышленность», *hafif sanayi* «легкая промышленность», *bi-lağıcı hastalık* «инфекционное заболевание», *demir cevheri* «железная руда» и мн. др., приведенные в двух словарных статьях каждое). Подчас термины оказываются либо только в гнезде определения (*makine sanayii* «машиностроительная промышленность»), либо только определяемого (*el sanayii* «кустарная промышленность»), что дезориентирует читателя и отнимает у него лишнее время на поиски нужного словосочетания. Наконец, некоторые важные терминологические сочетания не попали ни в одно из двух возможных гнезд. Так, не оказалось в словаре термина со значением «мелкая промышленность» (*küçük sanayi*), хотя «крупная промышленность» есть (стр. 138); нет «обрабатывающей промышленности» (*imalât sanayii* или *uyarım sanayii*), хотя «добывающая промышленность» дана дважды (стр. 471, 750); упущено выражение *ince hastalık* «чахотка» (см. Маг-45, стр. 274) и т. д.

Весьма важную роль в общем успехе или неуспехе лексикографической работы играет словник, которым предопределяется полнота охвата актуального лексического материала в зависимости от намеченных целей. В общем выбор слов, произведенный авторами рецензируемого словаря, следует оценить положительно. Тем не менее, 48 тыс. слов — это слишком мало для того, чтобы при естественной ориентации на лексику и терминологию основных функциональных стилей современного турецкого языка пытаться отразить также арабскую и персидскую а р х а и ч н у ю лексику и фразеологию, распространенную в литературном языке XIX — начала XX в. (см. стр. 8). Включение в словник ряда «османизмов», совершенно чуждых уху нашего современника (типа *âb* «август»), — причем о полном охвате словарем лексических единиц этого рода, разумеется, не может быть и речи — достигается ценой некоторого ограничения представительства в словаре «сверхновой» лексики, т. е. неологизмов.

Каково бы ни было наше отношение к массовой замене лексических пластов арабо-персидского и в последнее время также индоевропейского происхождения

² «Türkçe sözlük», 6. baskı, hazırlayan Mehmet Ali Ağakay, Ankara, 1974 (далее — TS).

³ «Okyanus. 20. yüzyıl ansiklopedik Türkçe Sözlük», Hazırlayan Pars Tuğlacı, İstanbul, сс. 1. 2, 1971, с. 3, 1974 (далее — «Океан»).

неологизмами⁴, нельзя не учитывать того, что поощряемый Турецким лингвистическим обществом процесс словотворчества протекает в Турции исключительно интенсивно, наплыв неологизмов чрезвычайно велик и многие из них попадают в письменную речь сразу же после первого появления в печати; разговорная речь и тем более современная турецкая пресса буквально кишат этой новой лексикой, и словарь не полностью выполнит свое назначение, если не отразит ее самым широким образом. В этих условиях стремление включить в словарь лишь «продуктивные неологизмы, зарегистрированные в художественной и специальной научно-технической литературе» (стр. 9) представляется неоправданным. Читатели несомненно одобрили бы включение в словник ряда «потенциальных» лексических единиц, которые ко времени составления словаря еще не были зарегистрированы в литературе, но предположительно могли быстро войти в языковую обиход. Именно в этом случае вполне закономерно прибегнуть к помете «неол.», снимающей с составителей всякую ответственность за дальнейшую судьбу слова, помете, которая по существу не нашла себе применения в данной работе. Таким путем шел Д. А. Магазаник, разрабатывая словарь 1945 г., и, хотя большая часть неологизмов того периода, включенных в словник, не прижилась в языке, это не означает, что избранный им путь был неправильным. Безусловно, наличие в словаре единиц типа *çiftaker* «велосипед» (ср. *bisiklet*), *kılıcoyunu* «фехтование» (ср. *eskrim*), *kur-tak* «монтаж», *durduraç* «тормоз» (ср. *fren*), *örge* «мотив», *dinlence* «отдых» (ср. *tatil*), *eylemlik* «глагольное имя; масдар» и многих других⁵ еще более повысило бы его «разрешающую способность»; так, не вызывал бы трудностей перевод названий некоторых специальных терминологических словарей, например, появившегося в 1970 г. словаря Хаккы Бекенсера «Çiftaker⁶ Terimleri Sözlüğü» («Словарь велосипедных терминов»).

Впрочем вопрос этот следует признать дискуссионным. Что же касается огром-

ного числа неологизмов, уже в той или иной мере воспринятых прессой и специальной литературой (не позже начала текущего десятилетия) и зафиксированных турецкими словарями, то они весьма скрупулезно учитывались составителями, хотя и могут быть отмечены отдельные неточности в подаче русских эквивалентов таких слов. Так, *alıntı* — не только «заимствование», но и в первую очередь «цитата»; *ekin* — не только «посевы» и пр., но и «культура», соответственно *ekinli* или *ekinsel* — «культурный», *içermek* — не только «взаимно обусловливать», но и «заклучать в себе; содержать»⁷, *yaklaşım* — не только «приближение», но и «подход» (например: *daha gerçekçi bir yaklaşım* «более реалистический подход») и т. д.

Большой шаг вперед по сравнению с Маг-45 сделан составителями нового словаря в разработке арготизмов, которые в любом языке имеют тенденцию к проникновению в разговорную речь и, конечно, должны фиксироваться словарями. Следует одобрить попытку составителей при подборе эквивалентов этой лексики по возможности использовать соответствующие просторечные выражения и арготизмы русского языка, например: *aftos* арго «маруха, любовница; хахаль»; *nannik* арго «маруха, любовница»; *akoz*: ~ *etmek* арго ... *polise ~ etmek* «капнуть в полицию»; *aynasız*... 2. арго «лягавый» (о полицейском); *dayı*... 4. арго «фараон, полицейский»; *mortlatmak* арго «укокошить»; *nallamak*... 2. арго «укокошить, пришить»; *harcamak*... 3) разг. ...; «кокнуть, укокошить» арго и т. п. Конечно, не обошлось без некоторых упущений и недочетов, тем более что сами турецкие лексикографы далеко не всегда четко различают переносные значения слова, шутливые выражения, так называемое просторечие⁸, профессиональное арго и «блатную музыку».

⁷ Здесь уместно сослаться на «Турецко-русский словарь новых слов и словосочетаний» А. А. Федосова (под ред. М. Х. Зиннатуллина), вышедший в стеклографированном издании Московского государственного института международных отношений в 1971 г., где последние три слова зафиксированы в названных нами значениях.

⁸ Например, слово *kuyak* в Маг-45 шло без всяких помет: «1. прекрасный, отличный; симпатичный...» и т. д. (стр. 349). В новом словаре найдены более точные эквиваленты: «мировой», «прекрасный, отличный»; «на ять», «на большой палец» (стр. 546). Однако вряд ли в современном языке это слово можно отнести к арго; правильнее было дать помету «прост.» или даже «разг.».

⁴ См. об этом, в частности, наш обзор журнала «Türk Dili» за 1970 г. («Советская тюркология», 1971, 6, стр. 117 и сл.).

⁵ Мы называем лишь те слова, которые были введены турецкими лингвистами не позже 1970 г., так как, по имеющимся сведениям, в 70-е годы авторы, а может быть даже и редакторы словаря, почти не имели возможности пополнять словарь новыми единицами.

⁶ Слово *çiftaker* еще не попало в первый том «Океана» (1971), но представлено уже в TS-74 (стр. 185).

От предыдущих словарей этот новый словарь выгодно отличается широким охватом специальной, терминологической лексики. Так, например, в правой колонке стр. 55 всего 28 заглавных слов (не считая двух имен собственных и двух отсылочных слов); пятнадцать из них — свыше половины — являются терминами, имеющими специальные пометы и относящимися к анатомии и физиологии (4), медицине (4), зоологии (2), ботанике⁹, астрономии, технике, морскому делу и театру; еще два слова являются терминами (военным и театральным) в одном из своих значений. Для сравнения укажем, что соответствующее место Маг-45 (стр. 33) включает пятнадцать заглавных слов, причем лишь четыре из них относятся к разряду терминов (по анатомии, медицине, зоологии и военному делу). Разумеется, соотношение далеко не всегда таково, но в целом преимущество нового словаря перед Маг-45 неоспоримо. С другой стороны, при отсутствии турецко-русского словаря научной и технической терминологии изданный словарь оказывается единственным подспорьем для тех, кто занимается специальным переводом с турецкого языка на русский, и хотя полностью рассчитывать на него, естественно, не приходится, он может тем не менее оказать переводчику существенную помощь.

Остановимся теперь на одном из самых важных вопросов — вопросе о полноте словарных статей и точности предлагаемых русских эквивалентов.

Если в словарных статьях «Океана» значительно полнее, чем в рецензируемом словаре, представлены технические и прочие термины, то в отношении полноты охвата значений общеупотребительных слов, а также фразеологических и устойчивых словосочетаний эти словари вполне сопоставимы друг с другом. Что же касается TS, о каком бы его издании ни шла речь, он значительно уступает турецко-русскому словарю; к тому же в нем очень слабо отражена заимствованная лексика.

Рассмотрим в качестве примера словарную статью *iş* «работа, дело» и т. д. Если в Маг-45 названное слово занимает одну треть колонки (см. стр. 288), то в новом словаре — свыше восьми колонок, т. е. объем этой статьи увеличился в двадцать пять раз¹⁰. Для сравнения укажем, что в TS-74 (как и в TS-55) этому слову отведено менее двух столбцов.

⁹ Переводы ботанических и зоологических терминов сопровождаются в скобках их латинскими эквивалентами.

¹⁰ Такой же объем имеет словарная статья *baş* «голова», а слову *göz* «глаз(а)» отведено четырнадцать колонок, т. е. около одного печатного листа (свыше 36 тыс. знаков!)

TS и «Океан» дают, соответственно, 14 и 26 значений слова *iş*. В рецензируемом словаре некоторые частные значения слова не выделяются; впрочем те 10 значений, которые приведены, в основном исчерпывают сферу употребления данного слова, а многих терминологических словосочетаний, которые здесь даются, нет ни в одном из словарей, изданных в Турции. За знаком ромб помещено множество фразеологизмов и пословиц, так что общее число приведенных устойчивых словосочетаний приближается к 300 (примерно то же число и в «Океане»; в TS-74 в шесть раз меньше).

Достаточная компетентность составителей словаря позволяет им, за редкими исключениями, избежать серьезных ошибок в интерпретации значений турецких слов и фразеологических оборотов¹¹.

Так, в упомянутой выше словарной статье *iş* можно было бы предположить лишь три-четыре поправки редакционного характера. В частности: эквивалент речения «обеспечить всех работой» (стр. 475) правильнее было дать с глагольной формой действительного залога: *herkese iş sağlamak*; словосочетание *-i işten haberdar etmek* означает не «...держать кого в курсе чего», а «держать кого в курсе дел» (ср. ниже: *işten haberdar olmak* «быть в курсе дел»); в словосочетании *iş(in) içinde iş var* («тут что-то есть, ... здесь не все чисто; темное дело») последнее слово, чаще всего элиминируемое, следовало взять в скобки; *işe karar vermek* «замять дело» (слово *какое-либо* излишне); *излишен* (или по крайней мере должен быть взят в скобки) неопределен-

¹¹ Одним из примеров неточной интерпретации является перешедшая из Маг-45 неверная трактовка глагола *gülmek*, эквивалентом которого (в основном значении) назван глагол «смеяться». Однако по определению TS-55 *gülmek* означает «... hoşuna veya tuhafına giden olgular karşısında, yüzüne sevinçli bir hal vermek ve kimi vakit (NB) „kah kah“ diye sesler çıkararak duyugunu açığa vurtmak» (307) «при наличии чего-либо нравящегося или кажущегося странным выразить свое чувство, придав лицу радостный вид и иногда (!) издавая звуки „ха-ха“», т. е. соответствует двум русским глаголам: «улыбаться» и «смеяться». Кстати, управляя дательным падежом имени, этот глагол означает не только «насмехаться», «смеяться над кем-чем», но и «улыбаться кому-чему». Ср.: «Sonra güldü. Bütün yüzüne yayılan, açık, temiz, yalansız bir gülüşle güldü. Eski bir dosta güler gibi güldü...» (S. A l i, Kürk Mantolu Madonna) «Затем она улыбнулась. Улыбнулась широкой, ясной, чистой, непритворной улыбкой. Так, словно улыбалась старому другу...».

ный артикль *bir* в *bir işi hasır altı etmek...* «положить дело под сукно» (стр. 477); семь последних пословиц и поговорок — всего их здесь свыше двадцати — должны быть приведены в других словарных статьях, так как *iş* не является в них первым знаменательным словом (см. стр. 14, п. 18).

Если, как было сказано выше и показано на примере словарной статьи *iş* — причем можно было сделать это и на любых других примерах, — переводы текстового материала в большинстве случаев являются довольно достоверными и адекватными, то недостатками в разработке словарных статей представляются некоторые неточности в классификации лексических значений, в указании надежного управления и т. п. мелочи. Ниже остановимся на некоторых недочетах отдельных словарных статей (буквы А — Д).

Akba. Значения первое и второе следовало поменять местами (см. «Океан», стр. 45).

Anlatmak. Не дано значение «дать понять». Ср. «Kendi köylerinden birkaç mahpus sokulunca... asasına başlarını başka tarafa çevirip uzaklara bakarak bu konuşmaya devam etmekten pek hoşlanmadıklarını anlatıyorlardı» (S. Ali, Kafa Kağıdı) «Когда к ним подходило несколько арестантов из их деревни, они... время от времени отводили взгляд и (отрешенно) глядели вдаль, давая понять, что в общем-то не склонны продолжать эту беседу». Значение «дать понять; намекнуть» зафиксировано еще в Маг-45 (см. стр. 34). У нас сложилось впечатление, что авторы и редакторы редко обращались к словарям Д. А. Магазаника, значащимся в списке использованной литературы.

Ai. Не дано терминологическое значение: «шахм. конь» — упущение, заметное еще и потому, что все другие шахматные фигуры в словаре названы.

Atlamak. Не дано «переходное» значение: «пропустить (что-либо)», хотя оно зафиксировано еще в Маг-45 и, кроме того, вытекает из примера, приведенного в гнезде глагола *atlanmak*: *bu yazında* (опечатка; правильно *yazıda*) *birkaç satır atlanmış* «в этой статье пропущено несколько строк». При глаголе *atlanılmak* дана помета: «срад. от *atlanmak*»; правильнее было указать: «безл. от *atlanmak*» (см.: TS-55, «Океан», *ösz* «безл.»).

Atmak. Поговорка *atsan atılmaz, satsan satılmaz* переведена: «никуда не денешься!; ничего не поделаешь!; от него не избавиться!». Лучше было дать вариант более близкий к тексту: «выбросить жаль, а продать — не продашь». Включение в словарь многих турецких пословиц и поговорок, с учетом сложности их интерпретации, закономерно. Но в таком случае не следовало упускать такие, например, употребительные поговорки, как (на букву А): *adam iş başında belli olur*

«человек познается в труде»; *ateşin oyunu olmaz* «с огнем шутки плохи»; *atılan ok geri dönmez* «выпущенная стрела назад не вернется»; *ay doğuşundan insan yürüyüşünden belli olur* «месяц говорит о себе при восходе, человек — при подходе (букв. по походке)».

Berber. Не дано речения *beraber duruma gelmek* «сравниваться, прийти к ничейному счету». В связи с приближением Московской Олимпиады мы с некоторым пристрастием следили за отражением в словаре спортивной терминологии. Нельзя утверждать, что ей очень повезло (то же следует сказать и об «Океане»). Составители словаря, видимо, не слишком часто заглядывали на последние (спортивные) страницы турецких газет. Поэтому мы не находим в словаре таких, например, терминов, как *basket* «бросок (по кольцу); (заброшенный) мяч», *sepet* «кольцо», *sepettopu* «баскетбол», *çitayı aşmak* «преодолеть планку», *bloke etmek* «парировать (удар)», *çalmlamak* «обвести, обмотать (в футболе и т. п.)», *ekarte etmek* «обойти, обвести», *marke etmek* «держат (защитнику нападающего)» и др.

Borçlu. Не указано управление (вин. падеж); например: *başarımı size borçluyum* «своим успехом я обязан вам». То же значение и, кстати, то же управление имеет арабское *medyun*: *zaferimi buna medyunum* «своей победой я обязан ему» («Океан» также не указывает управления названных слов).

Doldurmak. Не указано значение «наговаривать (на кого-либо)», «восстанавливать» (*protive* *кого-либо* — *aleyhinde*) (см. «Океан», 619, знач. 12).

Dönük. Переведено: «повернувшийся спиной» (так дает и TS). Точнее: «повернувшийся (спиной, боком и т. д.), обращенный». Например, словосочетание *geleceğe dönük bazı gelişmeler* (из газет) означает «некоторые сдвиги, ожидаемые в будущем».

Durmak. Нет выражения *durup dururken* «ни с того ни с сего» (см. TS, 221, «Океан», 647).

Встречаются случаи неудачного расположения материала в словарной статье, например: «*saba* 1)...; 2) сверх того, помимо всего прочего; к тому же; *bu da* ~ а) а это даром (бесплатно); б) а это в придачу; к тому же еще; *bu kadar masraftan başka yorgunluğu da* ~! такие расходы, да еще и устали!». Здесь остается неясным, к чему относятся слова «к тому же еще». Судя по всему, они должны быть отнесены к значению «б» выражения *bu da saba*: «... б) а это в придачу; к тому же еще». Однако такая трактовка исключается по смыслу. По-видимому, «к тому же еще» — это продолжение второго значения слова *saba*: «2) ... к тому же; ... к тому же еще». Но так располагать материал внутри гнезда недопустимо. Очевидно, что построение последнего должно

было быть таким: «*saba* 1) ...; 2) сверх того; помимо всего прочего; к тому же (еще); *bu kadar masraftan başka uorgunluđu da ~!* такие расходы, да еще и устали!». Это пример явного редакторского недосмотра. К сожалению, он не единичен.

Опечаток в словаре в общем немного, но они тем более досадны, что издание словаря в целом оставляет очень хорошее впечатление. Вот некоторые: стр. 185: *çingir* (вм. *çingar*); стр. 601: *sanaî* (вм. *sinaî*); стр. 647: *aberîma* (вм. *abartma*). Слово *lâf* и его производные (*lâfazan*, *lâfçı* и т. д.) в «Океане» и других толковых словарях даются со знаком смягчения. В рецензируемом словаре — без этого знака: *laf*, *lafazan* и т. д. (см. стр. 583, 584). Впрочем это, кажется, уже не опечатка.

Количество замечаний, разумеется, может быть многократно увеличено. Одна-

ко и в этом случае общая высокая оценка словаря не изменится. Новый турецко-русский словарь является первым по л н ы м словарем такого рода, в целом хорошо обеспечивающим потребности чтения и перевода на русский язык произведений современной художественной литературы (включая те из них, где доминирует «османская» лексика), любых материалов политико-экономического содержания и в определенной степени также потребности специального, технического и научно-технического перевода. Все перечисленные выше достоинства словаря дают основание рассматривать его как значительный этап в развитии и совершенствовании принципов составления турецко-русских словарей и несомненное достижение тюркской лексикографии.

Кузнецов П. И.

«*Die russische Sprache der Gegenwart*». 2. — Morphologie, hrsg. von einem Redaktionsrat unter Leitung von Prof. Dr. K. Gabka. — Leipzig, VEB Verlag «Enzyklopädie», 1975. 416 стр.

В связи с широким изучением русского языка в вузах ГДР особо остро стоит проблема создания учебников и учебных пособий по русскому языку. Именно учебники и учебные пособия в значительной степени определяют успех обучения русскому языку как неродному, поскольку в них обычно реализуются не только определенная сумма значений, необходимых для обучающихся, но и методическая система обучения. Поэтому, естественно, важно, насколько тот или иной создаваемый учебник оригинален, насколько он учитывает родной язык учащихся, местные условия.

При создании учебников и учебных пособий необходимо решить ряд вопросов: кому будет адресована книга? с какой целью? какую систему подачи материала избрать? на каком языке создавать книгу? Можно назвать и другие не менее важные вопросы: в какой степени создаваемая книга будет учитывать опыт создания предшествующих учебных книг? какова система графических обозначений? как выдержать единообразие в отборе и преподнесении иллюстративного языкового материала? и мн. др.

Коллектив авторов рецензируемой книги и его руководитель Г. Мулиш четко определили цели и задачи созданного пособия. Оно предназначено сту-

дентам вузов ГДР, будущим и нынешним учителям русского языка, и представляет собой систематический научный курс морфологии современного русского языка. Этим, собственно, и определяется тот жанр, в котором последовательно выдержана вся книга.

Центральное место в рецензируемом учебнике занимает описание частей речи в русском языке. Известно, что в лингвистической литературе высказываются самые различные соображения о принципах классификации слов по частям речи, а следовательно, и количестве частей речи в русском языке. Авторы учебника «Морфология» определяют свою позицию в этом вопросе, высказывают свое мнение, руководствуясь основными философскими и методологическими положениями марксистско-ленинской теории языка.

При первом же знакомстве с учебником становится ясно, что авторский коллектив положил в основу своей концепции достижения отечественной и русской грамматической традиции (в лучшем смысле слова), а вместе с тем высказывает свое творческое отношение к результатам исследований немецких и зарубежных исследователей.

Части речи как лексико-грамматические классы слов, по мнению авторов (стр. 27—29), классифицируются на ос-

нове трех признаков (die invarianten Merkmale der Wortarten): а) лексико-грамматическое значение слова (die lexikalisch-grammatische Allgemeinbedeutung), б) морфологические признаки (die morphologische Merkmale) и в) синтаксическая функция (die syntaktische Funktion). Такой подход к классификации по частям речи следует признать наиболее перспективным. Он встречается в большинстве учебников и учебных пособий по морфологии. В этих работах иначе квалифицируется первый из названных в рецензируемой «Морфологии» признак. Он называется в одних учебниках грамматическим значением¹, в других — лексико-грамматическим значением². Нам представляется, что предложенный в анализируемом учебнике термин «лексико-грамматическое значение» имеет право на существование, поскольку значение предметности, процессуальности, признаковости, указательности и т. д. отвлекается не от грамматической специфики слов (ср. неодинаковую грамматическую специфику слов — существительных *небо, кашне, дитя, запятая* и др.), а от семантической структуры слов. В класс существительных мы включаем слова, которые содержат в семантической структуре в высшей степени отвлеченное значение предметности, в класс глаголов — в высшей степени отвлеченное значение процессуальности и т. д. Актуализация того или иного значения находит непременно и свое грамматическое выражение. В этом смысле анализируемое значение является и грамматическим, другими словами, оно находится на стыке лексики и грамматики.

На основе трех названных признаков авторы учебника и выделяют части речи. По их мнению (стр. 31), в современном русском языке 12 частей речи, которые распределяются на три группы (категории): *изменяемые* (Flektierbare — stets Autosemantika), *неизменяемые* (Unflektierbare — Autosemantika und Synsemantika) и *междометие* (Interjektion). В первую группу входят слова, имеющие глагольные флексии — глагол, и неглагольные флексии — имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение. Во вторую группу входят автосемантические части речи: наречие, слова категории состояния, модальные слова и синсемантические части речи: союзы, пред-

логи, частицы. Особняком стоят как специфическая категория слов междометия. Предложенный подход авторами учебника принят в соответствии с новейшими лингвистическими исследованиями в области морфологии. Основные положения этих исследований получили в учебнике творческое осмысление и развитие.

Прежде всего заслуживает внимания тот факт, что составители учебника последовательно придерживаются принятых трех инвариантных признаков классификации слов по частям речи. Это позволяет им сохранить в основном систему частей речи, принятую в традиционной грамматике, и выделить такие части речи, которые в традиционной грамматике не выделяются. Мы имеем в виду *модальные слова*. Нам представляется интересной идея выделения модальных слов в самостоятельный класс (часть речи), поскольку они обладают единым лексико-грамматическим (по терминологии учебника) значением, а также специфическими морфологическими свойствами и синтаксической функцией. Правда, с авторами можно не согласиться по поводу единиц, которые включены в состав модальных слов. И все-таки сам факт выделения в системе частей речи модальных слов заслуживает внимания.

Классификация слов по частям речи осложняется вечными и живыми процессами переходности в системе частей речи. Отрадно, что создатели учебника не обошли молчанием и этот сложный вопрос. Ему посвящен специальный параграф во введении «der Wortartwechsel» (стр. 35) и ряд других параграфов при анализе той или иной части речи: «Die Substantivierung von Numeralien» (стр. 317), «Verschiebungen zwischen den Pronomen und anderen Wortarten» (стр. 343), «Übergang von Partizipien in andere Wortarten» (стр. 195), «Übergang von Adverbialpartizipien in andere Wortarten» (стр. 209). Не все соображения авторов можно принять без оговорок. Некоторые положения учебника в связи с данным аспектом описания частей речи вызывают возражения. Тем не менее заслуживает одобрения внимание авторов к этому сложному, но важному вопросу.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в рецензируемом учебнике морфологический строй русского языка представлен как некая сложная система, звенья которой находятся в постоянном взаимодействии и развитии. Составители учебника, как нам показалось, сознательно стремились охватить все (или почти все) вопросы морфологии, хотя ныне действующая учебная программа для вузов ГДР по дисциплине «Современный русский язык» предусматривает для изучения далеко не все разделы морфологии. Позиция авторов в этом вопросе весьма

¹ А. Н. Гвоздев, Современный русский литературный язык, ч. 1, Фонетика и морфология, М., 1973, стр. 140.

² «Современный русский язык. Морфология. (Курс лекций)», под ред. акад. В. В. Виноградова, М., 1952, стр. 36.

перспективна. Учебные программы обычно претерпевают значительно чаще и больше изменений, чем систематический курс той или иной научной дисциплины.

Важно отметить и методическую сторону учебника.

Во-первых, здесь по мере необходимости даются сопоставления языковых фактов русского и немецкого языков. В большинстве случаев они уместны и подсказаны или параллелизмом языковых явлений, или отсутствием (или несомпадением) явления в родном языке обучающихся. Но в любом случае следует приветствовать перевод всех лингвистических терминов, встретившихся в учебнике, на немецкий язык.

Во-вторых, в отличие от русских и советских грамматик, в «Морфологии» представлен несколько другой порядок анализа частей речи. На первом месте здесь стоит глагол. И естественно, эта часть речи, наиболее обширная по материалу, наиболее не совпадающая в своих лексико-грамматических особенностях с немецким глаголом, вызывает массу трудностей при обучении немецких студентов. Ей по праву отведено здесь более трети всего учебника (стр. 53—210), в то время как на имя существительное отводится 50 стр., на имя прилагательное — 32 стр. и т. д.

В-третьих, для читающего небезынтересен список литературы, помещенный в конце учебника (он насчитывает 460 названий), и терминологический справочник на русском и немецком языках с указанием страниц, где встречается термин.

Все вместе сказанное свидетельствует о том, что вышел в свет хороший и полезный учебник.

Оценивая рецензируемую книгу в общем положительно, хотелось бы высказать некоторые замечания и соображения, которые возникают при чтении этой книги и работе с ней.

1. В рецензируемом учебнике указываются три основных инвариантных признака, по которым обычно классифицируются части речи. Нам представляется, что важно назвать и некоторые другие существенные признаки, в частности, особенности сочетаемости единиц данной части речи с единицами других частей речи. Многообразие синтаксических функций имени существительного свидетельствует не только о богатстве лексико-семантических свойств этой части речи, но и об их сочетательных возможностях со словами других частей речи. Они могут сочетаться чаще со словами-прилагательными, глаголами, именами числительными и реже с наречиями, деепричастиями. Можно указать специфические сочетательные возможности имен числительных: они сочетаются преимущественно со словами-существительными и реже с наречиями. Глаголы обычно сочетаются с наречиями, именами суще-

ствительными, деепричастиями, реже с местоимениями, словами категории состояния и т. д.

Сочетаемость единиц одной части речи с единицами других частей речи — существенный дифференциальный признак, непосредственно связанный с семантикой слов данной части речи и их синтаксической функцией. Здесь уместно заметить, что некоторые немецкие слависты отдают должное этому дифференциальному признаку при анализе различных языковых явлений и видят в нем не только собственно лингвистическую сторону, но и методическую. Так, К. Габка замечает: «... знание такого свойства слов, как возможность вступить в определенные связи с другими словами, является необходимым условием владения иностранным языком»³.

2. Мы уже одобрительно отзывались о том факте, что авторы учебника включили в рецензируемый учебник вопрос о явлениях переходности в системе частей речи. Но, как нам показалось, в учебнике нет единой терминологии в связи с этим аспектом описания частей речи. Здесь используются различные термины, отражающие общие понятия: а) переход слов или словоформ одной части речи в другую (Übergang eines Wortes oder einer Wortform aus einer Wortart in eine andere), б) смена (чередование) частей речи (Wortartwechsel), в) переход из одной части речи в другую (Übergang einer Wortart in eine andere) и др. Здесь можно найти и другие термины, отражающие частные понятия тех или иных сторон явлений переходности в системе частей речи: переход причастий в другие части речи (Übergang von Partizipien in andere Wortarten), субстантивация числительных (Die Substantivierung von Numeralien), формы изменяемых слов в функции слов категории состояния (Formen flektierbarer Wörter in der Funktion eines Zustandswortes) и др. Нам представляется, что необходимо более строго употреблять термины, поскольку в них отражается суть языкового явления. С этой точки зрения представляется неудачным термин «переход одной части речи в другую», так как никогда одна часть речи (Wortart) не переходит в другую (разве может класс прилагательных переходить в класс существительных?), а переходят единицы (слова) одной части речи в другую в результате семантических преобразований, утраты исходных грамматических свойств

³ К. Г а б к а, Описание сложноподчиненных предложений в учебных целях и теория сочетаемости, в кн.: «Третий международный конгресс преподавателей русского языка и литературы. Тезисы докладов и сообщений», Варшава, 1976.

и приобретения новых. На наш взгляд, наиболее удачными терминами являются два. Первый термин: «явления переходности в системе частей речи», отражающий способность языковых единиц к лексическому и грамматическому преобразованию. Второй термин: «переход слов одних частей речи в другую», отражающий сам процесс преобразования, изменения лексических и грамматических свойств слов.

3. Проблема описания явлений переходности в системе частей речи затрагивает очень важный и сложный вопрос — к чему приводят эти явления: к полифункциональности или омонимии в системе языка и речи? В рецензируемом учебнике отмечается, что в большинстве современных грамматик слова с одним звуковым комплексом квалифицируются как слова-омонимы. Но авторы отказываются от такой позиции и предлагают «принципиально другое решение проблемы»: рассматривать аналогичные случаи как явления полифункциональности. Они исходят из того, что один и тот же звуковой комплекс, сохраняя свое инвариантное значение, выступает в функции различных членов предложения. На примере слов со звуковым комплексом *весело* (стр. 31—32) авторы стремятся доказать, что это — исходная форма имени прилагательного в различных своих функциональных вариациях, способная выступать в предложении то как главный член двусоставного или односоставного предложения, то как обстоятельство. При этом отмечается, что краткая форма имени прилагательного может выступать в функции слов категории состояния и наречий. «Dann übt es die Funktion eines Zustandswortes aus, während die adverbelle Form auf -o, die Funktion eines Adverbs erfüllt» (стр. 32).¹

Можно было бы согласиться с позицией авторов по этому вопросу, если бы они, во-первых, дали определение: что они понимают под функцией. Судя по всему, они подразумевают синтаксическую функцию. Во-вторых, ориентация авторов на полифункциональность требует и установления (описания) типичных — нетипичных синтаксических функций слов различных частей речи. Тогда, возможно, легче было бы избежать недоразумений и неточностей при изложении теоретических вопросов. В-третьих, уж если авторы приняли полифункциональность как исходную точку в их классификации, то ее последовательно надо проводить. Иначе получается, что когда речь идет о звуковых комплексах на -o типа *весело*, *хорошо*, имеется в виду полифункциональность: нейтральная форма имени прилагательного «выполняет функцию слов категории состояния и в то же время наречия». А когда речь идет о других звуковых комплексах, например, на -ый (*ий*), -ая (*яя*), -ое типа *блестящий*, *образованная*, авторы предпочитают ква-

лифицировать подобные слова как омонимы (стр. 195).

Нам представляется, что системное описание явлений переходности в системе частей речи не требует альтернативы: полифункциональность или омонимия. Несомненно, важным условием для образования слов-омонимов (слов с одинаковым звуковым комплексом, относящихся к различным частям речи) является развитие полисемии, с одной стороны, и окказиональная синтаксическая функция, с другой стороны. Окказиональная синтаксическая функция в результате регулярного употребления становится узальной его функцией, что связано с преобразованием и других признаков слова: изменение лексико-грамматического значения, морфологических свойств и сочетательных возможностей.

5. Некоторые разногласия возникают оттого, что авторы рецензируемого учебника в отличие от традиционной грамматики определяют лексико-грамматическое значение имени прилагательного как «качество» — *Eigenschaft* (стр. 266) без отнесения его к предмету, процессу или состоянию. Это значительно расширяет и сочетательные возможности, и синтаксические функции и делает нечеткими морфологические свойства этой части речи. Если исходить из того, что лексико-грамматическое значение — это в высшей степени отвлеченное лексическое значение слов, то можно заметить, что значение признака более отвлеченно, чем значение качества. Вместе с тем мы не можем не отметить, что в современной лингвистике термин «признак» стал фактически многозначным. Его используют при анализе явлений различных языковых уровней: лексического, морфологического, синтаксического⁴. Поэтому, говоря о лексико-грамматическом значении, есть необходимость конкретизировать значение признака, а именно, как признак предмета, признак действия (процесса), признак состояния и т. д. Каждое из этих значений находит свое грамматическое выражение. Нам кажется, целесообразно было бы следовать за традиционной грамматикой в определении лексико-грамматического

⁴ См. по этому поводу замечание П. А. Леканта: «Термин „признак“, как и многие другие лингвистические термины, многозначен. Он, в частности, употребляется и в морфологии для обозначения категориального значения прилагательного, и в синтаксисе — как название синтаксического значения второстепенного члена предложения — определения, наконец, он используется для характеристики синтаксического значения сказуемого (обычно с добавлением „предикативный“)» (П. А. Лекант, Типы и формы сказуемого в современном русском языке, М., 1976, стр. 10).

значения и грамматического статуса имени прилагательного. В этом, на наш взгляд, больше логики.

Значение имени прилагательного — признак предмета — находит выражение в морфологических категориях (рода, числа, падежа, одушевленности — неодушевленности, степеней сравнения) и синтаксических свойствах (быть определенным или именной частью составного сказуемого и сочетаться преимущественно со словами предметного значения). Если преобразуются все эти признаки, то, несомненно, мы имеем дело уже не с именем прилагательным, а словом другой части речи — иначе пропадает сама идея классификации частей речи на основе выдвинутых признаков. Если слово обозначает уже не признак предмета, а признак процесса, если оно не имеет уже категорий рода, числа, падежа, одушевленности — неодушевленности, если слово выполняет функцию обстоятельства, а не определения или именной части составного сказуемого, если слово сочетается с глаголом, а не словом предметного значения, то какие имеются основания утверждать, будто данное слово — имя прилагательное в функции наречия, а не само наречие (т. е. омонимичное прилагательному новое слово)? См. пример из учебника: *она весело смеялась*. Да и вряд ли справедлив по своей сути тезис о том, что слово одной части речи может выступать в функции другой части речи. Ведь части речи — это классы слов. А может ли одно слово выступать в функции другого? В учебнике же этот тезис встречается часто (см. стр. 81, 359, 364 и др.). Правда, он, как нам показалось, вступает в невольные противоречия с некоторыми другими положениями, правильно нашедшими место в учебнике, такими, как субстантивация числительных (стр. 317), передвижение местоимений в другие части речи (стр. 343), да и с содержанием таблицы (стр. 36).

Авторы анализируемого учебника провели огромную работу по систематизации большого, порой дискуссионного, а может быть, и малоисследованного в современной научной литературе лингвистического материала. Очевидны усилия авторов и по отбору обильного иллюстративного материала. И тем не менее рядом с точными,

яркими примерами можно встретить примеры неудачные.

В одном случае они в информативном отношении просто неактуальны: *самолет — это вот чудо* (стр. 33). Самолет давно уже привычное явление в нашей жизни, не вызывающее представлений о чудесах. Лучше бы *самолет* заменить *луноходом* и т. д. Содержание предложения воспринималось бы более актуально. Встречаются предложения, в которых из-за лексико-семантической специфики слов возникают «сочетательные неуклюжести»: *дружба его была даром судьбы* (стр. 34). Без потери и без искажения теоретического материала можно заменить эти предложения, например, *земля следила за каждым шагом космонавтов*. Выглядит неуклюжим и предложение на стр. 177: *мне пришлось свою сессию за четвертый курс перенести на следующий год*. (Ср. *мне пришлось перенести госэкзамены на следующий год*.) См. также предложение на стр. 195: *слесарь с законченной подготовкой (?)*. Устранение всех указанных мелких недочетов только улучшит качество книги.

Рецензируемый учебник морфологии предназначен для студентов вузов ГДР. Именно поэтому он написан на родном языке обучающихся. Учитывая установки Министерства просвещения ГДР о расширении преподавания на русском языке в секциях славистики, видимо, целесообразно было бы создать аналогичный учебник и на русском языке. Ведь в практике преподавания лингвистических дисциплин в вузах ГДР наблюдается явный диссонанс — студентам читается курс лекций и проводятся практические занятия на русском языке, а самостоятельная работа с учебником идет на немецком языке. Следовательно, в полной мере не формируется навык владения языком и умения работать с книгой на изучаемом языке. Нам кажется, такая книга нужна.

Высказанные в данной рецензии замечания и соображения, возникшие при чтении книги и работе по ней, отнюдь не снижают достоинств солидного и необходимого учебника. Он заслуживает признания и одобрения как с лингвистической, так и методической точек зрения.

Баудер А. Я.

Н. В. Подольская. *Словарь русской ономастической терминологии.* — М., «Наука», 1978. 198 стр.

Русская, да и не только русская, ономастическая терминология до сих пор недостаточно разработана. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт. В 1972 г.

в издательстве Киевского университета вышла книга А. А. Белецкого «Лексикология и теория языкознания (ономастика)», автор которой стремится упорядочить

ономастическую терминологию путем введения целого ряда новых терминов и их более четкой логической классификации. Н. В. Подольская, ссылаясь на то, что эта терминология «индивидуальна и неупотребительна в наиболее массовой ономастической литературе...» (стр. 14), не включает в свой словарь даже тех терминов А. А. Белецкого, которые в книге последнего вынесены в названии глав (*койнонимика*, *эйдонимы*). Не касаясь существа приведенных расхождений, замечу только, что они свидетельствуют о необходимости дальнейшей серьезной работы в области ономастической терминологии и о своевременности выхода рецензируемого словаря.

Словарь Н. В. Подольской изящно издан. Вводная его часть дает сведения по истории разработки научной и научно-технической терминологии в нашей стране. Здесь же перечисляются некоторые зарубежные работы по ономастической терминологии, описывается структура словаря и словарной статьи, объясняется система отсылок и т. д. Словарь снабжен кратким библиографическим списком (стр. 173—180) и указателями. Автор избегает индивидуального «терминотворчества», давая традиционные, широко представленные в работах по топономастике термины.

Есть у словаря и другие положительные качества: четкость дефиниций, удачные примеры и т. д. Но все это в значительной мере оказалось перечеркнутым из-за многочисленных ошибок, опечаток и других погрешностей в подаче греческого и латинского материала. Рецензируемый словарь — это прежде всего справочник, причем он дает справки двух типов: 1) определение термина и 2) происхождение термина. Примеры, ссылки на литературу и т. д. — это только вспомогательный материал. Как известно, львиная доля ономастических терминов — греческого или (в меньшей степени) латинского происхождения. Поэтому Н. В. Подольской, видимо, как минимум, следовало иметь консультанта по греческой и латинской этимологии, а не полагаться на учебный «Древнегреческо-русский словарь» И. Х. Дворецкого, на который, судя по примерам, она в основном опиралась. Та тщательность, с которой автор словаря почти всюду обозначал обличенным (вторым!) ударением буквы *υ* и *υ* (стр. 24), *ο* и *δ* (стр. 79), *ξ* и *ζ* (стр. 99, 165). В латинских словах почти всюду вместо *c* ошибочно стоит *k* (стр. 54, 65, 90, 133). Море Змеи на Луне Н. В. Подольская последовательно обозначает как *Mare Anguis*

(стр. 61, 121; правильно; *Anguis*). Не вполне удачны некоторые (в том числе — буквальные) переводы: *Ἰσθμὸς* «беспредельное море» (стр. 24; в греческой мифологии Океан — это река, у Гомера — *ποταμός*; позднее — Атлантический океан, в отличие от внутреннего Средиземного моря), лат. *agnomen* «последняя» (стр. 27), лат. *peior* «плохой» и т. д. (стр. 77), лат. *processus* «происхождение» (стр. 101). Но особенно много ошибок в греческих ударениях: *ἀγῶρα* вм. *ἀγῶρά*, *ἄστρο* вм. *ἀστρῶς*, *δρόμος* вм. *δρομός*, *δρομός* вм. *δρόμος* (стр. 23), *ἄγρος* вм. *ἀγρός*, *Πέτρος* вм. *Πέτρος* (стр. 27), *φῶτος* вм. *φῶτιν* (стр. 158) и мн. др. Даже в русском слове *модель* на стр. 99 ударение поставлено на первом слоге.

Из других недочетов словаря Н. В. Подольской необходимо отметить непоследовательное включение в статьи объяснений происхождения терминов. Например, термин *пейоротив* объяснен автором, а *меллоротив* нет. И так примеров довольно много. Неясно, почему происхождение термина *гипокористическое имя* связано с греч. *δνομα ὑποκοριστικόν* (стр. 70), а *династическое имя* — не с *δνομα δυναστικόν*, а просто с *δυναστεία* (стр. 71). И случаев подобной непоследовательности — со случайным привлечением греческих слов — также немало.

На стр. 152 автор отмечает, что греч. *Ἀθήνη* дало русск. *Афины*. На самом деле, это греческое имя представляет собой теоним (*Афина*), а в основе русской формы названия столицы Греции лежит греческая форма множественного числа *Ἀθήναι*.

Неверно утверждение автора, что этноним *греки* представляет собой топоэтноним, восходящий к топониму *Греция* (стр. 168). *Грайхи* — это не самоназвание греков. Данный этноним распространился в Европе благодаря римлянам, которые познакомились с греками в южной Италии раньше, чем с самой Грецией. Характерно, что в латинском языке *Graecia* — это, безусловно, производное от *Graecus*, *Graeci*. Следовательно, предполагаемое автором словаря направление процесса *Греция* → *греки* нужно изменить на *греки* → *Греция*.

Ономастический термин *хороним* образован не от греч. *ὄρος* «межевой знак, граница, рубеж», как считает Н. В. Подольская (стр. 160, ср. стр. 24), а от греч. *χωρά* «пространство, земля, страна». Греческие слова, начинающиеся с густого придыхания, дают в русских заимствованных терминах начальное *г-* (*гелоним*, *гидроним*, *годоним*) или же простой гласный (*омоним*). А начальное *х-* свидетельствует, как правило, о греческом *χ-*. Кстати, приведенные в словаре немецкие термины *Choronum* и *Raumname* должны были предостеречь автора от ошибки: нем. *ch-* может передавать греческого густого придыхания, отражая греч. *χ-*, а нем.

Raum семантически = *Χώρα* «пространство», а не *ὄρος* «межевой знак, граница».

Всего в одних только греческих словах автором рецензируемого словаря допущено более 60 (!) ошибок, опечаток и прочих погрешностей. Если учесть, что основной текст словаря содержит 145 стр. малого формата, столь высокий процент ошибок, конечно, совершенно недопустим для справочного издания такого авторитетного издательства, как «Наука». На это нужно обратить особое внимание, ибо у нас подчас наблюдается непонятная снисходительность к обилию ошибок в лингвистических работах, и в частности — в разного рода словарях. Почему-то считается, что ошибки и невыправленные опечатки в телефонной книге или в рецептурном справочнике — это плохо, а в словаре — вполне допустимое явление.

В начале своего словаря Н. В. Подольская пишет: «Автор вполне отдает отчет в своей ответственности перед выс-

кательным читателем за возможную неполноту словника, за неточность некоторых дефиниций, связанную с неуточненностью в настоящее время отдельных ономастических понятий» (стр. 6). Нужно полагать, что автор должен нести ответственность и за качество даваемых им объяснений происхождения ономастических терминов, хотя он, не будучи специалистом в этой области, вынужден брать свой материал из вторых рук. На той же стр. 6 Н. В. Подольская продолжает: «Настоящее издание словаря носит предварительный характер». Это, видимо, надо понимать так, что в дальнейшем последует второе издание словаря. Нужно думать, что в его подготовке примет участие специалист, достаточно хорошо знающий классические языки — будь то научный консультант или ответственный научный редактор.

Откупщиков Ю. В.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

12—13 апреля 1978 г. в Киеве в Институте языковедения им. А. П. Потебни АН УССР состоялись научные чтения, посвященные памяти академика АН УССР Л. А. Булаховского в связи с 90-летием со дня его рождения. Открывая чтения, акад. И. К. Белодед (Киев) подчеркнул огромный вклад Л. А. Булаховского в общее и славянское языкознание; научные труды и идеи ученого имеют непреходящее значение, остаются актуальными и в наше время.

Все доклады были тематически объединены в два цикла: в первый день освещались разнообразные аспекты научной деятельности Л. А. Булаховского, а доклады на следующий день были посвящены некоторым вопросам индоевропейского и славянского языкознания, постоянно бывшим в поле зрения выдающегося ученого.

Т. Б. Лукинова (Киев) в докладе «Л. А. Булаховский — славист» осветила многогранную плодотворную деятельность ученого как исследователя славянских языков. Особое внимание в докладе уделено сравнительно-историческим славистическим исследованиям Л. А. Булаховского, отмечены главные направления его исканий в области совершенствования сравнительно-исторического метода (учет семасиологических, эмоционально-эффективных и других моментов нефонетического характера, углубленное изучение грамматической аналогии и родственной ей явлений и т. п.).

В докладе Л. Л. Гумецкой (Львов) «Взгляды Л. А. Булаховского на древнейший украинский письменно-литературный язык» была раскрыта концепция ученого по вопросам хронологии и ведущих предпосылок возникновения украинского письменного языка, дана оценка его общей характеристики Л. А. Булаховским, высказаны соображения относительно употребления ученым терминов «письменный» или «литературный» язык.

Выступая с докладом «Труды Л. А. Булаховского об ударении глаголов в свете

новейших исследований», В. А. Дыбо (Москва) подчеркнул, что, несмотря на новые взгляды, появившиеся в последнее время в акцентологии, многочисленные акцентологические труды ученого не утратили своего большого научного значения.

Контактам Л. А. Булаховского с классиками балтийского языкознания Я. Эндзелином и К. Бутой был посвящен доклад А. П. Непокупного (Киев) «Л. А. Булаховский и балтийское языкознание». В докладе М. А. Жовтубрюха (Киев) «Исторический вокализм украинского языка в исследованиях Л. А. Булаховского» анализируются теоретические достижения в области изучения истории украинских гласных, связанные с научной деятельностью ученого.

Л. С. Паламарчук (Киев) в докладе «Л. А. Булаховский как лексиколог и лексикограф» отметил, что его деятельность как ученого-лексикографа связывают обычно только с редактированием академического «Русско-украинского словаря» 1948 г. Но Л. А. Булаховский внес весомый вклад и в теорию лексикографии, он всегда уделял большое внимание повышению научного уровня и престижа словарного дела, был постоянным консультантом лексикографов по самым разнообразным вопросам.

«Понятие системности языка в работах Л. А. Булаховского» осветила в своем докладе М. М. Пещак (Киев). Она отметила, что ученый был скрупулезным исследователем преимущественно деталей языковых фактов, причем таких деталей, которые относятся к категории «исключений» из основных, магистральных процессов: фонетических законов, именного и глагольного словоизменения, словообразовательных регулярностей и т. п. Изучая нередко периферийные явления языковых систем, он ярко продемонстрировал особую роль в развитии славянских языков явлений аналогии, грамматической индукции, акцентуации и др., которые по своим свойствам противодействуют основным закономерностям языка и представляют собой «факты компромиссности системы».

А. И. Багмут (Киев) выступила с докладом «Вопросы ритмомелодики в трудах Л. А. Булаховского и их исследование в украинском советском языковедении». К ритмомелодике Л. А. Булаховский относил словесное и фразовое ударение, членение речи на словесные такты, ее тональность, интонационную связь предложений, выражение эмоциональных и семантических оттенков, темпоральную характеристику предложений, паузацию и ритмическую организацию речи, в частности ритмику стиха.

В докладе «Язык и искусство. Язык как искусство» И. К. Белодед отметил глубинные связи естественного языка человека с языком искусства, их взаимодействие в механизме процессов искусства, в психике творческой личности. Изучение эффективности, действительности процессов взаимопроникновения и взаимосвязи слова с различными видами искусства — проблема и психологическая, и эстетическая, и общая социалингвистическая.

Взаимодействие языка с искусством эффективнее и выразительнее всего проявляется в таких его видах, как театр, современное говорящее кино (и телевидение), песни, певческое искусство. Из всех функциональных (структурных) стилей общенародного литературного языка — в письменной и устной его разновидности — к искусству ближе всего находится язык художественной литературы, как словесно-художественный стиль, в творениях которого образная система общения как специфическая черта искусства вообще проявляется больше, чем в других стилях. Но понятие «язык как искусство» шире понятия художественного языка, так как в нехудожественных стилях искусство языка достигается не только и не столько образностью, метафоричностью, подбором поэтических средств выражения, сколько композицией вещи, ясностью, четкостью, аргументированностью, строгим, логическим течением и развертыванием мысли, отсутствием какой-либо демагогии, дешевого украшательства. Язык как искусство может еще пониматься как общая культура языка, речи.

Н. И. Толстой (Москва) прочитал доклад «О семантических „регистрах“ в славянской лексике». Докладчик отметил, что традиционная терминология (в частности, понятия прямого и переносного значения, суженного и расширенного значения слова) только называет суть семантического процесса, но недостаточна для того, чтобы показать механизм изменения значения. В ряду новых понятий компонентного характера структуры значения слова Н. И. Толстой предложил и обосновал понятие семантического регистра, под которым он понимает принадлежность к определенному семантическому классу

слов того или иного слова, объединенному общей специфической семьей, а в диахроническом плане — общей глубинной семьей.

«Хетто-лувийская номинальная флексия в компаративном аспекте» стала предметом доклада А. А. Белецкого (Киев). В своем докладе «О происхождении качественных различий индоевропейских гласных» С. А. Мельничук (Киев) сформулировал исходные положения предлагаемого им объяснения генезиса индоевропейского вокализма. Исходя из предложения об отсутствии в раннеиндоевропейском качественно различающихся гласных фонем и о наличии на этом этапе только фонологически неопределенного гласного призвуча, сопровождавшего в произношении каждый согласный звук и образовывавшего с ним отдельный слог, А. С. Мельничук подчеркивает способность такого неопределенного гласного призвуча приобретать различную качественную окраску в зависимости от качества сопровождаемого им гласного.

В докладе В. М. Русановского (Киев) «Вопросы сопоставительного изучения истории славянских литературных языков» рассмотрены направления исследования этих вопросов в творчестве Л. А. Булаховского и начертаны возможные подходы к созданию сопоставительной истории славянских литературных языков в качестве отдельной языковедческой дисциплины. В. Т. Коломиец и А. Н. Шамота (Киев) сделали доклад на тему «Семантическая мотивация украинских названий растений». В докладе перечислено около 15 основных моделей конкретной семантической мотивации производных названий растений в украинском языке. В. Г. Скляренко (Киев) в своем докладе «История акцентуации имен существительных *s*-основ в славянских языках» осветил историю акцентуации этих существительных в восточнославянских и южнославянских языках от позднепрарусской эпохи до нашего времени.

Участники чтений прослушали в магнитофонной записи воспоминания Л. А. Булаховского о его учителях и начале научной деятельности. В обсуждении докладов выступили Л. Н. Смирнов (Москва) и Г. Д. Вервес (Киев).

Итоги научных чтений были подведены И. К. Белодедом, который отметил актуальность и высокий научно-теоретический уровень всех докладов и намечил направления дальнейшего творческого развития научных идей Л. А. Булаховского. Научные чтения, посвященные памяти этого выдающегося ученого, станут традиционными и будут проводиться раз в три года.

Пивторак Г. П. (Киев)

CONTENTS

Articles: Filin F. P. (Moscow). What the literary language really is; **Discussions:** Mironov S. A. (Moscow), Berkov V. P. (Leningrad). Variability of literary norms of modern Dutch in the Netherlands and Belgium; Belyj V. V. (Vinnitsa). Formation of general methodological principles of American descriptive linguistics; Burjakov M. A. (Moscow). Emotions and means of their expression in language; Murjasov R. Z. (Ufa). Word-formation and grammatical categories; Brykovskij K. S. (Moscow). Systemic and paradigmatic analysis of complex sentences and their equivalents in modern German; **Materials and notes:** Vejler A. A. (Vladimir). Russian words in German dialectal speech; Markov V. M. (Izhevsk). Reflexes of dissimilative tendencies in the development of inflectional formations; Grinbaum N. S. (Leningrad). Ancient Greek literary language. The Ionic period; Xodorovskaja B. B. (Moscow). Italic dental preterit and the problem of Latin imperfect; Schogt H. G. (Toronto). Inclusion of analytical constructions into the verbal system of modern French; Jakubaitis T. A. (Riga). The use of computers for linguistic research; Fedorova M. V. (Gomel'). Types of nomination in Russian; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: Filin F. P. (Moscou). Ce qu'est la langue littéraire; **Discussions:** Mironov S. A. (Moscou), Berkov V. P. (Léningrad). Variabilité des normes littéraires du néerlandais contemporain dans les Pays-Bas et en Belgique; Belyj V. V. (Vinnitsa). Formation des principes méthodologiques généraux de la linguistique descriptive américaine; Burjakov M. A. (Moscou). Émotions et moyens de leur expression linguistique; Murjasov R. Z. (Oufa). Dérivation de mots et catégories grammaticales; Brykovskij K. S. (Moscou). Analyse systématique et paradigmatique des phrases complexes avec subordonnées et leurs équivalents en allemand contemporain; **Matériaux et notices:** Vejler A. A. (Vladimir). Les mots russes en allemand dialectal; Markov V. M. (Ijevsk). Reflets des tendances dissimilatives dans le développement des formations flexionnelles; Grinbaum N. S. (Léningrad). Le grec ancien littéraire. Période ionienne; Xodorovskaja B. B. (Moscou). Le préterit dental en italique et le problème de l'imparfait latin; Schogt H. G. (Toronto). Sur l'inclusion des constructions analytiques dans le système verbal du français contemporain; Jakubaitis T. A. (Riga). L'emploi des calculatrices électroniques dans la recherche linguistique; Fedorova M. V. (Gomel'). Types de nomination en russe; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 28.02.79	Подписано к печати 20.04.79	Т-01730	Формат бумаги 70×108 ^{1/4}
Высокая печать	Усл. печ. л. 14,0	Уч.-изд. л. 15,5	Бум. л. 5 Тираж 7225 экз. Зак. 1590

Издательство «Наука», 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099 Москва, Шубинский пер., 10